4
С-42

Л. П. СКВОРЦОВ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

Л. И. СКВОРЦОВ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА
1980

4
С-42
БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУС ОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР
74574

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова
www.ruslang.ru

В книге рассматриваются основные понятия культуры речи, структура литературных норм и литературного языка в целом, принципы научной нормализации и кодификации, состояние и перспективы нормативной лексикографии. Особое внимание уделяется динамическому аспекту нормы (вариантность, развитие и изменчивость норм, их функционально-стилевая дифференциация и т. п.), вопросам социальной обусловленности норм (особенно в эпоху НТР), роли в их становлении и развитии языка художественной литературы. Культура языка в целом расценивается как важнейший элемент советской социалистической культуры.

Ответственный редактор

член-корреспондент АН СССР
Ф. П. ФИЛИН

© Издательство «Наука», 1980 г.

С $\frac{70102—109}{042\,(02)—80}$ 499—80. 4602010000

ВВЕДЕНИЕ

Состояние и перспективы разработки проблем культуры русской речи зависят от уровня развития научных исследований структуры языка, его стилистической дифференциации и функционирования и определяются этим уровнем, равно как и практическими потребностями советского общества в современный период.

Практическая нормализация русского языка, как, впрочем, и любого другого языка, началась, в сущности, вместе с возникновением письменности. Иное дело — теоретическая нормализация, теория и практика культуры речи в собственном смысле слова. Начало такой работы связано с составлением первых грамматик, риторик и словарей, с описанием в учебных целях системы литературного, образцового языка, его норм и функциональных стилей.

В истории культуры русской речи и национальной русской культуры вообще особое место принадлежит М. В. Ломоносову, убежденному стороннику нормализации русского языка. Широко известна многогранная научная деятельность Ломоносова, которого А. С. Пушкин справедливо называл «первым русским университетом». В области русской филологии Ломоносов — создатель первой большой научной грамматики русского языка, основоположник работ по стилистике и поэтике, ораторскому искусству, теории прозы и стихосложения. Труды Ломоносова, и в первую очередь «Российская грамматика» и «Риторика», заложили основы нормативной грамматики и стилистики русского языка. Работа эта была продолжена рядом замечательных русских языковедов — А. Х. Востоковым, Ф. И. Буслаевым, К. С. Аксаковым, Я. К. Гротом, А. А. Потебней и др. Может быть, излишне категоричен,

но в общем-то верен вывод акад. С. П. Обнорского о том, что «основной костяк выдвинутых Ломоносовым норм языка определил дальнейшие судьбы его развития, пережил эпоху творческой деятельности Пушкина и служит живой основой современного нашего языка» [1].

XIX век, время расцвета сравнительно-исторического метода в лингвистической науке, в целом отошел, однако, от теоретических проблем стилистики и культуры русской речи, широко очерченных еще Ломоносовым. Появлявшиеся тогда пособия и грамматики нередко носили запретительно-пуристический характер, противоречили в своих практических рекомендациях духу народного словоупотребления и живому чутью образованных и демократически настроенных русских людей и подрывали таким образом саму идею законодательной деятельности языковедов-нормализаторов. Так, возражая мелочным нападкам грамматистов, В. Г. Белинский говорил, что «Карамзин сам был грамматика», что «Пушкин тоже стоит любой из ваших грамматик», полагая при этом, что не академия и не лингвисты содержат в чистоте язык, а дух народа, произведения великих писателей.

В среде русских языковедов конца XIX — нач. XX в. довольно популярной была точка зрения акад. А. А. Шахматова, считавшего (с сугубо исторических и историко-лексикографических позиций), что борьба с узаконенной употреблением неправильностью бесплодна и что само дело нормализации совершенно чуждо академической науке. «Странно было бы вообще,— писал Шахматов,— если бы ученое учреждение вместо того, чтобы показывать, как говорят, решалось указывать, как надо говорить...» [2] Здесь, конечно, ярко сказались вкусы, наклонности и научные принципы Шахматова — историка языка, диалектолога и лексикографа.

В дореволюционный период отдельными и жалкими островками выглядели миниатюрные «словарики неправильностей» (В. Долопчева, К. Зеленецкого, И. Огиенко и др.), преследовавшие практические цели. Исключение составила книга В. И. Чернышева «Правильность и чис-

[1] *Обнорский С. П.* Ломоносов и русский литературный язык.— В кн.: Обнорский С. П. Избр. работы по русскому языку. М., 1960, с. 176.

[2] *Шахматов А. А.* Несколько замечаний по поводу записки И. Х. Пахмана.— Сб. ОРЯС, 1899, т. 67, № 1, с. 33.

тота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики» (первое издание вышло в Петербурге в 1911 г., второе и третье в 1914 и 1915 гг.). Труд этот в рукописи был удостоен премии Академии наук, а после опубликования получил положительные отзывы в России и за рубежом. Он оказал заметное влияние на развитие теории и практики культуры русской речи. Основанная на большом фактическом материале, извлеченном из произведений русских писателей и публицистов XIX — нач. XX в., книга Чернышева не имеет себе равных, а в важнейших своих рекомендациях сохраняет актуальность и в наше время (недавно эта работа была переиздана: она вошла в двухтомник избранных работ Чернышева) [3].

— После Великой Октябрьской социалистической революции проблемы нормализации русского языка были выдвинуты потребностями общества на передний край лингвистической науки. Они были прямо связаны с повышением речевой культуры широчайших революционных масс, с задачами приобщения трудового народа к достижениям русской и мировой культуры, с совершенствованием политической пропаганды. Об этом писал на заре Советской власти В. И. Ленин. В первые послереволюционные годы Ленин настоятельно добивался создания словаря образцового русского языка «для пользования (и учения) всех», выступал против порчи русского языка ненужными иноязычными заимствованиями. Ленин стоял у истоков советской нормативной лексикографии и нормализаторской деятельности вообще, и советские ученые-языковеды по праву гордятся этим обстоятельством. Ленинский завет был выполнен в конце 30-х годов изданием четырехтомного «Толкового словаря русского языка» под редакцией проф. Д. Н. Ушакова — первенца советской лексикографии.

Интенсивные изменения в русском языке советской эпохи, связь их с изменениями в обществе, актуальные потребности языкового строительства — все это способствовало пробуждению интереса лингвистов к проблемам культуры речи, нормализации русского литературного языка нового времени. В 20-е годы прошли дискуссии о языке под общим названием «Язык революции или революция языка?» Социалистическое строительство пер-

[3] *Чернышев В. И.* Избр. труды в 2-х т. М., 1970.

вых двух десятилетий в нашей стране наглядно показало, что без нормированного языка не может быть образованной передовой нации, успешного воспитания нового человека, быстрой технической и культурной революции. В это время появились работы А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, С. П. Обнорского, Г. О. Винокура и др. В 30-е годы была организована дискуссия о диалектизмах в языке литературы, в которой принял участие М. Горький.

В послевоенную эпоху — в 50—60-е годы возрастает общественный и научный интерес к вопросам культуры речи. Многие языковые тенденции и процессы определились к этому времени достаточно четко, другие — дали заметный результат (это относится в первую очередь к расширению нормативной базы, к заимствованиям в литературном языке из территориальных и социальных диалектов, а также из просторечия и из других языков, к росту профессионального слоя лексики в системе литературного языка и др.). В связи с этим уточнялись научные принципы культуры речи: объективная и нормативная точки зрения на язык, строгое разграничение в теории и практике кодификации (как нормализаторской деятельности) и нормы (объективно-исторического явления) и др. В эти же годы появились работы С. И. Ожегова, Р. И. Аванесова, Е. С. Истриной, акад. В. В. Виноградова и других советских языковедов, имевшие важное теоретическое и практическое значение. Была издана «Грамматика русского языка» АН СССР (т. 1—2. М., 1953—1954); вышел в свет «Словарь современного русского литературного языка» (в 17-ти т. М.— Л., 1950—1965). Большое значение для теории и практики культуры речи имела непериодическая серия сборников «Вопросы культуры речи» под ред. С. И. Ожегова (вып. 1—8. М., 1955—1967) [4].

В последние десятилетия культура русской речи переживает становление как довольно самостоятельная научная дисциплина со своим предметом и объектом исследования, целями и задачами, методикой и приемами научного исследования и описания материала.

В области культуры русской речи в последние годы наиболее успешно развивались следующие теоретические направления: 1) вариативность норм; 2) функциональ-

[4] См. обзор: *Борковский В. И.* Вопросы культуры речи. — Рус. речь, 1967, № 1, с. 47 и след.

ность в оценках нормативного характера; 3) соотношение вне- и внутрилингвистических факторов в становлении, развитии и функционировании литературных норм; 4) место и роль литературно-нормированных элементов в структуре национального языка и др.

В центре внимания исследователей был функциональный подход к проблемам правильности и нормативности. Именно этот подход позволяет превратить культурно-речевую деятельность из простого (и неминуемо субъективного и ограниченного) «запретительства» в позитивную программу лингвистического воспитания, выработки говорящими и пишущими языкового чутья, умения наилучшим образом пользоваться языком, его выразительными средствами в каждом конкретном речевом задании в соответствии с познанными законами функционирования языка в обществе.

Теоретической и фактической базой такой деятельности являются исследования в области функциональной грамматики и функциональной стилистики [5].

Активно разрабатывались в последние годы вопросы структуры национального русского языка в связи с развитием литературных норм, вопросы диалектного двуязычия и проблема «полудиалекта» — в общем плане возможностей и условий регионального варьирования современного литературного языка. Следует сказать, что строго нормативная точка зрения отвергает «региональные варианты» литературного языка, когда неправомерно ставятся в один ряд нормы литературной речи и отклонения от них (в виде диалектно окрашенной речи носителей литературного языка). Вместе с тем русский литературный язык, будучи неоднородным в своем составе, теснейшим образом связан с различными разновидностями русского национального языка, воздействует на них и сам испытывает их влияние. В результате этого взаимодействия он пополняется новыми средствами и обогащается стилистически, повышает вариативность своих элементов, получая возможность обозначать одно и то же явление разными словами и формами.

---

[5] См., например: *Костомаров В. Г.* Русский язык на газетной полосе. М., 1971; *Шмелев Д. Н.* Русский язык в его функциональных разновидностях. М., 1977; *Кожина М. Н.* Стилистика русского языка. М., 1977.

Для современного русского литературного языка характерна строгая нормативность, регламентирующая употребление разного рода вариантов: равноправных, взаимозаменяемых или стилистически ограниченных. Проблема вариантности разрабатывается исследователями на разном материале (лексическом, грамматическом, орфоэпическом, в историческом и синхронном планах). Особенное внимание при этом уделяется грамматическому и лексическому аспектам. Не случайно поэтому наиболее полный из существующих у нас теперь словарей «правильностей» носит название «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» (Л., 1973).

Актуальными теоретическими проблемами русского языкознания в области речевой культуры являются следующие: историческая изменчивость литературных норм, «крепость» их по отношению к различным сторонам языка, вариативность норм и их колебания, соотношение структуры языка и нормы в процессе речевой деятельности, терминология и терминотворчество, теоретические основы нормализации и языковой политики. Эти задачи и проблемы с разной степенью полноты нашли свое отражение в статьях и разделах сборника «Актуальные проблемы культуры речи» (М., 1970). Книга явилась первым опытом теоретического осмысления и обобщения многолетней работы сектора культуры русской речи Института русского языка АН СССР по нормализации современного русского литературного языка. Она не только подвела итоги проведенных исследований, но и наметила программу дальнейшей работы. В последующие годы в серии «Культура русской речи» (или по близкой к ней тематике) вышли в свет многие книги сектора [6].

Подготовлены и сданы в печать другие тематические сборники той же серии; в секторе культуры русской речи ведется работа над рядом коллективных и индивидуальных монографических исследований по вопросам норма-

[6] Исследования по русской терминологии. М., 1971; Терминология и норма (о языке терминологических стандартов). М., 1972; Синтаксис и норма. М., 1974; Синтаксис и стилистика. М., 1976; Грамматика и норма. М., 1977; Литературная норма и просторечие. М., 1977; Ономастика и норма. М., 1976; Нерешенные вопросы русского правописания. М., 1974; Языковая норма и статистика. М., 1977 и др.

лизации и языковой культуры. В круг этих исследований входит и настоящая книга.

Внимание языковедов в наше время привлекает теоретическое осмысление и исследование самого понятия литературной нормы как совокупности диалектических свойств: устойчивости и подвижности, исторической обусловленности и изменчивости, строгой однозначности и функционально-стилистической обусловленности и т. п.

При изучении литературной нормы и ее структуры выдвигается динамический аспект ее понимания и объективной оценки. С позиций динамического подхода норма — это не только результат речевой деятельности, закрепленной в традиционных «образцах» (памятниках письменности, культуры), но и создание, творение инноваций в условиях их связи с потенциальными возможностями системы языка, с одной стороны, и с реализованными, устоявшимися образцами — с другой.

Интерес языковедов к природе литературной нормы вполне закономерен. Ведь развитие живого литературного языка в общем виде есть становление, совершенствование и обновление его норм на новых этапах истории общества и в связи с актуальными общественными потребностями. Языковые нормы в их общественном, культурном бытии — это маяк, по которому языковой коллектив ориентируется в безбрежном океане речевой деятельности. Их изучение, точное описание и закрепление являются важной общекультурной задачей.

При оценке конкретных языковых явлений с нормативной точки зрения необходимы объективные научные сведения и данные, объективно-исторический взгляд на вещи. Без этих данных все рассуждения по поводу «правильности» или «неправильности», правомерности или неправомерности того или иного слова, той или иной формы, конструкции и т. п. нередко грозят превратиться в пустые и бесплодные (хотя подчас и весьма горячие) споры.

Следует иметь в виду, что советская эпоха для русского языка в отношении темпов его развития, эволюции его норм имеет исключительно важное значение. При этом ускоренное развитие по-разному проявляется в разных сторонах языка (на разных его «уровнях»). В области произношения и ударения, а также в области синтаксических конструкций это особенно заметно даже в пределах нескольких поколений. Достаточно, например, сравнить

орфоэпические рекомендации 1-го и 5-го изданий книги Р. И. Аванесова «Русское литературное произношение» (разделенные двумя десятилетиями), чтобы убедиться в этом. Что касается синтаксиса, то здесь сказывается его особенно тесная связь с потребностями мышления — появление новых форм и конструкций для выражения новых понятий и отношений. На наших глазах появилась конструкция «заявление на жилплощадь», происходит дальнейшая экспансия предлога *по* (а также и других предлогов) в тех случаях, когда традиционно употреблялись беспредложные конструкции и т. д.

Развитие русского языка в условиях научно-технической революции специалисты-нелингвисты склонны иногда связывать с потребностями «упрощения» языка — технизацией, логизацией, рационализацией и т. п. самой его структуры. К сожалению, такого рода заблуждения так же наивны, как и устойчивы. Сфера «рационализации» и «упрощения» касается узких областей речевой деятельности, связана со специальными технико-практическими нуждами и неприменима к языку в целом.

Возрастающая терминологичность общелитературного языка не ведет к его «терминологизации», так же как простое накопление техницизмов в речи не приводит к ее «технизации». Следует сказать также, что у языка, его структуры и законов функционирования есть своя логика, во многом отличная от формальной логики. В языке очень много внешне «нелогичного» и «избыточного», но это необходимая избыточность, позволяющая языку быть важнейшим средством человеческого общения, могучим орудием мышления и познания.

В условиях научно-технической революции литературный язык усложняется (подчиняясь при этом своим внутренним закономерностям); он тоньше и точнее служит человеку для выражения мыслей и чувств, но он отнюдь не «механицируется» и не «логизируется», оставаясь живым языком. И в эпоху научно-технической революции культура развивается на базе национального языка; вне национального языка нет подлинной, самобытной культуры.

Изучение литературной нормы в ее современном состоянии проводится на разных языковых уровнях — орфоэпическом, грамматическом, лексическом и фразеологическом. Очень важным фактором повышения культуры речи

является издание словарей — толковых, синонимических, фразеологических, собственно нормативных (разных типов) [7].

Новая теоретическая и методическая проблема, выдвинутая в последние годы,— это изучение возможностей статистического метода и его практическое применение в качестве инструмента исследования и вспомогательного принципа нормативной оценки языкового материала (особенно в области грамматических вариантов). В Институте русского языка подготовлен и издан частотно-стилистический словарь грамматических вариантов [8].

В области культуры речи статистика выступает как дополнительный метод описания и оценки в тех многочисленных случаях, когда о вариантах ничего (или почти ничего) нельзя сказать в плане их смысловой или стилистической дифференциации (например, *с помощью — при помощи*, *в адрес — по адресу* и т. п.).

Статистический метод начинает применяться и в социолингвистических исследованиях [9]; он помогает сделать более убедительными выводы и рекомендации нормативного и прогнозирующего характера.

В последние годы языковедами издано немало пособий учебного и справочного характера по различным вопросам культуры речи и нормализации русского языка. Среди этих пособий особое место занимает книга К. С. Горбачевича [10]. Выпущенная как пособие для учителя, эта книга является, в сущности, первым обширным опытом последовательного и всестороннего описания изменений литературных норм русского языка в советскую эпоху. Своими материалами и выводами книга утверждает мысль о том, что к нормам языка, путям их развития нельзя подходить любительски, на основе вкусовых оценок и отвлеченных рассуждений. Закономерности языковой эволюции можно определить лишь на основе тщательного изучения

[7] Словарь синонимов русского языка в 2-х т. Л., 1970—1971; Новые слова и значения. М., 1971; *Ожегов С. И.* Словарь русского языка, 9-е изд., испр. и доп. М., 1972; 12-е изд., стереотипное. М., 1978.

[8] *Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П.* Грамматическая правильность русской речи. М., 1976; см. также: Языковая норма и статистика. М., 1977.

[9] См.: Русский язык по данным массового опроса. М., 1974.

[10] *Горбачевич К. С.* Изменение норм русского литературного языка. Л., 1971.

истории литературного языка и всестороннего обследования его современного состояния. И только на этой базе можно сделать правильный, научно обоснованный прогноз относительно будущей, перспективной литературной нормы.

Активно продолжалась и расширялась в последние годы работа языковедов-русистов по пропаганде лингвистических научных знаний. Изданы целые серии книг и брошюр научно-популярного характера; продолжались передачи Всесоюзного радио «В мире слов (ответы на письма радиослушателей о русском языке)» и телевизионные передачи «Русская речь». С 1967 г. при Институте русского языка издается научно-популярный лингвистический журнал «Русская речь» (периодичность — 6 номеров в год). В 1973—1974 гг. проведена первая Всесоюзная телевизионная олимпиада школьников по русскому языку «Язык мой — друг мой» (председатель жюри — член-кор. АН СССР Ф. П. Филин). Вся эта работа становится традиционной в деятельности научных лингвистических учреждений; такого рода научно-общественные мероприятия — это и школа широкого филологического воспитания, и вместе с тем важная и ответственная трибуна языковедов.

В минувшие годы языковеды-русисты приняли активное участие в общественных дискуссиях о русском языке, в частности в большой дискуссии «Язык и время», проведенной «Литературной газетой» в 1971—1974 гг. Сами по себе такие споры и обсуждения — явление вполне нормальное и закономерное в жизни любого языка, который постоянно развивается. Характерно при этом, что большинство языковых споров разгорается вокруг тех процессов и явлений, которые возникают на глазах новых поколений и судьбу которых не всегда легко определить. В современных спорах речь идет о судьбе иноязычных заимствований, о чистоте и ясности научного стиля, о диалектных, профессиональных и просторечных элементах в канве литературных художественных произведений, о штампованности письменной речи и о многом другом важном и актуальном для сегодняшнего состояния русского языка. Изучить и понять причины возникновения всех этих явлений, тенденции их развития, указать их место в системе современного языка, дать им объективную оценку — задача науки о культуре речи, имеющей дело с

исторически изменчивой нормой. В общественных дискуссиях и спорах о языке еще раз подтверждается положение о том, что литературная норма является одновременно и собственно языковой и вместе с тем ярко выраженной социально-исторической категорией, что любое общество, а социалистическое в особенности, далеко не безразлично к тому языку, на котором оно говорит.

Таким образом, новейший этап исследований по культуре русской речи связан с развитием новых тем и новых подходов к теории культуры языка, а также с рядом практически выраженных организационных мероприятий. В советскую эпоху все более укрепляются функции русского языка как средства межнационального общения народов СССР в условиях равноправия и развития всех национальных литературных языков и культур. В настоящее время в Институте русского языка АН СССР ведется комплексная работа по теме «Русский язык как средство межнационального общения», которая стала постоянной в планах института [11].

Современный русский литературный язык неотделим от социалистической культуры, от процесса дальнейшей консолидации советского народа — новой исторической общности людей. Вместе с тем русский язык в современном мире по праву стал одним из самых перспективных мировых языков. Это еще одна его новая важная функция. В книге «Русский язык в современном мире» (М., 1974), подготовленной Институтом русского языка АН СССР совместно с Институтом русского языка им. А. С. Пушкина Министерства высшего и среднего специального образования СССР, рассмотрены вопросы, посвященные историческим связям русского языка, его современному распространению и функционированию, его преподаванию иностранным учащимся (особенно в аспекте лингвострановедения — приобщения обучающихся к социалистической культуре и идеологии).

В целом можно сказать, что современный подход к проблемам культуры речи учитывает широкий круг вопросов, связанных с функционированием и эволюцией русского литературного языка и его норм в структуре языка нации. Он устанавливает глубинные, внутренние связи

[11] См. подробнее: *Филин Ф. П., Скворцов Л. И.* Культура русской речи. — Вестн. АН СССР, 1975, № 5; Русский язык как средство межнационального общения. М., 1977.

повышения культуры языка народа с вопросами развития национальной культуры (в историческом и современном аспектах), научно анализирует процессы совершенствования современного русского литературного языка, расширения его функций как средства межнационального общения народов СССР, возрастания его идейно-политической и художественно-эстетической роли в современном мире.

Культура русского языка в настоящее время все более осознается как существенный элемент советской социалистической культуры, а языковое строительство — как важнейшая часть культурного социалистического строительства. В современных условиях это приобретает особенно большое значение и налагает новые серьезные обязанности на советских языковедов.

В соответствии с задачами и целями исследования настоящая монография состоит из четырех глав.

В первой главе рассматриваются основные понятия и термины культуры речи как специальной научной дисциплины; особое внимание уделяется анализу и критике пуристических и антинормализаторских взглядов и оценок. Заключает главу обзор высказываний В. И. Ленина о русском языке и культуре речи.

Вторая глава посвящена многообразным и сложным проблемам культуры речи: структуре литературных норм, динамике их развития и функционирования, вопросам иноязычного заимствования, терминологии и терминотворчества в связи с общественными потребностями и общественной практикой наших дней, условиями НТР. В ней описываются механизмы взаимодействия литературного языка с внелитературными сферами речи, дается краткий обзор общетеоретических взглядов на структуру и развитие литературных языков.

В третьей главе описывается широкий круг вопросов, связанных с культурой языка как частью национальной культуры: роль языка художественных произведений в стабилизации, развитии и распространении литературных норм; проблемы соотношения национального и интернационального в литературном языке, общего и индивидуального в языке и стиле, традиции и новаторства в творчестве русских писателей прошлого и настоящего, роль общественных дискуссий о судьбах языка и т. п.

Четвертая глава, заключающая исследование, рассматривает лексикографический аспект вопросов культуры речи: структуру нормативных словарей разных типов, их отношение к нормам и вариантам норм, эволюцию стилистических и собственно нормативных помет в словарях, составленных в разные эпохи и с разных теоретических позиций; роль толковых словарей как универсальных нормативных справочников, пособий по повышению речевой культуры и др.

Во всех главах и разделах книги последовательно проводится принцип динамического подхода к общим и частным проблемам культуры речи как научной дисциплины, который позволяет объективно осмыслить и оценить сложную диалектическую картину развития литературных норм русского языка, их функционирование и изменение в связи с общественными потребностями, общественной их оценкой и воздействием на них.

Работа продолжает важнейшие направления в области культуры русской речи и нормализации русского языка нового времени, обобщает результаты наблюдений и исследований, представляющиеся автору наиболее плодотворными и перспективными.

За ценные замечания и советы автор приносит благодарность рецензентам докторам филологических наук А. И. Горшкову и Ю. А. Бельчикову.

Глава I

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ КАК НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Понятия «культура речи» («культура языка») и «языковая норма» («норма литературного языка», «литературная норма», «языковой стандарт» и т. п.) являются общеязыковыми в том смысле, что они сходным образом определяются в различных современных литературных языках, обозначая в целом однотипные результаты нередко достаточно разных и своеобычных объективно-исторических процессов языкового развития.

Норма языка — центральное понятие теории культуры речи. Вместе с тем это одна из сложнейших проблем, многомерность и разноплановость которой определяются факторами объективно-историческими, культурно-социологическими и собственно лингвистическими, т. е. внутриязыковыми.

Недостаточная изученность самого объекта в теоретическом плане отражается прежде всего в неустойчивости и внутренней противоречивости терминологических определений.

В отечественных работах по культуре речи — теоретического и практического характера — литературная норма (или нормы) определяется нередко чисто внешними по отношению к языку признаками: традиционность, степень употребления, авторитетность источника и т. п.[1]

Показательны в этом отношении определения термина «норма» в словарях лингвистической терминологии. На-

---

[1] См. обзор: *Шварцкопф Б. С.* Очерк развития теоретических взглядов на норму в советском языкознании. — В кн.: Актуальные проблемы культуры речи. М., «Наука», 1970. Ср. написанную Н. Н. Семенюк главу «Норма» в кн.: Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970.

пример, О. С. Ахманова[2] в определении нормы выделяет два значения: 1) принятое речевое употребление языковых средств, совокупность правил (регламентаций); 2) язык, противопоставляемый речи как система (инвариант и т. п.), определяющая все многообразие речевых реализаций. Таким образом, если второе значение толкует норму как язык-систему (т. е. как бы снимает саму теоретическую проблему нормы), то в первом определении можно как будто бы усматривать неразличение объективной нормы и ее отражения в нормативных словарях, пособиях, грамматиках и т. п.

У Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой норма определяется как «наиболее распространенные из числа сосуществующих, закрепившиеся в практике образцового использования, наилучшим образом выполняющие свою функцию языковые (речевые) варианты»[3].

Здесь также не все ясно. Каким образом «распространенность» соотносится с «образцовостью использования», о какой «практике» и о каких «функциях» идет речь? Определяя «норму» через «варианты» (сводя норму к вариантам), авторы не устанавливают статуса нормы, не определяют ее внутренней сущности, места в структуре языка. Можно было бы понять это определение как общелингвистическую категорию (норма вне зависимости от литературности/нелитературности), однако обращение к «образцовому» использованию как будто не позволяет этого сделать. Более того, определяя термин «литературный язык» (с. 165), авторы начинают с того, что это — «нормализованный язык, обслуживающий разнообразные культурные потребности народа...»

Интересно, что в словаре О. С. Ахмановой понятие нормативности (в отличие от нормы) неявным образом включает в себя оценочный подход (англ. prescriptive 'предписательный', appreciative 'предпочтительный').

Оценочный (или аксиологический) аспект в разной степени присутствует в описании, исследовании или простом обращении к языковой (литературной) норме.

Нигилистическое отношение акад. А. А. Шахматова к проблеме нормализации во многом объясняется именно его внутренним протестом против оценочности объектив-

[2] *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
[3] *Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.* Словарь-справочник лингвистических терминов. 2-е изд. М., 1976, с. 210.

74 574
БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

ных языковых фактов (ср. его известные замечания по поводу записки И. Х. Пахмана).

Наиболее отчетливо противопоставление «объективности» и «оценочности» в подходе к норме проявилось в теоретико-методологических работах А. М. Пешковского, сформулировавшего «объективную» (т. е. научную) и «нормативную» (т. е. оценочную) точку зрения на язык.

В современных работах по общему языкознанию выдвигается настоятельное требование разграничивать в теории и на практике два принципиально различных аспекта понятия языковой нормы. «Языковая норма, понятие нормативности,— пишет Г. В. Степанов,— есть социально-историческая категория в том смысле, что само ее возникновение, формирование и признание за таковую есть история превращения потенциальных возможностей языка как системы выразительных средств в факт осознанных образцов речевого общения в определенной языковой общности в тот или иной период времени»[4]. Разграничивая две стороны вопроса, автор определяет первую из них как формирование возможностей различной реализации языковых средств (это объективный аспект понятия нормы, или «объективная норма»), а вторую — как принятие этих средств в качестве правильных, образцовых (это оценочный аспект нормы, или «аксиологическая норма»).

Важное и принципиальное в теории, такое разграничение на практике не всегда оказывается столь же категоричным хотя бы потому, что само выделение характерных параметров, критериев нормы так или иначе связано с их оценкой и выбором — как в историческом, так и в синхронном аспекте. Сама природа нормативности как бы предполагает предварительную оценку и выбор (на тех или иных основаниях) фактов, признаваемых в качестве нормативных. Показать это можно, например, на принципах выделения критериев нормы в современном советском языкознании.

«С тех пор, как вопросы культуры речи стали обсуждаться в обществе,— пишет Ф. П. Филин,— при выборе образца всегда так или иначе выдвигались два основания: „так говорили (писали) раньше, так было принято теми,

[4] *Степанов Г. В.* О двух аспектах понятия языковой нормы (на испанском материале). — В кн.: Методы сравнительно-сопоставительного изучения современных романских языков. М., 1966, с. 226.

наследниками которых мы являемся в области культуры" (языковая традиция) и „так говорит (пишет) сейчас большинство" (языковое употребление). Эти основания являются решающими и в наше время и останутся таковыми неопределенно длительное время, как бы ни изменялись методы лингвистического исследования» [5].

В этом справедливом утверждении речь идет, таким образом, о сложном диалектическом соположении и взаимодействии объективного (в исторической традиции и в современном употреблении) и оценочного (меньше — в определении исторически сложившегося, больше — в выборе образца для современного, подвижного). И совершенно не случайно автор делает следующую важную оговорку: «Разумеется, языковая традиция и языковое употребление часто находятся в противоречии друг с другом, в чем и кроется главная трудность определения современных языковых образцов, эталонов» [6].

И в том и в другом случае присутствует известный выбор, при котором оценка языковых фактов (в их соположении) неизбежна; другое дело, что оценка эта может быть невыраженной или выраженной в неявной форме.

Известно, что заслугой представителей Пражского лингвистического кружка (ПЛК) явилось пристальное изучение языковой нормы как понятия функционального, лингвосоциологического и конкретно-исторического. Норма определялась ими как совокупность структурных средств, регулярно употребляемых определенным языковым коллективом. Наблюдения над изменчивостью нормы во времени и ее функциональной вариативностью позволили в целом правильно осмыслить ее диалектическую сущность и собственно языковую природу. Акад. Б. Гавранек предложил рассматривать норму как обязательность в сфере деятельности, направленную на то, чтобы достигнуть наилучших результатов в сфере реальности [7]. В этом определении обращают на себя внимание такие его составляющие, как «обязательность», социальная обусловленность

---

[5] *Филин Ф. П.* Несколько слов о языковой норме и культуре речи.— В кн.: Вопросы культуры речи, вып. 7. М., 1966, с. 18—19.

[6] Там же, с. 19.

[7] *Havránek B.* Zum Problem der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft und Sprachkultur.— In: Actes du Quatrième Congrès international de linguistes. Copenhague, 1938.

(«сфера деятельности»), достижение цели (или «наилучших результатов»), объективность («сфера реальности»).

Дальнейшие уточнения понятия нормы чешскими лингвистами проходили в плане более четкого разграничения понятий «узус» (сложившийся речевой обычай) и «литературный язык» и в условиях строгого и последовательного разграничения понятий «норма» (объективные правила, реализующиеся в речевой деятельности) и «кодификация» (т. е. установление и описание этих правил, закрепление их в языковедческих пособиях и справочниках) [8].

Современная структурная лингвистика (восходящая в своих идеях и положениях к учению Ф. де Соссюра) выдвинула на первый план соотношение нормы и системы (или структуры) языка. Наиболее последовательно это проявилось в теоретических построениях Л. Ельмслева и Э. Косериу. В работе «Язык и речь» (1942) Л. Ельмслев предложил три подхода к языку (langue по Соссюру): а) на уровне с х е м ы, когда язык рассматривается как чистая форма; б) на уровне н о р м ы, где язык предстает как материальная форма; в) на уровне у з у с а, где язык выступает как совокупность навыков, принятых в данном обществе [9].

Эти три подхода Ельмслев демонстрирует на конкретном примере французского r: на уровне схемы (а) r рассматривается в сетке синтагматических и парадигматических отношений, характеризуясь чисто негативно и независимо от реального воплощения; на уровне нормы (б) r манифестируется в речи, это — звук, отличный от других звуков, но вместе с тем характеризующийся и некоторыми позитивными свойствами (минимум дифференциации); наконец, на уровне узуса (в) r характеризуется чисто позитивно через детальное описание артикуляционной базы.

Согласно построению Ельмслева норма рождается из узуса и акта речи; норма предполагает (детерминирует, по терминологии автора) существование взаимосвязанных явлений узуса и акта речи, но не наоборот. В свою оче-

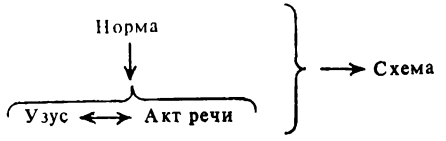
---

[8] См.: Пражский лингвистический кружок. Сб. статей. М., 1967; *Jedlička A.* Spisovný jazyk v současné kemunikasi. Praha, 1974 (библиография: с. 205—221).

[9] *Hjelmslev L.* Langue et parole.— In: Cahiers F. de Saussuré, vol. 2. Genéve, 1942 (рус. пер. в кн.: *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. 2. М., 1960, с. 56 и след.).

редь, на другой ступени абстракции норма и узус в совокупности предполагают (детерминируют) существование схемы. Схема в этом построении является постоянным, т. е. детерминируемым, членом; по отношению к ней норма, узус и акт речи — переменные, т. е. детерминирующие члены (рис. 1).

Рис. 1



Уточняя (и в известной степени преодолевая) дихотомию Ф. де Соссюра «язык — речь», Л. Ельмслев предлагает считать основным семиологическим подразделением различие между схемой и узусом. Надо сказать, что в связи с этим норма в построении Ельмслева оказывается фикцией: «Узус вместе с актом речи и схема отражают реальности. Норма же представляет собой абстракцию, искусственно полученную из узуса. Строго говоря, она приводит к ненужным усложнениям, и без нее можно обойтись» [10].

Отрицание Ельмслевом объективного характера нормы связано, на наш взгляд, с ограничением ее лишь аксиологическим аспектом и прямо вытекает из лежащего в основе теоретических построений автора дихотомического противоположения (соссюровское «язык—речь»).

Стремлением преодолеть соссюровскую дихотомию проникнута и схема, предложенная Э. Косериу (1952, 1958), в которой различаются также три уровня: система как возможность, как техника и эталоны; норма как реализация возможностей, заложенных в системе как модели, исторически уже реализованные; речь — свободная коммуникативная деятельность, имеющая двустороннюю направленность: подравнивание к традиции, во-первых, и подравнивание к собеседнику, во-вторых [11]. Система уровней,

---

[10] *Hjelmslev L.* Op. cit., c. 65.

[11] *Coseriu E.* Sistema, norma y habla. Montevideo, 1952; *Idem.* Sincronia, diacronia e historia... Montevideo, 1958 (см. рус. пер.: *Косериу Э.* Синхрония, диахрония и история. Проблема языкового изменения.— В кн.: Новое в лингвистике, вып. 3. М., 1963, с. 143 и след.).

разработанная Э. Косериу, генетически связана с представленной выше системой Л. Ельмслева.

В современном языкознании, как зарубежном, так и отечественном, схема Косериу имеет большую популярность[12]. Однако слабые стороны этой схемы, ее противоречия (наряду с несомненными достоинствами) требуют специального рассмотрения и оценки.

По мнению автора, в структурах, составляющих язык, важно различать то, что является нормальным или всеобщим (норма), и то, что является функциональным и дается в противопоставлении (система). Норма определяется Косериу как система обязательных реализаций, принятых в данном коллективе и данной культурой.

В этом определении обращают на себя внимание следующие параметры: а) системность, б) связь с языком — структурой, в) социальность и г) историчность. Можно полагать, что здесь, в сущности, перечислены все необходимые и достаточные признаки нормы — явления, связанного как с собственно лингвистическими, так и с внелингвистическими, социальными факторами. Норма по этому определению оказывается собственно языковым понятием: она находится в самом языке и выводится из него объективно, а не предписывается ему извне, не переносится из установлений словарей и грамматик. Иными словами, в нем утверждается и закрепляется предложенное деятелями Пражского лингвистического кружка принципиальное в теории и на практике разграничение языковой нормы и ее кодификации.

Главное противоречие в теоретической схеме Косериу, на наш взгляд, состоит в том, что уровень нормы включает у него лишь «обязательные реализации», т. е. характеризуется известной статичностью, хотя, по его же словам, «язык создается посредством изменения и „умирает" как таковой, когда он перестает изменяться». Понятие нормы у Косериу исключает возможности, потенции, т. е. реализации нетрадиционные. Норма у него соответствует не тому, что «можно сказать», а тому, что уже «было сказано» и что по традиции «говорится» в рассматриваемом обществе. Динамичность языка, как следует из этого взгляда, выявляется лишь через систему, в которой только

---

[12] См. например: *Кодухов В. И.* Общее языкознание. М., 1974, с. 172.

и возможен выход за пределы уже реализованного, данного в опыте, в традиции.

Перефразируя Ф. де Соссюра, Косериу утверждает мысль о том, что «в системе не появляется ничего такого, что до этого не существовало бы в норме». Вместе с тем любой сдвиг в норме (реализованном языке) происходит лишь как историческая конкретизация определенной возможности, уже существующей в системе. В то же самое время Косериу как будто понимает, что в живой речи вполне возможны реализации, не предусмотренные системой: «...норма зачастую требует избыточных реализаций или же реализаций, оправданных с точки зрения парадигматики и бесполезных в синтагматическом плане. В силу стремления к парадигматическому единообразию норма может даже требовать реализаций, противоречащих системе».

Из сказанного видно, что Косериу не смог преодолеть противоречия устойчивости и подвижности, объективно заложенного в норме, в угоду схеме распределив эти свойства по разным уровням. Не последнюю роль здесь сыграло и неразрешимое в рамках описанного подхода к норме противоречие между речью индивидуумов (индивидуальная норма) и представлением об общей речевой деятельности (социальная норма).

Между тем высказывания по поводу этого (во многом мнимого) противоречия можно найти в работах советских языковедов и философов 20—30-х годов. Понятие нормативного тождества лежит, например, в основе рассуждений В. Н. Волошинова о соотношении языка с индивидуальной речью говорящего. Каждое высказывание, по Волошинову, индивидуально и неповторимо, но в каждом есть элементы, тождественные с элементами других высказываний данной речевой группы. «Именно эти, тождественные и поэтому нормативные для всех высказываний моменты — фонетические, грамматические, лексические — и обеспечивают единство данного языка и его понимания всеми членами данного коллектива» [13]. В речевой деятельности языковое сознание говорящих имеет дело не с абстрактной системой нормативно-тождественных форм языка, а с языком-речью, «в смысле совокупности возможных

[13] *Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка (Основные проблемы социологического метода в науке о языке). Л., 1929, с. 64.

контекстов употребления данной языковой формы... Поэтому-то член языкового коллектива нормально никогда не чувствует гнета непререкаемых для него языковых норм (разрядка наша.— *Л. С.*). Свое нормативное значение форма языка осуществляет лишь в редчайшие моменты конфликта, нехарактерные для речевой жизни (для современного человека — почти исключительно в связи с письменной речью)» [14].

О творческом характере речевой деятельности, о постоянном создании в процессе говорения новых слов и форм (наряду с использованием готовых) писал Л. В. Щерба: «Совершенно очевидно, что хотя в процессах говорения мы часто просто повторяем нами раньше говорившееся (или слышанное) в аналогичных условиях, однако нельзя этого утверждать про все нами говоримое. Несомненно, что при говорении мы часто употребляем формы, которых никогда не слышали от данных слов, производим слова, не предусмотренные никакими словарями... не только употребляем слышанные сочетания, но постоянно делаем новые» [15].

В современном отечественном языкознании делаются успешные попытки конкретизировать схему Э. Косериу применительно к разным уровням — фонетическому (В. В. Иванов, И. Г. Милославский), словообразовательному (М. В. Черепанов) и др. [16] Вместе с тем предпринимались и предпринимаются шаги к преодолению противоречий этой схемы. Исследователи предлагают ввести широкое и узкое понимание нормы, узаконить понятие вариантности в пределах нормы, осмыслить диалектическое единство нормы через параметр ее «эластичности» и т. п. [17]

Крайние мнения приводят к отказу от нормативного подхода к норме (абсолютизация «амплитуды колебания», выдвижение функционального по своей природе «принципа коммуникативной целесообразности», определение нор-

[14] *Волошинов В. Н.* Указ. соч., с. 83—84.

[15] *Щерба Л. В.* О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании.— В кн.: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 24.

[16] См.: Материалы Всесоюзной конференции по общему языкознанию, ч. 2. Самарканд, 1966.

[17] См., например: *Горбачевич К. С.* Вариантность слова и языковая норма. Докт. дис. М., 1975; *Он же.* Вариантность слова и языковая норма. Л., 1978.

мы через «систему норм, варьирующихся от случая к случаю» и т. п.) [18].

Сущность всех этих уточнений сводится к тому, чтобы в общей схеме уровней дать более адекватное описание явления, выделяемого в качестве нормы. Простая заданность нормы, реализация уже установленного, статичность и неизменность ее удовлетворять уже никого не могут. Известно, что, во-первых, «крепость», устойчивость нормы различна на разных языковых уровнях и что, во-вторых, независимо от уровней языка нормы характеризуются разной степенью «обязательности» [19].

В. И. Кодухов выделяет три типа языковой нормы — узус (элементарная форма функционирования языка), литературный язык (обработанная и образцовая форма языка того или иного народа) и стили языка (коммуникативные и функциональные разновидности языковой нормы).

В этой классификации совмещены принципы иерархии и принципы дистрибуции. В результате «стили языка» выносятся за пределы «литературного языка». Между тем, расценивая норму-стиль как подтип, можно было бы считать ее разновидностью внутри общего противопоставления «узус» — «литературный язык». Нечеткость указанной классификации связана, на наш взгляд, с недостаточно критичным следованием автора схеме Э. Косериу, исходя из которой дается и понятие нормы: «Языковая норма — это совокупность наиболее устойчивых, традиционных элементов системы языка, исторически отобранных и закрепленных общественной языковой практикой» [20].

Ю. С. Степанов предложил подразделить уровень нормы (совокупность общепринятых, или традиционных, реализаций) на собственно норму и на отклонения от нее: «Он (уровень нормы.— *Л. С.*) подразделяется... на общепризнанные правильные реализации фонем, морфем, слов

---

[18] См., например: *Костомаров В. Г., Леонтьев А. А.* Некоторые теоретические вопросы культуры речи.— ВЯ, 1966, № 5; ср.: *Леонтьев А. А.* Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969, с. 81; Основы теории речевой деятельности. М., 1974, с. 305.

[19] Р. Р. Гельгардт различает, например, общие нормы литературного языка, охватывающие все его типы и стилистические разновидности, и частные нормы конкретного использования выразительных средств языка (стилистические нормы). См.: *Гельгардт Р. Р.* О языковой норме.— В кн.: Вопросы культуры речи, вып. 3. М., 1961, с. 35.

[20] *Кодухов В. И.* Указ. соч., с. 173—174.

и типов предложений, — это норма речи в собственном, или узком, смысле слова (или просто „норма“) и не менее общепризнанные ошибки против того, что считается правильным, ошибки, которые по одному тому, что они общепризнанные, следует называть скорее отклонениями от нормы» [21].

Такое подразделение, строго говоря, также приводит к ненормативности во взглядах на норму, так как в норму включаются и нарушения норм, речевые «общепризнанные ошибки» (от их общепризнанности, надо полагать, они не перестают быть ошибками в сознании литературно говорящих и пишущих). Вместе с тем надо сказать, что истоки такого подразделения вполне понятны и объяснимы: они идут от попыток осмыслить и описать историческую изменчивость норм, узаконение в их системе многих «отклонений», идущих естественным путем «олитературивания» прежних просторечных, диалектных, жаргонных, заимствованных и тому подобных элементов. Схематическая статичность нормы таким путем, однако, не преодолевается. Преодолеть эту статичность можно, на наш взгляд, лишь созданием динамической теории нормы.

К теории динамической нормы

Как мы уже видели, большинство прежних теоретических описаний нормы в основе своей оказываются таксономическими, т. е. классификационными, описательными. Свойства нормы, объективно распределенные в разных (хотя и связанных диалектически) аспектах, нередко на практике задаются конечным набором фактов или расширенным их списком (ср. многочисленные пособия по культуре речи, «словари правильностей» и т. п.). Оговорки по поводу исторической изменчивости норм положения не спасают, поскольку эволюция нормы механически выводится из эволюции языка и никак далее не конкретизируется. Не всегда учитываются в теоретическом описании нормы принципиально разные отношения к ней «потребителя» и «наблюдателя».

Стихийное следование нормативности, стремление говорить так, как говорят другие (или все),— необходимое

---

[21] *Степанов Ю. С.* Французская стилистика. М., 1965, с. 11.

условие естественного и свободного владения языком. Однако как только «потребитель» становится на позицию «наблюдателя», перед ним возникают большие трудности преодоления самодовлеющей силы языковых норм.

Различие этих двух аспектов было отмечено Д. Н. Шмелевым. Картина загадочности нормированного языка в психологическом отношении возникает «только тогда, когда мы задумываемся над чуждыми, непривычными для нас языковыми нормами. Обычно же нас вполне удовлетворяет ответ, что так сказать можно или так сказать нельзя, если этот ответ исходит от того, чью речь мы считаем именно образцовой. Ведь владение языком — это по существу овладение им» [22].

Владение языком предполагает в принципе (в двустороннем акте коммуникации) понимание и возможность производства любого количества фраз и конструкций. В применении к владению языком на уровне нормы вполне справедливым оказывается общее положение теории распознавания о том, что данный класс объектов, свойств, действий или отношений определяется не каким-то абстрактным образом, а набором свойств [23]. Кстати, согласно той же теории, понимание выражается в способности делать новое, создавать, а не просто повторять то, что есть или было.

Мнимый конфликт статики и динамики в норме, на наш взгляд, во многом порожден традиционно сложившимся распределением этих свойств в синхронии и диахронии языка (в соответствии с требованиями и взглядами Ф. де Соссюра). Преодолеть этот конфликт возможно, если включить в синхронию и статику (т. е. сеть таксономических отношений) еще и динамику (т. е. порождение единиц языка, их функционирование) [24]. Известно, что Бодуэн де Куртенэ считал «статику» (т. е. законы равновесия языка) всего лишь частным случаем «динамики» (законов исторического движения языка).

---

[22] *Шмелев Д. Н.* Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964, с. 52.

[23] См.: *Пиро Дж.* Символы, сигналы, шумы. М., 1967, с. 146 и след.

[24] Ср. главу «Проблема разграничения синхронии и диахронии» в кн.: Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. М., 1973, с. 107 и след.; см. также: Основы теории речевой деятельности, с. 51 и след.

В «Тезисах Пражского лингвистического кружка» (1929) делается специальная оговорка о том, что «нельзя воздвигать непреодолимые преграды между методом синхроническим и диахроническим, как это делала Женевская школа... и синхроническое описание не может целиком исключить понятие эволюции, так как даже в синхронически рассматриваемом секторе языка всегда налицо сознание того, что существующая стадия сменяется стадией, находящейся в процессе формирования»[25]. Действительно, из синхронного описания языка не могут быть исключены ни лексические (или стилистические) архаизмы, ни устаревающие варианты орфоэпической или грамматической нормы и т. п.

На уровне речевой деятельности, или уровне нормы, можно говорить, как нам кажется, о норме воплощенной (реализованной) и норме невоплощенной (потенциальной, реализуемой). Вторая творится с учетом первой, с известной «оглядкой» на нее и подравниваясь под нее. При этом обе они, находясь на одном уровне, противопоставлены (на иной ступени абстракции) другому уровню — языку-структуре, или языку-схеме.

Реализованная норма состоит из двух частей: 1) актуализованная часть (современная, продуктивная, активно действующая, хорошо осознаваемая и практически кодифицированная) и 2) неактуализованная часть (в нее включаются архаизмы, устаревающие варианты нормы, а также редкие в употреблении варианты, дублеты и т. п.).

Реализуемая норма, в свою очередь, также распадается на две части: 1) становящиеся нормой неологизмы и новообразования на разных уровнях языка и 2) принципиально некодифицируемая область речевой деятельности (индивидуальные, окказиональные, создаваемые к случаю и т. п., но необходимые в процессе общения образования).

Каждая из двух частей подтипов, или разновидностей, нормы противопоставлена в принципе по степени актуализованности, осознанности говорящими и пишущими (Л. В. Щерба называл это «светлой точкой языкового сознания»). Актуализованные части реализованной и реализуемой нормы и составляют то, что можно назвать «светлым полем сознания нормы» — ядром динамически понимаемой структуры нормы. Это целевой, функциональный

[25] См.; Пражский лингвистический кружок. Сб. статей, с. 18.

или телеологический, подход к проблеме нормы и нормативности (в отличие от инвентарно-таксономического, или описательного, подхода) [26]. Это может быть представлено схематически (рис. 2).

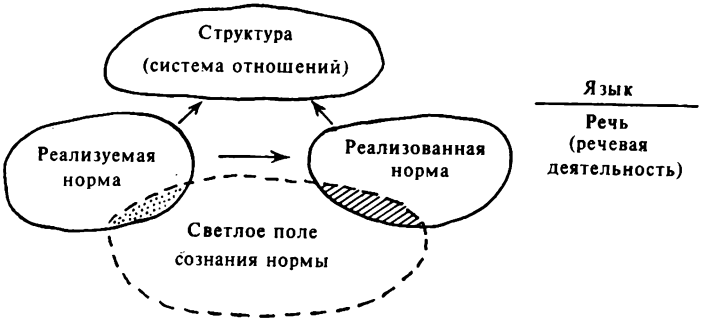


Рис. 2

Стрелки на схеме указывают отношения обусловленности (детерминированности); штриховка обозначает актуализованные области норм. Предложенная схема уточняет (с нормативных позиций) принятое во многих современных работах отношение «система — норма», носящее более общий характер [27]. Из этой схемы можно вывести ряд принципиальных следствий:

1. Понятие нормы не может быть ограничено реализованной частью; оно необходимо включает потенциальную сферу.

2. Реализованная норма является односторонне обусловленной (детерминирующей) сферой: она зависит от структуры, «подравнивается» под нее. Реализуемая норма — сфера двусторонне обусловленная (детерминирую-

[26] См.: Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972, с. 42 и след.

[27] «Норма» при этом обычно оказывается шире «системы»; она выступает как регулятор между системой и речью (речевой деятельностью, ситуацией и текстом и т. п.). Из работ последнего времени см., например: *Будагов Р. А.* Что такое развитие и совершенствование языка. М., 1977, с. 232—233; *Пиотровский Р. Г., Бектаев К. Б., Пиотровская А. А.* Математическая лингвистика. М., 1977, с. 9; *Каспранский Р. Р.* Норма и стиль.— В кн.: Теория и практика лингвистического описания разговорной речи, вып. 5. Горький, 1974.

щая): она зависит не только от структуры, но и от реализованной нормы, «подравниваясь» под ту и другую.

3. Принцип коммуникативной целесообразности (соответствия нормы ситуации и цели общения) одинаково применим в обеих сферах, но для нормы реализуемой он оказывается конструирующим (см. об этом ниже).

4. Норма не может быть задана конечным набором фактов, а неминуемо выступает в виде двух списков — обязательного и допустимого (дополнительного). Это источник нормативной вариантности, т. е. вариантов в пределах нормы.

5. Независимо от уровней языка нормы обладают разной степенью обязательности, что обусловлено их распределением по разным сферам.

Предложенная схема исключает возможность представить норму в качестве некоего недостижимого образца или идеала. Она справедлива для всех случаев нормы, которая возможна и вне пределов собственно литературной речи (с ее понятиями авторитетности, образцовости, традиционности и т. п.).

Норма языка при этом становится в ряд любой другой нормы, приобретает свойства научного понятия, определяясь не абстрактным образцом, а необходимым набором реальных признаков или симптомов. Здесь, однако, необходимо сделать оговорки.

Подобно тому как в описании нормы языка в качестве научного объекта мы выделяем основную («ядерную») часть и «периферию», в естественнонаучных и социологических исследованиях разграничиваются (при описании сходных понятий) аналогичные элементы структуры. «В повседневной работе медиков и ботаников идеализированную болезнь или идеальное растение сомнительно брать в качестве надежного критерия, потому что таковых просто не существует. Вместо них мы имеем списки свойств или признаков, частью решающих, а частью вспомогательных» [28].

В медицине и биологии философы разграничивают «видовую норму» и «адаптивную норму». Норма как видовое явление абсолютна для представителей данного вида. Адаптивные нормы (как частное проявление нормы реакции) «есть относительные формы проявления видовой

[28] *Пиро Дж.* Указ. соч., с. 144—145.

нормы в конкретных условиях существования человека»[29]. С этой точки зрения все индивидуальные нормы — тоже относительные формы проявления нормы видовой (ср., например, физиологические возрастные нормы и т. п.).

В самом общем виде здесь можно провести параллель с нормами языка и нормами речи. Тогда, по-видимому, надо говорить о «норме языковой» (как видовой категории) и «нормах речи» (или «речевых нормах») как частных, конкретных случаях проявления первой.

Языковая норма как социальное явление
Типология норм

Так же как в медицине и биологии, нормы языка и речи являются единством исторического и индивидуального, абсолютного и относительного.

Более привычным и наглядным оказывается как будто сопоставление языковых норм с социальными установлениями (обычаями, законами и т. п.) человеческой жизни. Ш. Балли весьма категорично определял норму языка «императивным принуждением», которое можно сравнить с полицейскими предписаниями, с необходимостью платить налоги, подчиняться запретам уголовного кодекса и т. п.[30]

Аксиологический (чисто оценочный, предписательный) подход к проблеме нормы в подобного рода суждениях вполне очевиден. Между тем он продолжает встречаться в научной лингвистической литературе[31] и в связи с этим требует известных пояснений.

В современной философии и социологии норма определяется как средство регулирования деятельности общества в целом, его институтов, социальных групп или отдельных лиц. В этом смысле норма понимается как закон деятельности, правило, которому подчиняется деятельность. В «Кратком словаре по философии» норма в широком

---

[29] *Югай Г.* Понятие нормы (философские проблемы медицины).— Медицинская газета, 1973, 13 июня.

[30] *Bally Ch.* La langage et la vie. Zurich, 1935, p. 66—70. См. об этом: *Кузнецов В. Г.* Язык как орудие культуры в концепции лингвистов Женевской школы.— Филолог. науки, 1975, № 2.

[31] Ср. следующее категоричное утверждение: «В социально-психологическом аспекте языковая норма ничем принципиально не отличается от других видов социальных норм поведения» (Основы теории речевой деятельности, с. 305).

смысле определяется как «правило, которому подчиняется определенный процесс или его результат. Что касается нормы в узком смысле, то это — принципы и правила, определяющие взаимоотношения личности и общества и фиксируемые в законах и других юридических актах. Это политические, юридические, моральные и т. п. нормы» [32].

В современной этике норма определяется как «предписание, которое должно быть выполнено для достижения цели, поставленной теми, кто установил нормы, признал их годными и правильными, и которые те, кого они касаются, должны выполнять или по внутреннему убеждению, или по принуждению извне» [33].

Осознанность нормы, по-видимому, не дает все же достаточных оснований для такой абсолютизации субъективного начала в ней; так или иначе, сугубо прагматический аспект лежит в основе таких оценок и формулировок. И не случайно в понятие нормы в этом случае включаются любые правила вообще, в том числе правила логические и даже грамматические [34].

Социологи исходят обычно из определения нормы, данного в Большой Советской Энциклопедии: «...общепризнанное в определенной социальной среде правило, воззрение; правило поведения людей в обществе, выраженное в законе» [35]. Надо сказать, что это определение входит в целую систему других определений нормы, сформулированных применительно к разным областям науки и техники. Краткий их перечень или обзор уже сам по себе демонстрирует источник различного понимания, осмысления нормы применительно к языку — в тех случаях, когда исследователи руководствуются широко понимаемым общетеоретическим взглядом на проблему.

«Норма (от лат. norma — руководящее начало, правило, образец), 1) Минимальное или предельное количество ч.-л., допускаемое правилом, планом (напр., *норма времени, норма высева семян*). 2) ...правило поведения людей в обществе, выраженное в законе (см. *Норма права*).

---

[32] Краткий словарь по философии. М., 1966, с. 190—191.
[33] *Попелова И.* Этика. Пер. с чеш. М., 1965, с. 40—41.
[34] Критический обзор взглядов на социальную норму см. в кн.: *Пеньков Е. М.* Социальные нормы — регуляторы поведения личности. Некоторые вопросы методологии и теории. М., 1972.
[35] БСЭ. 3-е изд., т. 18. М., 1974, с. 123 и след. (Далее везде ссылки на это издание.)

3) Правило, закон в к.-л. отрасли знания (напр., *норма языковая*). 4) Средняя величина ч.-л. (напр., *норма стока*). 5) Н. представительства... в выборных органах... 6) Типографское...»

Сопоставление нормы языка и нормы права показательно даже в пределах энциклопедических определений. Если в норме права подчеркивается «общеобязательность» общественного поведения (по установленным государством правилам), то в норме языковой отмечается исторически обусловленная «общеупотребительность» языковых средств, а также правила их отбора и использования, признаваемые обществом «наиболее пригодными» в конкретный исторический период.

Категорическая императивность правовых норм (в отличие от норм языковых) поддерживается и усиливается указанием в их определении на взаимные права и обязанности субъектов регулируемых ими отношений, а также «санкциями» за неисполнение установленных обязанностей. Вместе с тем известный типологический параллелизм в определениях (и самом объекте) норм права и норм языка дает интересный материал для выявления многих конкретных сущностных черт собственно лингвистического феномена.

Подобно тому как описание или систематизация действующего законодательства подразделяется на инкорпорацию (т. е. объективное описание, простое упорядочение без каких-либо оценок) и кодификацию (имеющую цель систематизировать и регламентировать более или менее строго существующие законодательные акты), можно говорить о научном описании языка и нормативном его описании. Принципиально это два разных подхода к явлениям языковых отношений и реализаций, и их строго следует различать в теории и на практике [36].

Понятие языковой кодификации (или кодификации нормы), в отличие от объективно-теоретического описания структуры, медленно, но неуклонно входит в научный обиход и превращается постепенно в лингвистический тер-

---

[36] Едва ли не первым у нас обратил внимание на необходимость такой дифференциации в теории и методике А. М. Пешковский (см.: *Пешковский А. М.* Объективная и нормативная точка зрения на язык.— В кн.: Русский язык в школе. Труды постоянной комиссии..., вып. 1. М.— Пг., 1923).

мин. Ср. в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой: «Кодификация нормы. Изложение (формулировка) совокупности правил, обеспечивающих регулярное воспроизведение в речи образцового варианта языка» (с. 198).

Обычно термин «кодификация» употребляется как синоним «нормализации»; ср. в словаре Ахмановой: «Нормализация. Установление нормы» (с. 271). Есть, однако, попытки разграничить эти термины и сами понятия.

В. А. Ицкович предложил считать нормализацией (исходя из системных отношений этого термина) не простое описание нормы, или ее кодификацию в строгом смысле слова, а только «активное вмешательство в языковой процесс, например, введение определенных терминов и отказ от других, как нежелательных по каким-нибудь причинам» [37].

Отмечая полезность такого разграничения в целом, следует сказать все же, что настоящего и строгого противопоставления «нормализации» и «кодификации» в этом случае не происходит. Противополагаясь по степени активности (или «осознанности») друг другу, понятия «кодификация» и «нормализация» оказываются в отношении соподчиненности: последняя является частью первой. На практике «нормализация» в предложенном выше понимании называется обычно «стандартизацией» (в широком смысле слова: установление ГОСТа, упорядочение терминосистемы, официальное переименование и т. п.).

При всех возможных недостатках термина «нормализация» (вызывающего, как полагает Ицкович, ложные ассоциации с термином «норма») он в известном смысле более приемлем в общем употреблении, так как прямо сигнализирует о явлениях нормативности. С другой стороны, термин «кодификация» на русской почве так или иначе связывается с большой категоричностью (в связи с ассоциациями со словом «кодекс»), предполагает императивность оценок и требований, их чуть ли не законодательную обязанность, что, как известно, не всегда оправдывается в сфере нормативной лингвистической практики.

Вместе с тем терминология нормы права дает и другое полезное для языкознания разграничение — деление коди-

---

[37] См.: *Ицкович В. А.* Норма и ее кодификация.— В кн.: Актуальные проблемы культуры речи, с. 13—14 (сноска).

фицируемых норм на императивные (обязательные) и диспозитивные (восполнительные, применяемые в тех случаях, когда вопрос не урегулирован соглашением сторон). Императивные нормы в языке — это обязательные реализации, вытекающие из возможностей структуры. Нарушение их в речи выводит говорящего (или пишущего) за пределы родного языка (ср. нарушения норм спряжения, склонения, согласования в грамматическом роде, числе и т. п.). Диспозитивные нормы в языке — это те рекомендации, которые даются с опорой на структуру (структурные отношения) или выступают как следствие тех или иных теоретических или культурно-исторических предпосылок (часто с сознательными допущениями и схематизациями). Императивные нормы меняются вместе с языком, и в плане кодификации можно говорить о более или менее полном их описании. Диспозитивные — уточняются, видоизменяются или отменяются при очередных попытках (или в очередные этапы) кодификации.

Различие этих двух типов норм в современных нормативных словарях отражают два типа помет: предупредительные «не», «неправильно», «недопустимо», с одной стороны, и «допустимо», «устарелое» (или «устаревающее»), «и», «специальное», «в профессиональной речи» и т. п.— с другой [38].

Предложенное выше понимание динамической нормы позволяет уточнить и дифференцировать нормативные оценки языковых явлений.

По отношению к фактам реализованной нормы можно говорить содержательно об «отклонении» от нее или «следовании» ей, точно так же как по отношению к фактам реализуемой нормы — о «соответствии» или «несоответствии» нормативным требованиям. К «синонимичным» элементам реализованной нормы применима оценка по отклонению от традиции, к разного рода неологизмам и новообразованиям — оценка по соответствию возможностям структуры.

Параллели с терминологией нормы права дают возможность более строго дифференцировать виды (или

[38] Ср. пометы в словарях-справочниках: Русское литературное произношение и ударение. М., 1959; Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Л., 1973.

типы) не только языковых норм, но и самой их оценки и подхода к ним. Подобно тому как в теории и практике судопроизводства различают официальную кодификацию (проводимую государством) и неофициальную, или научную (проводимую юридическими организациями или отдельными юристами) [39], можно и нужно различать в области языка кодификацию научную и кодификацию официальную.

Научная кодификация проводится языковедческими учреждениями или отдельными специалистами; ее результаты закрепляются в словарях, учебниках и учебных пособиях, в разного рода справочниках и т. п. К сфере официальной кодификации следует отнести деятельность разного рода специальных терминологических комиссий, а также комитетов по наименованиям и переименованиям (названий учреждений, улиц, географических названий и т. п.). Ср.: «*Пе́ру* (правильно *Перу́*)» в «Малой сов. энциклопедии» (3-е изд., т. 7. М., 1959); «*Перу́* (Perú)» — в БСЭ (т. 19); «*Лос-Анжелос* (Los Angeles)» в «Малой сов. энциклопедии» (т. 5); «*Лос-Анджелес*» — в БСЭ (т. 15); «*Канн, Канны* (*Cannes*)» — в БСЭ (т. 11); только *Канн* в «Атласе мира. Западная Европа» (М., 1975).

Известная неустойчивость такого рода кодификации отражает отсутствие лежащих в ее основе теоретических (историко-лингвистических) начал и может быть продемонстрирована на следующем примере: «*Ли́верпул*» — в «Малой сов. энциклопедии» (т. 5); «*Ли́верпул*» — в «Энциклопедическом словаре географических названий» (М., 1973); «*Ли́верпул*» — в БСЭ (т. 14); но: «*Ливерпу́ль* (англ. Liverpool)» — в «Кратком топонимическом словаре» В. А. Никонова (М., 1966, с. 234); «*Ливерпу́ль,-я*» — в «Словаре ударений для работников радио и телевидения» (М., 1967); «*Ливерпуль*» — в «Атласе мира. Западная Европа».

Интересно отметить, что в газетных публикациях, радиопередачах и т. п. в косвенных падежах (при возможной исходной «официальной» форме *Ли́верпул*) обычны и естественны формы *из Ливерпу́ля*, *Ливерпу́лем*, а также *ливерпу́льский* и т. п., что также свидетельствует об известной искусственности официальной кодификации, опи-

[39] См.: БСЭ, т. 12. М., 1973,с. 375.

рающейся в этом случае на язык-источник,— без учета сложившихся системных отношений наименования в современном русском литературном языке.

Чтобы завершить сопоставление понятий и терминов нормы права, этики и нормы языка, можно обратиться еще к нескольким характеристикам и параметрам.

Во-первых, это требование избыточности при нормативной коммуникации: «...норма, понимаемая как полезное для системы ограничение поведения элементов, должна быть избыточной, ее границы должны быть несколько большими, чем это требуется для организации системы. Система в целом может быть описана меньшим числом норм, чем их реально функционирует. Нормативность коммуникации, таким образом, всегда избыточна» [40].

С этим положением соотносится и перекликается общетеоретический взгляд, по которому норма языка по объему шире системы (структуры). Ср.: «Система стремится к сравнительно однозначному решению (для определенного типа слов — определенный суффикс), норма же оказывается шире системы и постоянно осложняет и даже расшатывает ее» [41]. Соглашаясь с последним утверждением, можно, однако, высказать известное сомнение по поводу «расшатывающей» роли нормы; речь должна идти, по-видимому, о перестройке, усложнении, видоизменении и т. п. системы, но не о ее «расшатывании». Динамический аспект снимает это видимое противоречие статики и динамики, по которому норма рассматривается как «идеал», «образец», «совершенная реальность», «данность» и т. п.

Во-вторых, это понятие нормативной структуры общения: «В сфере коммуникации в первую очередь формируются нормы-принципы... реализирующие потенциальные возможности организации общества в сложившихся исторических условиях... Норма-принцип дополняется и конкретизируется в детализирующих нормах, которые реализуют ее сущность для разнообразных коммуникативных ситуаций. Многие из них являются каузальными. Все вместе они образуют нормативную структуру коммуникации, относительно самостоятельную, оказывающую обрат-

---

[40] См.: *Соковнин В. М.* Проблема нормативного общения.— Филолог. науки, 1975, № 2, с. 52.

[41] *Будагов Р. А.* Указ. соч., с. 232.

ное влияние на развитие породивших ее общественных отношений»[42].

Проводя параллель с нормой языка, здесь важно подчеркнуть не только системность последней, но и ее известную автономность (что проявляется в следовании культурной традиции, в авторитете этой традиции при оценке новых речевых явлений и фактов).

Наконец, в-третьих, следует сказать об условиях формирования и функционирования системы норм. В процессе формирования норм общения, как полагают социологи и философы, немалая роль принадлежит, по-видимому, закону наименьших Либиха — одному из общих законов природы[43]. Согласно этому закону в системе укрепляются те места (узлы, блоки, связи и т. п.), которые наиболее важны для ее существования и в то же время являются наименее прочными. Укрепление таких слабых звеньев достигается выработкой жестких, избыточных и детализированных норм, путем повышенной регламентации.

Перенося сетку этих отношений на нормы языка, можно говорить о теоретических основаниях повышенной строгости предписания (ригоризме, от лат. rigor 'строгость') в тех случаях, когда это относится к частотным и устойчивым нарушениям орфоэпической нормы или к «освященным» временем, но не перестающим от этого расцениваться в качестве ошибочных явлений грамматики или лексики (семантики); ср. «обоих» вместо «обеих», «крайний» вместо «последний», «одеть» вместо «надеть»[44] и т. п.

---

[42] *Соковнин В. М.* Указ соч., с. 53.

[43] См. об этом в кн.: Проблемы методологии системного исследования. М., 1970, с. 163 и след.

[44] Ср.: «Слово *надеть* начинает восприниматься как некая модификация „основного" глагола *одеть*. И хотя литературная норма требует различения этих глаголов, с ней, как мы видим, уже в течение столетия расходится практика обиходной речи» (*Цейтлин Р. М.* Об одной старой ошибке в словоупотреблении...— В кн.: Вопросы культуры речи, вып. 4. М., 1963, с. 119). Выражение *без ничего* (вместо *безо всего* или *ни с чем*) уже в 40-х годах XIX в. отмечалось как неправильное (см.: Справочное место русского слова. СПб., 1843, с. 7).

Развитие динамического взгляда на норму в современном языкознании

Идея динамичности нормы в обобщенном виде присутствует уже у Л. В. Щербы в его описании структуры восточнолужицкого наречия (1915). Детализируя и уточняя синхронный принцип описания живого языка, Щерба отмечал динамичность самого описания, «светлой точке языкового сознания» и «твердым нормам» он противопоставлял все другие речевые факты, выделяя среди них новые явления нормативного плана, уходящие из живого употребления элементы, а также явления «каузального» характера: «Вообще я старался схватить язык в его движении: выдвинуть на первый план твердые нормы, находящиеся в светлой точке языкового сознания, а затем показать, с одной стороны, умирающие, а с другой стороны — нарождающиеся нормы, находящиеся в бессознательном состоянии и лишь воспроизводимые или творимые в отдельных случаях» [45].

В этом рассуждении Л. В. Щербы в неявном виде присутствует понятие о системном и нормативном уровнях языка; в нем содержится важное в лингвистическом (и лингвопсихологическом) отношении положение о «светлом поле» (или «точке») языкового сознания — то, что мы сейчас могли бы назвать ядерной частью нормативной системы (в отличие от неядерных, или периферийных, ее частей) [46].

Элементами динамизма характеризуется известное определение нормы, предложенное С. И. Ожеговым в ряде статей и в наиболее полном виде сформулированное в статье «Очередные вопросы культуры речи» (1955). В этом определении особенно важно подчеркнуть исторический (и непрерывный во времени) характер литературных норм, их системную упорядоченность («совокупность») и, наконец, вариативность и динамичность их порождения и функционирования в условиях постоянной социальной корректировки («оценки»): «...норма — это совокупность наиболее пригодных („правильных", „предпочитаемых") для обслуживания общества средств языка, складываю-

---

[45] *Щерба Л. В.* Восточнолужицкое наречие, т. 1. Пг., 1915, с. 89.

[46] О современном понимании терминов «центр» и «периферия» в языке см. в книге чехословацких языковедов: Travaux linguistiques de Prague, 2. Prague, 1966.

щаяся как результат отбора языковых элементов (лексических, произносительных, морфологических, синтаксических) из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых (везде разрядка наша.— *Л. С.*) из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов» [47].

В современных исследованиях динамическое понимание нормы выступает в более расчлененном и явном виде. Н. Ю. Шведова в качестве нормативной оценки синтаксических новообразований выдвигает два момента или фактора: во-первых, массовую и регулярную воспроизводимость и, во-вторых, активное взаимодействие с другими звеньями системы языка [48]. При этом определяющим фактором справедливо называется второй (системная обусловленность). Это общее положение автор хорошо иллюстрирует синтаксическим новообразованием *заявить на кого-н., заявление на кого-н.* (ср. старое *заявить о ком-н., заявление о ком-н.*). Новое глагольное управление возникло по аналогии с *жаловаться на кого-н., жалоба на кого-н.*; оно приобрело массовую употребительность и регулярно воспроизводится в различных жанрах письменной и устной речи. Решающим при этом оказывается развитие новых связей: под влиянием *заявление на кого-н.* (только с одушевленными существительными) появилось *заявление на что*: *заявление на жилплощадь* (*на развод, на гараж* и т. п.). Ср. также *наблюдать за чем-н.* (вм. традиционного *наблюдать что-н.*, под влиянием *следить за кем/чем*), *желание к чему-н.* (вм. традиционного *желание чего*, по аналогии со *стремление к чему-н.*) и др.

Из этого делается обоснованный вывод по поводу существа грамматической нормы. Это — не обязательно лишь старое, закрепленное традицией употребление; «грамматическая норма — это такое образование и употребление форм и категорий, которое, во-первых, последовательно воспроизводится в коллективной языковой практике носителей литературной речи — в определенных условиях ограничения (функционально-стилевых) или вне всяких

---

[47] *Ожегов С. И.* Очередные вопросы культуры речи.— В кн.: Вопросы культуры речи, вып. 1. М., 1955, с. 15.

[48] *Шведова Н. Ю.* Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., 1966, с. 12.

ограничений — и, во-вторых, обнаруживает тенденцию к живому взаимодействию с другими звеньями системы»[49].

Нетрудно заметить, что в этом определении грамматической нормы перечислены в скрытой форме основные элементы предложенной нами схемы: фиксированность реализованной нормы, двоякая ориентированность реализуемой, создаваемой вновь нормы (зависимость ее от старой нормы, с одной стороны, построение по системным отношениям — с другой).

Негативная оценка новообразований (с позиций старой, традиционной нормы), согласно нашей схеме, может быть интерпретирована как неправомерное ограничение области нормативности лишь фиксированной, «сотворенной» ее частью, без учета объективно существующей «творимой», т. е. создаваемой в процессе речевой деятельности нормативной сферы.

Кстати, здесь, по-видимому, и находится выход из «порочного круга», устанавливаемого Ю. М. Скребневым при определении границ между ошибкой и новообразованием: «Новообразование есть ошибка, легализованная употребительностью. Чем шире употребительность языкового факта, тем больше оснований для оценочных суждений. Этот порочный круг вполне преодолим в популярных пособиях по культуре речи, однако не в теории»[50].

Конечно, абсолютизация ретроспективного взгляда на природу нормы лишает исследователя возможности достоверно оценивать новые факты с точки зрения их нормативности. Однако это не значит, что «стабильность нормы принципиально несовместима с функционированием языка»[51]. Это противоречие снимается при динамическом под-

---

[49] *Шведова Н. Ю.* Указ. соч., с. 12—13.

[50] *Скребнев Ю. М.* К вопросу об «ортологии».— ВЯ, 1961, № 1.

[51] *Скребнев Ю. М.* Очерк теории стилистики. Горький, 1975, с. 69; ср: «Ретроспективная природа нормы принципиально лишает исследователя возможности достоверно квалифицировать любые новые высказывания как нормативные или ненормативные...» (*Скребнев Ю. М.* Понятия субституции и нормы в описании разговорной специфики.— В кн.: Теория и практика лингвистического описания разговорной речи, вып. 5. Горький, 1974, с. 138). Об относительной ретроспективности литературной нормы см.: *Костомаров В. Г.* О ретроспективности учения о культуре речи.— Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1966, т. 25, вып. 2, с. 81 и след.; *Леонтьев А. А.* Будущее языка как проблема культуры речи.— В кн.: Вопросы культуры речи, вып. 8. М., 1967, с. 7 и след.; *Григорьев В. П.* Культура языка

ходе к норме, по которому ее «стабильность» оказывается относительной, сложной по своей структуре, исторически и коммуникативно обусловленной. Из сказанного выше ясно, что ошибки и новообразования могут быть разграничены по чисто лингвистическим основаниям и перспективность новых фактов в системе литературных норм может быть предопределена с достаточной точностью и строгостью.

Обращаясь к определению нормы, следует особенно выделить и подчеркнуть конкретно-исторический характер самого понятия нормы (и нормативности), чем и объясняется выдвижение на первый план его исторической обусловленности в разных по времени и обстоятельствам формулировках этого научного понятия.

С конкретными условиями развития чешского литературного языка связаны требования ПЛК о функциональном и системном подходе к нормализуемым фактам; точно так же выдвинутые в работах ПЛК принципы вариантности нормы, настоятельные требования строго разграничивать в теории и на практике объективную норму и ее кодификацию во многом объясняются острой полемикой чешских языковедов с пуристическими деятелями журнала «Наша речь» («Naše řeč») в начале 30-х годов [52].

В. Дорошевский, говоря о языковой правильности, языковых ошибках и критериях оценки этих понятий, специально отмечает: «Прилагательное *правильный* как определение слова или формы слова обозначает, собственно, следующее: употребляемый в речи данной эпохи, этапа языкового развития, или соответствующий норме, господствующей в данное время в данном обществе» [53].

В. В. Виноградов в качестве критериев правильности, нормативности новых явлений справедливо выдвигал на первый план соответствие структуре языка, опору на «живые тенденции народного творчества», оправданность «внутренними законами развития языка», активными процессами в области грамматики, семантики, словоупотреб-

---

и языковая политика.— В кн.: Вопросы культуры речи, вып. 4. М., 1963.

[52] См.: *Гавранек Б.* Задачи литературного языка и его культура.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. Сб. статей, с. 338 и след.

[53] См. предисловие к кн.: Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa, 1973, с. VII и след.

ления, словообразования и т. п.[54] В цикле статей 50—60-х годов он выдвинул задачу изучения норм в речевой жизни общества — на всех уровнях языковой системы, в их отстоявшихся формах, противоречиях и вновь развивающихся тенденциях[55].

Определение нормы как общепринятых «в данном языковом коллективе на данном отрезке времени языковых средств» дано Ф. П. Филиным[56]; как «социально-историческая категория» языковая норма рассматривается в работе Г. В. Степанова, посвященной испанскому языку Америки[57].

Исходя из предложенного выше взгляда на норму как явления динамического, можно дать важное для дальнейших рассуждений следующее ее определение: языковая норма, понимаемая в ее динамическом аспекте, есть обусловленный социально-исторически результат речевой деятельности, закрепляющей традиционные реализации системы или творящей новые языковые факты в условиях их связи как с потенциальными возможностями системы языка, с одной стороны, так и с реализованными образцами — с другой.

Иначе говоря, уровень нормы (детерминирующий уровень системы) в аспекте порождения предполагает обязательное включение детерминированной части. В этом, собственно, и состоит существо динамического понимания нормы — не только как воспроизведения реализованных возможностей системы, возведенных общественной практикой в ранг образца, но и как постоянного в процессе живой коммуникации порождения языковых фактов, ориентированных одновременно и на систему и на реализованный образец. При этом система понимается также динамично: учитывается ее движение во времени, изменения и преобразования в новых общественно-исторических ус-

---

[54] *Виноградов В. В.* Задачи советского языкознания... — ВЯ, 1952, № 1, с. 26.

[55] *Виноградов В. В.* Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры.— ВЯ, 1961, № 4; *Он же.* Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания.— ВЯ, 1964, № 3, и др.

[56] *Филин Ф. П.* О нормах и стилях литературного языка.— В кн.: Проблема нормы и социальная дифференциация языка. Тезисы докладов. М., 1967.

[57] *Степанов Г. В.* Испанский язык Америки в системе единого испанского языка. Автореф. докт. дис. Л., 1966, с. 9.

ловиях, совершенствование в зависимости от потребностей коммуникации, мышления и т. п. В динамическом плане должен быть осмыслен и «реализованный образец» — как широкий культурно-исторический фон, постоянно пополняемая сокровищница литературного языка.

Социальный аспект в этом определении выступает в неявной форме, и это объясняется в первую очередь тем, что определение дается в рамках общей теории культуры речи — научной дисциплины, которая по своей сущности является социальной, связанной с теоретическим осмыслением функционирования языка как орудия культуры, важнейшего средства общения и непосредственной действительности мысли.

Культура речи и норма как ее важнейший элемент могут быть осмыслены и осмысливаются с разных точек зрения: социолингвистической [58], психолингвистической [59], учебно-педагогической, художественно-эстетической и т. п. Однако, как нам кажется, основу всех этих подходов составляет подход или аспект структурно-лингвистический, важнейшим звеном которого является динамическое понимание природы нормы.

Обобщенный способ формулировки определения, выдвинутый нами впервые в 1970 г. [60], и породил некоторые замечания и уточнения, предложенные исследователями в последние годы (надо особо оговорить, что сама идея динамизма в осмыслении и оценке нормы сомнению не подвергалась) [61].

Понятие нормы — сложная и многоаспектная категория лингвистики. В рамках теории культуры речи это понятие непосредственно связано с такими категориями, как «культура речи» и «культура языка», «литературный язык», рассмотрению которых посвящены следующие главы на-

---

[58] См., например: *Пилинський М. М.* Мовна норма і стиль. Київ, 1976, гл. I, с. 13 и след.

[59] См.: *Леонтьев А. А.* Язык, речь, речевая деятельность (гл. II), а также его другие работы.

[60] *Скворцов Л. И.* Норма. Литературный язык. Культура речи.— В кн.: Актуальные проблемы культуры речи, с. 53.

[61] См., например: *Линский С. С.* Понятие лексической нормы и лексикографическая практика в английском языкознании XVI—XVIII вв. Днепропетровск, 1973, с. 13 и след.; *Каспранский Р. Р.* Указ. соч., с. 72—73; *Вербицкая Л. А.* Русская орфоэпия. Л., 1976, с. 9—10; *Лыков А. Г.* Окказионализм и языковая норма.— В кн.: Грамматика и норма. М., 1977, с. 78—79.

стоящей работы. Динамическое понимание нормы помогает решить вопрос о ее реальном воплощении.

Традиционные взгляды на норму как на идеал, недостижимый в речевой индивидуальной практике в целом, как нам кажется, отражают противоречие (антиномию) общего и частного (единичного, индивидуального). Действительно, взгляд на норму как на идеал вытекает субъективно (с позиций отправителя и получателя) из следующих причин и предпосылок: 1) затруднения, встречающиеся в своей и в чужой речи; 2) признание коллективного опыта (традиции) как недосягаемого по объему; 3) признание авторитета словарей и пособий как отражения (и закрепления) этого опыта, научной его интерпретации; 4) признание художественного опыта (совокупность литературного творчества прошлого и настоящего) как безграничного по своим масштабам и т. п.

Между тем норма языка — это воплощенная (и воплощаемая) реальность. Это социальный регулятор речевой деятельности, ориентированной на литературное («образцовое», «правильное» и т. п.) употребление. Подобно тому как языковая система выводится из наблюдаемого материала (текстов в широком смысле слова), норма языка выводится из соответствующих воплощений, реализаций. Например, для словаря и грамматики — это «образцовые» тексты, для орфоэпии — устная традиция, принятая за образец, и т. п. «Лингвисты глубоко правы в том,— отмечал Л. В. Щерба,— что, разыскивая норму данного языка, обращаются к произведениям хороших писателей, обладающих, очевидно, в максимальной степени... оценочным чувством („чутьем языка")...» [62]

Осознание нормы, связанное с развитым чувством языка (и его оценки), отборная (классическая) литература и монологическая форма книжной речи — таковы важнейшие элементы и требования, выдвинутые Щербой для определения источников литературной нормативности.

Л. П. Якубинский предлагал искать объективный критерий современного национального языка в печатном слове — языке газет, журналов, книг (с оговоркой, что

[62] *Щерба Л. В.* О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании.— Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1931, № 1, с. 113.

это должны быть лучшие газеты и лучшие авторы). Он прекрасно понимал, что для конца 20-х — нач. 30-х годов устная речь характеризовалась заметным колебанием нормы, которое отчасти сказывалось и в печатной практике. И тем не менее он не без основания полагал, что «недостатки, которые имеет печатный язык, относятся скорее к стилю, чем к норме» [63].

Интересные мысли по поводу реального воплощения нормы были высказаны Г. О. Винокуром. Он предлагал в качестве объекта нормализаторской практики и источника выявления нормы найти такую языковую систему, которая по своей функции не отличалась бы от практического языка и вместе с тем осознавалась бы именно как система. «Такая область есть. Это — нехудожественная литература в самом широком смысле слова, т. е. литература газетная, журнальная, научная, язык канцелярии, писем, наконец, язык рекламы» [64]. Иными словами, Винокур видел воплощенную норму в языке науки и делопроизводства, в языке прессы, т. е. в том, что мы теперь назвали бы языком массовой коммуникации.

Во всех приведенных высказываниях, сделанных в разное время и в общем-то по различным поводам, следует подчеркнуть глубокую убежденность авторов в реальном существовании и объективном воплощении норм литературного языка того или иного периода его развития. В связи со сказанным встают вопросы о возможностях прогнозирования в становлении и изменении норм литературного языка, прогрессивности или, напротив, консервативности конкретных рекомендаций, степени осознанности и объективного учета языковедами-нормализаторами живых развивающихся тенденций в системе языка и т. п. [65]

Прогнозирование в области языка и его норм в смысле точности и строгости носит особый характер, который, на наш взгляд, следовало бы назвать лингвистическим (или научно-лингвистическим).

[63] *Иванов А., Якубинский Л.* Очерки по языку. М., 1932, с. 152 и след.

[64] *Винокур Г. О.* Культура языка. Задачи современного языкознания.— Печать и революция, 1923, кн. 5, с. 107. Ср. с этим рассуждения Н. Ю. Шведовой о роли языка газеты в утверждении и смене литературных норм (см.: *Шведова Н. Ю. Указ. соч.*).

[65] См. подробнее: *Скворцов Л. И.* Указ. соч., с. 55 и след.

Будущее языка создается в его настоящем, в процессе социального функционирования речевых средств, в живом общении людей, под воздействием складывающихся и изменяющихся во времени оценок языковых фактов, с точки зрения их нормативности, «пригодности» и т. п.[66] Именно поэтому вопрос лингвистической предсказуемости тесно переплетается с общей проблемой эволюционного механизма живого языка, динамическим к нему подходом и осмыслением. «Жизнь языка не останавливается ни на минуту, и потому в каждом данном состоянии языка есть такие факты, которые с точки зрения более позднего состояния языка представляются его зародышем»,— отмечал Г. О. Винокур в начале 40-х годов[67].

Несколько ранее Л. В. Щерба убежденно говорил о том, что «на самом деле хорошее психологическое (мы бы сказали теперь: синхронно-нормативное, динамическое. — *Л. С.*) описание данного языка в данный момент времени само по себе дает понятие о ближайшем его прошлом и возможном будущем»[68].

Изменения норм происходят вместе с общими изменениями языка, но обладают специфическими свойствами. Специфика эта вытекает, в частности, из шкалы переходных ступеней между нормативным и ненормативным («допустимым», устарелым, возможным в тех или иных условиях) в пределах литературного языка, а также зависит от степени осознанности ее носителями литературной речи и от ряда других факторов.

В условиях литературного (нормативного) общения мы можем не замечать ошибок в своей и чужой речи, если эти ошибки социально обоснованы и их возможности, по словам Щербы, заложены в данной языковой системе. Ощущение нормы, как и сама норма, отмечал Щерба, может быть и слабее и сильнее в зависимости от разных условий: наличия сосуществующих вариантов, возможности их сравнения и оценки, практической важности нормы для носителей языка и т. п. В ряде случаев нормативными могут быть колебания, объективно сущест-

---

[66] Ср.: *Шварцкопф Б. С.* Проблема индивидуальных и общественно-групповых оценок речи.— В кн.: Актуальные проблемы культуры речи, с. 153 и след.

[67] *Винокур Г. О.* О задачах истории языка.— Учен. зап. МГПИ, 1941, т. 5, вып. 1.

[68] *Щерба Л. В.* Восточнолужицкое наречие, с. XIX (сноска).

вующие в языке. В этом случае нормой оказывается граница этих колебаний [69].

Литературные нормы различаются по степени «крепости» в разных ярусах языка и варьируются в разных условиях общения (ситуациях речи). Что касается различия по степени «крепости», то здесь определяющим оказывается отношение «система—норма». В области орфоэпии, например, система практически целиком определяет норму. Отсюда возникает понятие образца, идеала для сферы произношения. Очень часто такой идеал оказывается в прошлом (для русского языка — так называемое старомосковское произношение). Надо заметить, что разного рода «сдвиги» в области произносительных норм, наблюдаемые за последние 50 — 60 лет, как раз и объясняются чаще всего «выравниванием» под давлением системы (ср. произношение *верх, четверг, жара* и *шаги;* прилагательных на *-кий, -гий, -хий* и т. п., закрепляемых иногда в театральном произношении по традиции).

В области лексики система не находится в таком тождественном отношении к норме. Отсюда понятие не столько «образцовости», сколько правильности, точности, смысловой и стилистической уместности слова в высказывании, в контексте и т. п.[70] Содержательный план здесь отчетливо превалирует над планом выражения.

В области грамматики отношения системы и нормы строятся иначе. На первый план выступают критерии моделей и образцов и соответствия им сомнительных реализаций.

Немотивированность фразеологических сращений приводит к довольно жесткому условию воспроизводимости и т. п.

Что же касается варьирования нормы в различных условиях общения, то предлагаемый вместо стилевых (ситуативных, контекстных и т. п.) норм общий принцип

---

[69] *Щерба Л. В.* О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании.

[70] Ср. понятие о «текстовой норме»: *Пеньковский А. Б., Шварцкопф Б. С.* Взаимодействие текстовых и языковых норм при порождении текста.— В кн.: Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации, ч. 1. М., 1975, с. 50—51.

«коммуникативной целесообразности»[71] нуждается, на наш взгляд, в существенных уточнениях и оговорках.

Главные из них состоят в том, что при таком общем социопсихологическом подходе не учитывается разная степень коммуникативной «близости» общения. В общении незнакомых или малознакомых людей правильность (в смысле «образца») перекрывается этикой (неудобно поправить, перебить, поскольку смысл сказанного понятен). В то же время для тесного контактного общения характерна бóльшая строгость в отношении к языковым ошибкам или неточностям.

О природе и истоках пуризма и антинормализаторства

Научная языковая нормализация проходит в постоянной борьбе с двумя крайностями: пуризмом и антинормализаторством.

Пуризм — это неприятие всяких новшеств и изменений в языке или прямое их запрещение по различным мотивам: логическим, «научным», эстетическим, идеологическим и т. п. В основе пуристического отношения к языку лежит взгляд на норму как на нечто неизменное, невозможное с точки зрения освященной временем традиции. Ошибки пуристов XIX — нач. XX в. в оценке входящих в литературное употребление фактов можно показать на целом ряде разнородных, но достаточно ярких примеров.

Неологизмы первой трети XIX в. объявлялись «нерусскими» и на этой основе отвергались: «В русском языке нет глагола *вдохновил*»,— заявляла «Северная пчела», возражая против фразы «Русь не вдохновила его» (1883, № 129). Ср. также: «Старые писатели сказали бы: „в этом городе или стране, повсюду наблюдаются порядок и спокойствие“, а нынешние говорят: „все, что вы в этом городе видите, *носит на себе* (как будто какое платье) *отпечаток* порядка и спокойствия“. Выражение сие переведено с французского porter l'empreinte» (Отечественные записки, 1828, ч. 34, № 96, с. 77). Ср. также: «*На балу*... По одному этому выражению человек хорошего воспитания тот-

---

[71] См.: *Костомаров В. Г., Леонтьев А. А.* Указ. соч.; критические замечания см.: *Филин Ф. П.* Об изучении общественных функций языка.— Изв. АН СССР, СЛЯ, 1968, т. 27, вып. 4.

час узнает человека низкого круга» (Москвитянин, 1853, № 4, кн. 2, с. 101).

В 70-е годы протесты против новообразований и складывающихся новых норм подкреплялись обращениями к «духу» русского языка: «Нельзя говорить *панихида по усопшим*, ибо это безграмотно, а нужно: *по усопших*,— настаивал пурист 70-х годов прошлого века Н. М. Николич,— нельзя говорить *репетировать учеников, приготовлять уроки, перевести фразу, вопрошающе взглянула*, ибо это безграмотные нововведения, противные „духу" языка. Но эти нововведения закономерно вошли в язык и стали „грамотными"» (В. Гофман.— Звезда, 1934, № 1).

И. Покровский, ведший в 50-х годах прошлого века специальный «Листок ошибок» в журнале «Москвитянин», возражал против употребления слов *жизнь* и *миндаль* во мн. числе: «„Лучшим днем в его карьере был тот, когда он убедился, что его изобретение спасет много человеческих жизней..." Да ведь *жизнь* не имеет множественного числа; почему бы не сказать: *спасет жизнь многим*» (1853, № 23); «„Масло из *миндалей*"... Странное дело! Неужели г. фельетонисту неизвестно, что слово *миндаль* не имеет множ. числа?» (1852, № 24).

Н. Греч в свое время возражал против формы *сплетня* (в ед. числе): «„Все это должна быть сплетня"... Слово *сплетни* в единств. числе не употребляется» (Лит. пояснения, 1838).

И. Огиенко в начале XX в. был вполне убежден в том, что форму *сапогов* (род. п. мн. числа) «следует уже признать литературной формой», ссылаясь на известную пушкинскую строчку: «не ваксил царских сапогов» (Филолог. записки, 1912, вып. 3, с. 400). Он же считал допустимыми оба варианта формы род. п. мн. числа *чулок* и *чулков*, замечая, что «последняя форма правильнее» (там же, с. 407). Современная норма, как известно, не восприняла форму *сапогов* и остановила свой выбор на форме *чулок* (ср. *носков*), хотя в системном отношении для отвергнутых форм никаких препятствий не было. Социальная сущность нормы в подобного рода примерах проявляется со всей очевидностью.

Пуризм есть не только стремление очистить язык от «засоряющих» его новообразований и неологизмов, например от элементов лексических, орфоэпических и т. п., идущих в литературное употребление из территориальных и

социальных диалектов, просторечия, профессиональной речи и т. п. В широком смысле пуризм — это излишне строгое, непримиримое отношение к любым заимствованиям, новшествам, вообще ко всем субъективно понимаемым случаям искажения, огрубления и порчи языка.

В разные исторические эпохи объект пуристической оценки, да и сам характер пуризма, различен [72]. А потому отношение к нему должно быть конкретно-историческим, учитывающим языковую ситуацию, задачи культурного строительства, эпоху развития литературного языка и структуру сложившихся или складывающихся норм и др.

Положительные стороны языкового пуризма могут состоять в искренней заботе о развитии самобытной национальной культуры (в условиях опасных, разрушающих ее влияний других языков и культур), а также в принципиальном обращении к богатствам родного языка, попытках пробудить и активизировать его внутренние смысловые и словообразовательные ресурсы. Надо особо отметить, что пуризм как педагогический и методический прием используется в обучении «образцовой речи», в частности в школьном преподавании родного языка.

Отрицательных сторон в пуризме гораздо больше, чем положительных. Они состоят прежде всего в субъективно-вкусовом подходе, в ненаучности и антиисторичности, в непонимании (а то и в непризнании) объективных законов поступательного развития языка. Пуризм, далее, всегда или по преимуществу ретроспективен: в соответствии с принятым взглядом на язык в нем признается лишь то, что закрепилось в употреблении, и отрицаются новые факты и новые явления. Динамический подход к осмыслению фактов языка чужд пуризму и не принимается им. Пуризм проявляется, наконец, в прямом консерватизме, когда проповедуется и утверждается отказ от освоенных языком заимствований и предлагается их последовательная замена новообразованиями из исконных морфем (последние при этом понимаются часто ненаучно и неисторично).

[72] «Пуристические тенденции обычно ярче всего проявляются в период стабилизации литературного языка. В дальнейшем может наблюдаться известная „либерализация“ литературной нормы и проникновение через устно-разговорную речь просторечных и жаргонных элементов, расценивавшихся раньше, как нелитературные» (*Ярцева В. Н.* О территориальной основе социальных диалектов.— В кн.: Норма и социальная дифференциация языка. М., 1969, с. 44).

Истоки и виды пуризма различаются в разные исторические эпохи. Среди разновидностей пуризма выделяются прежде всего эстетически-вкусовой (или эмоциональный), логический (или ученый, начетнический), идеологический (или общественно-политический, официозно-консервативный) [73] и др. Пуризм проявляется обычно в периоды важных общественных событий (подъем демократического движения, революции, войны и т. п.) и связанных с ними значительных сдвигов в организации языка, когда он быстро и наглядно реформируется, вбирая в себя много заимствований, неологизмов и иных новообразований [74].

Для русской демократической литературы и критики XIX в. пуризм был воплощением формального и консервативного отношения к языку (позиции А. С. Шишкова, Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, М. П. Погодина и др.). Националистический пуризм был в основе лингвистических воззрений В. И. Даля, близких и славянофильству; борьба Даля с «чужесловами» шла вразрез с прогрессивным течением русской общественной мысли.

В истории русского литературного языка пуризм был иногда закономерным протестом против злоупотребления иностранными словами. Засорение русского языка (в пределах живой разговорной речи дворянства) галлицизмами сатирически изобразил Д. И. Фонвизин в комедии «Бригадир» (см. диалоги Советницы и сына бригадира). А. С. Грибоедов («Горе от ума») назвал такую речь смесью «французского с нижегородским». На принципе высмеивания макаронической речи тамбовской помещицы построена поэма И. П. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л'этранже».

Большое прогрессивное значение пуризм (как сознательное отношение к родной речи) имел для многих литературных славянских языков, особенно претерпевших перерывы в своем развитии. Так, в заключительном разделе

[73] Яркий пример последнего — декрет Павла I «об изъятии из употребления некоторых слов и замене их другими» (1797), по которому вместо *отечество* было «повелено употреблять» *государство* вместо *граждане — жители* или *обыватели;* слово *общество* «совсем не писать» и т. п. (см.: Рус. старина, 1871, I—VI).

[74] См.: *Винокур Г.* Культура языка. 2-е изд. М., 1929, с. 85, и след. Ср.: *Горнфельд А. Г.* Муки слова. 2-е изд. М.— Л., 1927, с. 145 и след.; см. также: *Виноградов С. И.* Дискуссии о языке первых послереволюционных лет.— Рус. речь, 1977, № 2, с. 37 и след.

«Тезисов Пражского лингвистического кружка» (1929) специально говорится о вреде преувеличенного пуризма: «Забота о чистоте языка находит свое отражение в культуре языка, как это и вытекает из предыдущих объяснений, но всякий преувеличенный пуризм вредит истинной культуре литературного языка независимо от того, какой это пуризм: с логическими, историческими или народническими тенденциями» [75].

Пуристическое отношение к языку в различной степени характерно для книг о языке писателей Б. Тимофеева, А. К. Югова, К. И. Чуковского [76] (несмотря на то, что у последнего есть специальные гневные рассуждения против современных пуристов). Принципиально разные подходы к проблемам заимствований в современном русском литературном языке, обозначенные в книгах Югова и Чуковского, послужили началом для полемических выступлений. Крайностью и категоричностью рассуждений, попыткой утвердить одну из точек зрения пронизана брошюра ярославского журналиста К. Яковлева «Как мы портим русский язык» [77].

Односторонность писательского (и журналистского) отношения к неологизмам и заимствованиям связана с субъективно-вкусовым подходом к фактам языка. Процессы заимствований нельзя представлять как простое и пассивное принятие чужих языковых элементов. Подробнее проблемы заимствования в плане культуры речи будут рассмотрены в следующей главе. Здесь же нам важно подчеркнуть, что в своих крайностях пуризм и антинормализаторство сходятся воедино, о чем свидетельствует и названная выше брошюра Яковлева.

В целом антинормализаторство — это проповедь «вседозволенности» в языке, обычно с позиции ложно понимаемой «народности» всего языка в целом [78]. В основе взглядов убежденных антинормализаторов лежит отрицание науч-

---

[75] См.: Пражский лингвистический кружок. Сб. статей, с. 40.

[76] См.: *Тимофеев Б.* Правильно ли мы говорим? Л., 1961; *Югов А.* Судьбы родного слова. М., 1962; *Чуковский К.* Живой как жизнь. М., 1962. Научный анализ этих книг см. в работе: *Будагов Р. А.* Человек и его язык. 2-е изд. М., 1976, с. 320 и след.

[77] *Яковлев К.* Как мы портим русский язык. Ярославль, 1974; *Он же.* Как мы портим русский язык. М., 1976. Ср. также серию статей писателя А. Морозова «Заметки о языке» (Нева, 1964).

[78] См.: *Югов А.* Думы о русском слове. М., 1972.

ной нормализации языка, поклонение стихийности в его развитии.

Вместе с тем и для антинормализаторов и для их противников обычным приемом оказывается отрывочное обращение к высказываниям В. И. Ленина о русском языке, в частности к его известной записке «Об очистке русского языка» (т. 40, с. 49) [79]. Именно поэтому необходимо в заключение этой главы специально остановиться на важнейших вопросах культуры речи и языковой политики в творческом наследии Ленина.

Вопросы языка и культуры речи в творческом наследии В. И. Ленина

Ленинские положения о языке и культуре речи, многочисленные высказывания Владимира Ильича по поводу языка и стиля различных статей и документов представляют собой богатейшее творческое наследие.

В предреволюционную эпоху, в известной статье «О национальной гордости великороссов», Ленин писал: «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы *ее* трудящиеся массы (т. е. 9/10 *ее* населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов» (т. 26, с. 107).

Гордость Ленина за великий русский язык непосредственно связана с его гордостью за русскую литературу. «...Язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч», — писал он в статье «Нужен ли обязательный государственный язык?» (т. 24, с. 294). Друзья Владимира Ильича, близкие ему люди неоднократно отмечали его любовь к русской художественной литературе. Н. Л. Мещеряков в своих воспоминаниях о Ленине пишет: «Беря с собой за границу экономические книги, он захватил все-таки Некрасова... Ленин любил поэзию, он очень любил Пушкина и читал его с громадным удовольствием» [80].

---

[79] Здесь и далее все работы В. И. Ленина цитируются по Полному собранию сочинений, за исключением особо оговоренных случаев.

[80] *Мещеряков Н. Л.* Из воспоминаний о Ленине.— В кн.: Воспоминания о В. И. Ленине, т. 2. М., 1969, с. 95.

О любимых писателях Ленина рассказывает М. М. Эссен: «Часто на прогулках или сидя за вечерним чаем Владимир Ильич любил поговорить о литературе, о его любимых писателях Щедрине, Некрасове, Чернышевском, особенно о последнем...» [81]

Наконец, интересное свидетельство содержится в воспоминаниях Надежды Константиновны Крупской: «У нас в России в 60-е годы в художественной литературе всячески высмеивался бюрократизм, особенно высмеивали его поэты „Искры“ (поэты-чернышевцы). Поэты „Искры“ (Курочкин, Жулев и др.) сильно влияли на наше поколение... В семье Ульяновых эта литература была очень в ходу» [82].

Известен юношеский интерес Владимира Ильича к лингвистике и к изучению языков. Об увлечении гимназиста Ульянова латынью пишет его сестра Анна Ильинична. Владимира Ильича восхищали выразительные свойства языка, красота стиля латинских ораторов и писателей [83]. Позднее Владимир Ильич не раз говорил об этом своем гимназическом увлечении. Вот что пишет, например, Н. К. Крупская: «„Одно время,— рассказывал другой раз Владимир Ильич, — я очень увлекался латынью“... Недавно только, читая „Леф“, где разбирался стиль, строение речи Владимира Ильича, указывалось на сходство конструкции фразы у Владимира Ильича с конструкцией фраз римских ораторов — на сходство ораторских приемов, я поняла, почему мог увлекаться Владимир Ильич, изучая латинских писателей» [84]. В статьях Б. Эйхенбаума, Л. Якубинского, Ю. Тынянова и других исследователей в журнале «Леф» действительно отмечались черты, объединяющие стиль Ленина — оратора и публициста с латинским классическим стилем.

И все же прежде всего Владимир Ильич любил родную русскую речь. С каким восхищением говорил он Г. М. Кржижановскому о стиле А. П. Чехова, «в котором с такой удивительной гармонией сочетались высокая жизненная правда, простота и точность художественного язы-

[81] *Эссен М. М.* Встречи с Лениным.— Там же, с. 116.
[82] *Крупская Н. К.* Воспоминания о Ленине.— Там же, т. 1. М., 1968, с. 178.
[83] См.: *Ульянова-Елизарова А. И.* Воспоминания об Ильиче.— Там же, с. 24.
[84] *Крупская Н. К.* Указ. соч., с. 242.

ка»[85]. По свидетельству В. Бонч-Бруевича, Владимир Ильич в своем кремлевском кабинете часто читал „Толковый словарь живого великорусского языка“ В. И. Даля и «высказывал свое восторженное изумление перед разнообразием эпитетов и другими образными выражениями русского языка»[86].

С какой гордостью за новый общественный строй, за Советскую власть, за родной язык говорил и писал Владимир Ильич о русских словах — политических терминах, ставших широко известными во всем мире и символизирующих победу российского пролетариата в социалистической революции! «Слово „большевик“ и слово „Совет“ повторяется теперь на всех языках мира» (речь на I Всероссийском съезде по внешкольному образованию — май 1919, т. 38, с. 370); «...слово „большевик“ приобрело право гражданства не только в политической жизни России, но и во всей заграничной прессе...» (т. 36, с. 43). Кажется почти невероятным, что в одно и то же нелегкое для страны время — в мае 1921 г. — В. И. Ленин выступал по коренному вопросу экономической жизни страны (речь шла о замене продразверстки продналогом) и четырежды (!) в течение месяца обращался с письмами и записками к руководителям тогдашнего Наркомпроса с предложениями и настоятельными требованиями как можно быстрее создать массовый словарь русского литературного языка «от Пушкина до Горького» — для «пользования (и учения) всех»[87].

В трудные годы разрухи Ленин находит время и возможность обратить внимание партии и государства на развитие культуры народных революционных масс. Он пишет известную записку «Об очистке русского языка», в которой, казалось бы, частные «размышления на досуге, т. е. при слушании речей на собрании», превращает в настоятельный призыв беречь русскую речь от коверканья, порчи, безграмотности:

«Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему

---

[85] *Кржижановский Г. М.* Ленин и Маркс.— Правда, 1933, 23 апр.
[86] *Бонч-Бруевич В.* Как работал Владимир Ильич.— Читатель и писатель, 1928, № 2.
[87] См.: *Левашов Е. А., Петушков В. П.* Ленин и словари. Л., 1975, с. 54.

говорить „дефекты", когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?

Конечно, когда человек, недавно научившийся читать... газеты, принимается усердно читать их, он невольно усваивает газетные обороты речи. Именно газетный язык у нас, однако, тоже начинает портиться. Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?

Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести из себя. Например, употребляют слово „будировать" в смысле возбуждать, тормошить, будить. Но французское слово „bouder" (будэ) значит сердиться, дуться. Поэтому будировать значит на самом деле „сердиться", „дуться". Перенимать французски-нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский язык.

Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?» (т. 40, с. 49). В этой небольшой, но очень емкой по-ленински записке содержится целая программа в области языкового строительства — борьба с ненужными иноязычными заимствованиями, требование точности языка массовых изданий (в первую очередь газет), ясности политической и культурной пропаганды, война с речевой расхлябанностью, языковым бескультурьем. Этот документ — образец острого, бескомпромиссного выступления агитатора-партийца против искажения и притупления языка — орудия культуры и классовой борьбы. Именно поэтому ленинское высказывание по, казалось бы, частному вопросу культуры превращается в глубокое политическое воззвание к борьбе за действенность партийной пропаганды, к беспощадной войне с ошибками, неточностями, увлечением непонятными для народа иностранными словами, «ибо это затрудняет наше влияние на массу...»

В этом широко известном ленинском документе с предельной ясностью и лаконичностью сформулированы основные принципы языковой политики и культуры речи с новых позиций — пролетарских, широко демократических.

Тот же остро политический подход к вопросам языка характеризует и другие многочисленные высказывания Ленина, сделанные в разное время и по разным поводам. Вопросы культуры речи в произведениях Ленина, как правило, прежде всего проблема не только языковая, но и политическая.

Ни о чем так горячо не мечтал Владимир Ильич, по собственному его признанию, как писать для рабочих. Что это значит? Прежде всего — писать на «простом и ясном русском языке» (Умирающее самодержавие и новые органы народной власти, т. 12, с. 124). «...для масс надо писать без таких новых терминов, кои требуют особого объяснения»,— отмечал он в статье «Еще раз о профсоюзах...» (т. 42, с. 276). Не один раз призывал он обходиться в декретах и резолюциях «без латинских слов» (Заключительное слово по докладу об очередных задачах Советской власти, 1918, т. 36, с. 269). И в то же время в необходимых случаях он смело прибегал к иноязычным словам, сопровождая их краткими, но предельно точными разъяснениями: «путчи (мелкие вспышки)» (Падение Порт-Артура, т. 9, с. 158); «аффилиирован, т. е. получил право представительства в Бюро» (К вопросу о решениях Бюро, т. 24, с. 189); «Нас, правдистов, бранят „узурпаторами“ (незаконными захватчиками)» (О политическом значении брани, т. 25, с. 241) и т. п.

Следует обратить особенное внимание на то обстоятельство, что Ленин избегал именно ненужных, функционально неоправданных иностранных слов, а не заимствованных слов вообще. Иноязычная лексика (термины науки, политики, общественно-политическая лексика и т. п.) широко и свободно входит в контекст ленинских произведений. В необходимых случаях Ленин не просто переводит иноязычное слово или оборот, а путем разъяснений, истолкований раскрывает их внутреннее содержание, например, в статье «Лучше меньше, да лучше»: «Наш новый Рабкрин, надеемся, оставит позади себя то качество, которое французы называют pruderie, которое мы можем назвать смешным жеманством или смешным важничаньем...» (т. 45, с. 397). Ленин активно осваивал иностранные слова в своих произведениях; избегал он лишь ненужных варваризмов и пустых терминов (за которыми нет понятий). Пример такого освоения дают «обратные» переводы — с русского на другие языки: «Съезду — или, употреб-

ляя английское выражение, не соответствующее по значению русскому, „конференции"...» (т. 20, с. 229).

Исследователи языка и стиля Ленина справедливо отмечают закономерность иноязычной стихии в ленинском словаре, которая вводила в русскую речь, в публицистику то, чего ей недоставало, диалектически и творчески осваивая научный и общественно-политический опыт западноевропейских народов[88]. В статье «Ленин как редактор» А. В. Луначарский вспоминает: «Он не любил, когда тривиально заменялся какой-нибудь иностранный, всем понятный термин русским термином. Читатель должен был знать, что такое публицистика, социализм — это можно употреблять, не переводя на русский язык. Но каждый раз, когда кто-нибудь употреблял иностранное слово там, где можно было сказать проще, Ленин подтрунивал и говорил: нечего показывать свою ученость, вы пишете не для академиков; подумайте, как вам будет досадно, если 10 хороших рабочих собрались почитать нашу газету и никто не понял ее» [89].

К языку газет, к языку массовой печати Владимир Ильич предъявлял особенно повышенные требования. Приобщение широчайших народных масс к политической, революционной деятельности в послеоктябрьскую эпоху ставило перед партийной прессой задачи действенности и доступности, и эти задачи решались прежде всего ясностью и доступностью изложения. О непримиримом отношении Ленина к недостаткам языка советских газет рассказывает В. Бонч-Бруевич:

«Он терпеть не мог, замечу я кстати, усвоенный у нас газетный язык, который часто был настолько беден, труден, скучен и непонятен, что Владимир Ильич не однажды восклицал при чтении газет: „На каком языке это написано? Тарабарщина какая-то?! Волапюк, а не язык Толстого и Тургенева".

Особенно он также возмущался произвольными сокращениями всевозможных слов, которые нередко были совершенно непонятны для рабоче-крестьянской массы при чтении газетных статей.

— Вам придется при каждом номере давать словарь,— обращался он к тем или иным редакторам газет.— Газеты

---

[88] См.: *Дейтлин А. Г.* Стиль Ленина-публициста. М., 1969.

[89] Цит. по кн.: Ленин — журналист и редактор. М., 1960, с. 334—335.

читает масса, а не одиночки, которые знают весь тот язык, который создала наша бюрократия, и нельзя допускать, чтобы масса, читая статью, бросала ее как совершенно непонятную»[90].

Широко известно отрицательное отношение Ленина к сокращениям и аббревиатурам, захлестнувшим устную и письменную речь первых лет революции. И опять-таки важно подчеркнуть, что протест Владимира Ильича был направлен обычно против излишеств в употреблении сокращений, против непривычных, непонятных, да и ненужных зачастую сокращенных наименований. С иронией и сарказмом говорил Ленин о таких словах, как «южбум», «совнархоз» («С иностранцами же, говорят, бывают случаи, когда они ищут в справочнике, нет ли такой станции».— Заключительное слово по докладу о продовольственном налоге на X Всероссийской конференции РКП(б) 27 мая 1921 г.), «гостресты» («если выражаться этим прекрасным русским языком, который так хвалил Тургенев»), «комчванство» («выражаясь великим русским языком») (Политический отчет Центрального Комитета РКП(б) 27 марта, т. 45, с. 82).

Один из очевидцев рассказывал о беседе Ленина с группой студентов-вхутемасовцев в феврале 1921 г.: «Ленину попалась книжка группы „Уновис". Ему объяснили, что „Уновис" — это утвердители нового искусства. Он смеется: „Ну, подумайте, товарищи, на что же это похоже — У-но-вис? Кто это поймет?" — „Владимир Ильич, а Совнарком — разве это понятно? Сов-нар-ком?" — „Вы правы, товарищи, Сов-нар-ком — непонятно. И не надо вводить в литературу сокращенных названий: они понадобились нам под влиянием чрезвычайных обстоятельств. Только поэтому мы их должны терпеть"»[91].

Современные исследователи языка революционных лет справедливо указывают на то, что «отрицательные замечания В. И. Ленина об отдельных аббревиатурах, носившие обычно попутный характер, обусловлены были отнюдь не одними только эстетическими или лингвистическими соображениями, а всякий раз имели под собой политическое обоснование» (разрядка наша.—

---

[90] *Бонч-Бруевич В.* Указ. соч.
[91] *Горловский М.* Дорогой гость.— Огонек, 1924, № 10.

Л. С.)[92]. Резкая критика Владимиром Ильичем «непочтительного» слова «шкраб» как раз и была связана с необходимостью отграничить работника старой школы от народного учителя советской школы, поднять авторитет советского преподавателя.

Политическое обоснование имеют многие оценки и комментарии Ленина, связанные с языком и стилем. Особенно это относится к критике идейных противников — оппонентов в беспощадной и бескомпромиссной полемике: «...(так и стоит в письме: без решения программ. Швейцарские советчики русского пролетариата не всегда умеют говорить по-русски)...» (Плеханов и Васильев, т. 14, с. 238). В переводе на русский язык, в переводе на человеческий язык это значит...— такими словами сопровождает Владимир Ильич туманные, нарочито запутанные, псевдонаучные формулировки политических и научных статей разных авторов: «Элементы распада лимитируются.... Уф! почему не попроще: „их ограничивает"? О, академизм! О, ложноклассицизм! О, Третьяковский»,— делает он замечание на полях книги Бухарина (Ленинский сборник, XI. М.—Л., 1929, с. 385); «Возьмите выражение: „окончательная ликвидация всего сословно-монархического режима". На русском языке окончательная ликвидация монархического строя называется учреждением демократической республики. Но нашему доброму Мартынову и его поклонникам такое выражение кажется слишком простым и ясным. Они непременно хотят „углубить" и сказать „поумнее"» (Две тактики социал-демократии в демократической революции, т. 11, с. 29).

Ненависть Ленина к канцелярскому стилю дореволюционной России, языку «циркуляров» — это ненависть революционера-политика к пустоте, безжизненности и мертвящей бездейственности казенно-официальной фразеологии[93]. В статье «Борьба с голодающими» Владимир Ильич саркастически характеризует циркуляр министра внутренних дел Д. С. Сипягина: «... на девять десятых — циркуляр наполнен обычным казенным пустословием... великолепный канцелярский стиль с периодами в 36 строк и с

---

[92] Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка. М., 1968, с. 85—86.

[93] См.: *Воронов Ю.* Стиль деловой речи В. И. Ленина. Социолингвистический очерк. Саратов, 1976.

„речениями", от которых больно становится за родную русскую речь...» (т. 5, с. 277—278).

С гневом писал Ленин о новоискровцах, которые пытались обойти задачу борьбы с контрреволюцией, «потопить ее в туманной (и неправильно формулированной...) ссылке на „процесс взаимной борьбы". Это не язык политических деятелей, это — язык каких-то архивных заседателей!» (Две тактики социал-демократии в демократической революции, т. 11, с. 28).

А вот как он высмеивает напыщенно-безграмотную речь Ю. П. Гужона, председателя Московского общества заводчиков и фабрикантов:

«„Ныне укрепление престижа этого могущества должно составить главную задачу новых членов общества",— говорил г. Гужон.

Речь, как видите, не очень грамотная, похожая на речь какого-нибудь военного писаря, но зато полная амбиции» (Фабриканты о рабочих стачках, т. 23, с. 195).

Интересны стилистические замечания и исправления Ленина, сделанные на полях статей, проектов резолюций, декретов и т. п., например: «... „пара лет" не по-русски... „клеймят безумием" — не по-русски» (Замечания на статью неизвестного автора.— Ленинский сборник, XXV. М., 1934, с. 301).

Против текста Комиссионного проекта: «... русские социал-демократы... преследуют ту же конечную цель, как социал-демократы всех других стран» — Ленин замечает: «Это „как" не по-русски; неловко стилистически. „Они преследуют ту же самую конечную цель, какую поставили себе и социал-демократы всех других стран" или т. п.» (Замечания на Комиссионный проект программы, т. 6, с. 241); рядом с текстом проекта: «В России рядом с капитализмом, быстро распространяющим область своего господства и становящимся все более и более преобладающим способом производства, на каждом шагу встречаются еще остатки нашего старого, докапиталистического общественного порядка...» — Ленин пишет: «Кланяюсь и благодарю за малюсенький шажок ко мне. Но „становящимся, преобладающим"... щи... щи — фи, фи!» (там же, с 250); «„В результате указанных в настоящем постановлении мероприятий и целесообразной концентрации преподавания, в высших технических учебных заведениях устанавливается трехлетний курс..." — Это не по-русски» (Из поме-

ток и дополнений к проекту постановления Совнаркома о высших технических учебных заведениях. — Ленинский сборник, XXXV. М., 1945, с. 128); против фразы из проекта положения о Малом СНК: «Все решительные постановления Малого Совнаркома...» — Ленин пишет: «нельзя по-русски сказать» (Поправки и замечания к проекту положения о Малом СНК, т. 44, с. 506).

Эти и подобные замечания и исправления характеризуют стиль Ленина-редактора, беспощадного критика туманных или безграмотных, стилистически неясных и потому неудачных формулировок. Однако эти замечания и исправления не могут быть поняты до конца, если упускать из виду общий взгляд Ленина — политика и революционера на язык как «главное орудие человеческих торговых сношений» (Ленинский сборник, XXX. [Б. м.], 1937, с. 62). Для Ленина «язык есть важнейшее средство человеческого общения» (О праве наций на самоопределение, т. 25, с. 258), орудие политической борьбы пролетариата. Именно поэтому особенно строг и беспощаден был Владимир Ильич по отношению к языку и стилю документов, обращенных непосредственно к народу, к трудящимся массам. Никакой казенщине, никакому формализму в них не должно быть места. «А не смешно ли...— спрашивал Ленин в статье „Смелый натиск и робкая защита“,— писать „обращения к народу“ тем деревянным языком заскорузлого российского стряпчего, которым пишут кадеты и (к стыду их будь сказано) трудовики?» (т. 13, с. 296).

Писать для народа, быть понятным ему и быть им понятым — вот о чем мечтал Владимир Ильич. И только в свете этой политической задачи могут быть верно истолкованы ленинские высказывания о языке. В ряду этих высказываний на одном из первых мест стоит проблема популярности и популярничанья.

Проблема популярности, в ленинском ее понимании,— это проблема языковой ясности, политической точности, доходчивости для широчайших народных масс. Но это та популярность, которая не опускается до вульгарности — упрощения, схематизма, подлаживания под неподготовленного читателя и слушателя. Об этом говорят, это особенно подчеркивают люди, близко знавшие Владимира Ильича. В. Бонч-Бруевич рассказывает: «...Когда Владимиру Ильичу приходилось работать над какими-нибудь

сочинениями, декретами или заявлениями, которые должны были обращаться к широким массам, то он всегда помнил сам и требовал такой же памяти от других, что все это идет именно в массы, а потому должно быть особенно тщательно просмотрено, особенно популярно, но отнюдь не вульгарно написано. Если он видел, что изложение страдает отсутствием популярности, то всегда спрашивал: „Неужели по-русски вы не можете изложить свои мысли так, чтобы они были действительно доступны всем? Русский язык очень богатый. Если вы этого не делаете, то виноваты вы сами, а не тот язык, на котором вы пишете“» [94].

В интересных воспоминаниях, относящихся к началу революционной партийной деятельности Ленина, отмечается та же характерная особенность Ленина-пропагандиста: «Он был прямой человек, чуждый всякой аффектации, рисовки, позы. Он говорил с рабочими и писал для них обыкновенным своим языком, без всякой подделки под простоту народной речи, без этой вульгарной манеры приспособляться к „низшим“, без дешевой популярности в изложении своих мыслей якобы для большей понятности их, как это замечалось у некоторых товарищей» [95].

О постоянном стремлении Ленина-журналиста к популярности без тени вульгаризации, о ленинском стиле — «убеждающем, полемически широком, популярном, но никогда не вульгарном»,— говорил А. В. Луначарский [96]. По замечанию Луначарского, в стиле Ленина нашел свою высшую форму проявления публицистический стиль пролетариата, ведущего классовую борьбу, и популярность изложения — черта, присущая классу миллионов, связанная с величайшими идеями научного социализма.

Социальная революция приводит в движение широчайшие круги населения и в первую очередь пролетариата и крестьянства. Именно поэтому неоднократно напоминал Владимир Ильич о необходимости писать «ясно и понятно для новых слоев читающей публики» (Письмо М. Горькому, 11.I.1916, т. 49, с. 170), об умении «разъяснить самым простым, наглядным и действительно убедительным

---

[94] *Бонч-Бруевич В.* Указ. соч.

[95] *Сильвин М. А.* В дни «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».— В кн.: Воспоминания о В. И. Ленине, т. 2, с. 47—48.

[96] *Луначарский А. В.* Ленин как редактор.— В кн.: Ленин —журналист и редактор, с. 335.

образом основные истины социализма» (О реорганизации партии, т. 12, с. 88).

О полной противоположности популярности и популярничанья (вульгаризации) Ленин говорил особенно подробно в связи с изданием журнальчика «Свобода», претендовавшего на популярное писание «для рабочих». «Но это не популярность,— отмечает Владимир Ильич,— а дурного тона популярничанье. Словечка нет простого, все с ужимкой... Без выкрутас, без „народных" сравнений и „народных" словечек — вроде „ихний" — автор не скажет ни одной фразы. И этим уродливым языком разжевываются без новых данных, без новых примеров, без новой обработки избитые социалистические мысли, умышленно вульгаризируемые. Популяризация, сказали бы мы автору, очень далека от вульгаризации, от популярничанья». И далее он специально останавливается на двух принципах агитационной и пропагандистской работы — подлинной, научной популяризации и упрощенно-вульгаризаторской деятельности, говорит о публицистах популярных и вульгарных: «Популярный писатель подводит читателя к глубокой мысли, к глубокому учению, исходя из самых простых и общеизвестных данных, указывая при помощи несложных рассуждений или удачно выбранных примеров главные *выводы* из этих данных, наталкивая думающего читателя на дальнейшие и дальнейшие вопросы. Популярный писатель не предполагает не думающего, не желающего или не умеющего думать читателя,— напротив, он предполагает в неразвитом читателе серьезное намерение работать головой и *помогает* ему делать эту серьезную и трудную работу, *ведет* его, помогая ему делать первые шаги и *уча* идти дальше самостоятельно. Вульгарный писатель предполагает читателя не думающего и думать не способного, он не наталкивает его на первые начала серьезной науки, а в уродливо-упрощенном, посоленном шуточками и прибауточками виде, преподносит ему „готовыми" *все* выводы известного учения, так что читателю даже и жевать не приходится, а только проглотить эту кашицу» (О журнале «Свобода», т. 5, 358—359).

И уже в послеоктябрьскую эпоху Владимир Ильич снова обращается к этому вопросу в связи с требованиями, предъявляемыми к большевистской публицистике, и говорит о том, что она «должна быть популярной, в смысле доступности миллионам, но отнюдь не впадать в попу-

лярничанье. Не опускаться до неразвитого читателя, а неуклонно — с очень осторожной постепенностью — поднимать его развитие» (Тезисы о производственной пропаганде, т. 42, с. 15).

Очень серьезные и многообразные требования предъявлял Владимир Ильич к языку и стилю массовой пропаганды и агитации. Среди них — краткость, простота и ясность, полемическая страстность, сочетающаяся с точностью научной и политической терминологии. Все эти требования подчинены той же главной цели — действенности партийной пропаганды, ее активному воздействию на массы.

В статье «Социал-демократия и избирательные соглашения» Ленин писал о необходимости для социал-демократов «уметь говорить просто и ясно, доступным массе языком, отбросив решительно прочь тяжелую артиллерию мудреных терминов, иностранных слов, заученных, готовых, но непонятных еще массе, незнакомых ей лозунгов, определений, заключений. Надо уметь без фраз, без восклицаний, с фактами и цифрами в руках *растолковать* вопросы социализма и вопросы теперешней русской революции» (т. 14, с. 92). Требование простоты и ясности Владимир Ильич относил не только к собственно пропагандистской или агитационной работе. Он призывал социал-демократов «не забывать никогда о том, что члены боевой социалистической партии должны и в ученых своих трудах не упускать из виду читателя-рабочего, должны стараться писать *просто*, без тех ненужных ухищрений слога, без тех внешних признаков „учености", которые так пленяют декадентов и титулованных представителей официальной науки» (Аграрный вопрос и «критики Маркса», т. 5, с. 148).

Коммунистическую пропаганду, говорил Ленин, необходимо вести «на понятном для народа языке» (Доклад на II Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока 22 ноября 1919 г., т. 39, с. 330); политику партии надо разъяснять «конкретно, просто, ясно, для массы, для десятков миллионов» (т. 40, с. 136).

Но простота не есть упрощение. В том-то и была сила самого Ленина — публициста и оратора, что он мог и умел говорить просто о сложных вещах. «Первый раз слышал я,— вспоминает М. Горький об одном из ленинских выступлений,— что о сложнейших вопросах политики

можно говорить так просто. Этот не пытался (в отличие от Плеханова, Дана, Мартова и др.— *Л. С.*) сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл»[97].

Эту особенность Владимира Ильича отмечают и другие современники. К. Цеткин рассказывает о том, как она подошла к Владимиру Ильичу после его речи на III Всемирном конгрессе Коминтерна, чтобы выразить ему свой восторг: « — Послушайте, товарищ Ленин, у нас председатель какого-нибудь собрания в каком-нибудь уездном городишке боялся бы говорить так просто, так непритязательно, как вы. Он боялся бы казаться „недостаточно образованным". Я могу сравнить ваше искусство говорить только с одним — с великим искусством Толстого. У вас та же крупная, цельная, законченная линия, то же непреклонное чувство правды. В этом — красота. Может быть, это специфическая отличительная черта славянской натуры? — Этого я не знаю,— ответил Ленин.— Я знаю только, что, когда я выступал „в качестве оратора", я все время думал о рабочих и крестьянах как о своих слушателях. Я хотел, чтобы они меня поняли. Где бы ни говорил коммунист, он должен думать о массах, он должен говорить для них...»[98]

«Думать о массах, говорить для них...» — в этих словах ключ к разгадке простоты и доступности ленинского стиля. Кроме того, говоря для масс, необходимо учитывать аудиторию — ее состав, политический уровень и настроение. «...и пропагандировать, и организовать, и агитировать наиболее доступно, наиболее понятно, наиболее ясно и живо как для городской, фабричной „улицы", так и для деревни»,— писал Ленин (Детская болезнь «левизны» в коммунизме, т. 41, с. 95, сноска).

Именно в конкретности и актуальности — залог успеха, действенности революционной пропаганды и агитации: «...нельзя говорить одинаково на заводском митинге и в казачьей деревне, на студенческом собрании и в крестьянской избе, с трибуны III Думы и со страниц зарубежного органа. Искусство всякого пропагандиста и всякого агитатора в том и состоит, чтобы наилучшим образом повлиять на данную аудиторию, делая для нее известную

[97] *Горький М.* В. И. Ленин.— В кн.: Воспоминания о В. И. Ленине, т. 2, с. 244.
[98] *Цеткин К.* О Ленине. Воспоминания и встречи. М., 1925.

истину возможно более убедительной, возможно легче усвояемой, возможно нагляднее и тверже запечатлеваемой» (О лозунгах и о постановке думской и внедумской с.-д. работы, т. 21, с. 21).

Задача политической пропаганды, задача классовой борьбы — вскрывать точный политический смысл общественных явлений и научных понятий. В этом именно следует искать ключ ленинских замечаний по поводу языковой и смысловой невразумительности различных авторов. «Верные истины изложены в дьявольски-вычурном abstrus (т. е. темном.— *Л. С.*) виде. Отчего Энгельс не писал таким тарабарским языком?» — замечает Ленин на полях статьи А. Деборина «Диалектический материализм» (т. 29, с. 530).

Особенное значение имеют высказывания Ленина о точности научной и политической терминологии. В произведениях Владимира Ильича разбросаны многочисленные характеристики, сделанные в разное время и по разным поводам: «глупый термин!» (замечания на указанной статье А. Деборина (т. 29, с. 533); неопределенный беспартийный термин «прогрессисты» (Кадеты о «двух лагерях» и о «разумном компромиссе», т. 20, с. 135); «Меньшевики привыкли говорить о партиях вообще, боясь точно назвать и ясно разграничить их, привыкли накидывать флер общего наименования: „оппозиционно-демократические партии“ и на кадетов и на левых» (Как не следует писать резолюций, т. 15, с. 110). Упрекая «Искру» в том, что она избегает говорить о временном революционном правительстве, хотя фактически и принимает этот лозунг, Ленин в статье «Революция учит» писал: «Отсутствие же ясного термина способно лишь посеять колебания, нерешительность, путаницу в умы борцов. Боязнь *слова*: „революционное правительство“, „революционная власть“ есть чисто анархическая и недостойная марксиста боязнь» (т. 11, с. 142—143).

С гневом обрушивается Владимир Ильич на пустые, схоластические, претендующие на новизну, но лишь запутывающие вопрос, затемняющие суть дела определения и термины: «Словечко „элемент“ (у махистов.— *Л. С.*), которое многие наивные люди принимают (как увидим) за какую-то новинку и какое-то открытие, на самом деле только запутывает вопрос ничего не говорящим термином, создает лживую видимость какого-то разрешения или шага

вперед» (Материализм и эмпириокритицизм, т. 18, с. 40); «„Элементы“ Маха, координация и интроекция Авенариуса... только затемняют дело, заметают следы посредством учено-философской тарабарщины.

Такой же тарабарщиной... является особая терминология Авенариуса, создавшего бесконечное обилие разных „ноталов“, „секуралов“, „фиденциалов“ и пр. и пр. Наши русские махисты стыдливо обходят по большей части эту профессорскую галиматью, лишь изредка стреляя в читателя (для оглушения) каким-нибудь „экзистенциалом“ и т. п.» (там же, с. 91).

В специальной главе книги «Что делать?», где критикуются терминологические «изыскания» Мартынова (глава называется «Повесть о том, как Мартынов углубил Плеханова»), Ленин пишет с саркастической иронией: «Поздравляем русскую — да и международную — социал-демократию с новой, мартыновской, терминологией, более строгой и более глубокой» (т. 6, с. 66).

Беспощадно высмеивает Ленин стиль новоявленных идеалистов, прикрывающихся марксистской фразеологией, в сущности набором слов, при этом неясность, запутанность мысли порождает запутанность языка. «...Какая-то тарабарщина, какой-то новый волапюк...»,— замечает Владимир Ильич по поводу языка германских «левых» (Детская болезнь «левизны» в коммунизме, т. 41, с. 24). Приводя фразу Михайловского «В наследство передаются продукты экономического производства», он иронически восклицает: «„Продукты экономического производства“!! Как это грамотно! как звучно! и какой изящный язык!» (Что такое «друзья народа...», т. 1, с. 151).

Ленин учил видеть подлинное политическое содержание, стоящее за вычурной терминологией: «Пусть только читатель не дает себя обмануть вычурной терминологией А. Потресова, которой он прикрывает свой переход на точку зрения буржуазии» (Под чужим флагом, т. 26, с. 141).

Ленин говорил о непригодности «заученных ярлычков», подбора слов, взятых вне связи с исторической обстановкой (Партизанская война, т. 14, с. 6), выступал против подмены научной критики и научного разбора словами-ярлыками и словами-жупелами. Полемизируя с кадетами по крестьянскому вопросу, он писал в статье «Революционный авантюризм»: «Какое это удобное словечко: „догмат“! Достаточно извратить слегка враждебную

теорию, прикрыть это извращение жупелом „догмата“,— и готово дело!» (т. 6, с. 388).

Образцом точности и воинствующей партийности научно-философской и политической терминологии для Владимира Ильича был язык основоположников научного коммунизма. «Гениальность Маркса и Энгельса и проявилась, между прочим, в том, что они презирали гелертерскую игру в новые словечки, мудреные термины, хитрые „измы“, а просто и прямо говорили: есть материалистическая и идеалистическая линия в философии, а между ними разные оттенки агностицизма»,— писал он в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (т. 18, с. 150).

Видеть за словом содержание, за определением — суть явления — этому учил Ленин, когда говорил о необходимости различать игру в слова и научное уточнение понятий, крючкотворство и стремление к точности, обнажению сути называемых и определяемых явлений. С какой едкой иронией пишет он, например, в статье «Борьба с разрухой посредством умножения комиссий» о пышной резолюции экономического отдела «Известий» насчет борьбы с разрухой:

«Ну и борьба! Мысли великолепные, планы превосходные удушаются сетью бюрократически мертвых учреждений. „Экономический отдел преобразуется“... слушайте, слушайте! — в „отдел организации народного хозяйства“...

Превосходно! Мы на верном пути! Страна, успокойся! Отдел *пере-име-но-ван.*

А можно ли вообще „организовать народное хозяйство“, не имея в руках государственной власти? об этом в Исполнительном комитете забыли подумать» (т. 32, с. 117).

А вот как последовательно и научно обосновывает Владимир Ильич настоятельную необходимость в изменении названия партии — переименование РСДРП в РКП(б): «Что название „социал-демократическая партия“ научно неправильно, это уже также было разъяснено в нашей прессе... Мы пришли к тому типу демократии, который в Западной Европе нигде не существовал». Цель социалистических преобразований — создание коммунистического общества, осуществляющего принцип: от каждого по способностям, каждому по потребностям. «Вот почему название коммунистической партии является единственно научно правильным». С другой стороны, старые официальные

социалистические партии во всех передовых странах Европы фактически порвали уже с социализмом и с революцией. «И наша партия, симпатии к которой в массах трудящихся во всех странах в настоящее время, безусловно, чрезвычайно велики,— наша партия обязана выступить с возможно более решительным, резким, ясным, недвусмысленным заявлением о том, что она свою связь с этим старым официальным социализмом рвет, и для этого перемена названия партии будет средством, наиболее способным достичь цели» (Доклад о пересмотре программы и изменении названия партии 8 марта, т. 36, с. 43—45).

Поучительный пример ленинской оценки языка политической резолюции находим в статье «Цель борьбы пролетариата в нашей революции». В ней Ленин дает резкую отповедь Мартову, пытавшемуся сбратить в «принципиальный спор» дискуссию по поводу стилистической (и смысловой) точности одной из формулировок. Ленин находит резкое и точное название такого рода спору о словах — крючкотворство — и настаивает на исправлении неудачного и по существу и по форме определения: «Но большевики спорили же против „опирающийся на“ — продолжает свою принципиальную дискуссию тов. Мартов. Да, спорили, но не потому, чтобы здесь отвергалась диктатура пролетариата и крестьянства, а потому, что по-русски эта „формула“ не очень удачна. Опирается обыкновенно более слабый на более сильного. Буквальное повторение польской формулы „пролетариат *при помощи* крестьянства“ для большевиков вполне приемлемо, хотя еще лучше было бы, может быть, сказать: „пролетариат, ведущий за собой“. Можно спорить по поводу всех этих формул, но делать из *такого* спора „принципиальную дискуссию“ есть просто курьез. Отрицать, как пробует тов. Мартов, что „опирающийся на“ входит в понятие *совместного* действия — значит давать образец крючкотворства» (т. 17, с. 379).

В подобного рода высказываниях и суждениях особенно наглядно подтверждается мысль о том, что для Ленина язык есть прежде всего явление политическое, а не чисто филологическое. Он глубоко понимал и высоко ценил исключительную идейно-политическую силу языка, служащего для острой классовой борьбы пролетариата и имеющего способность в то же время в руках его врагов быть средством маскировки чуждого мировоззрения, скрывающегося за умышленной неясностью, напыщенным пустословием

или псевдореволюционной фразой. В борьбе с пустословием и фразерством Владимир Ильич не жалел своих сил. «Рыцари революционного краснобайства» и либерального российского словоблудия, «господа герои фразы» были постоянной мишенью его беспощадного и меткого критического огня.

Язык, будучи явлением общественным, служит для удовлетворения нужд общения различных классов и социальных групп. Но это не значит, что классы, особенно борющиеся, противопоставленные друг другу в политической борьбе, не могут использовать такое важное идеологическое оружие, как язык, в своих целях. Владимир Ильич учил пролетариат видеть за словами и определениями подлинные классовые интересы, действительные мотивы поступков и действий представителей различных социальных слоев. «Чтобы стать социал-демократом,— писал он в книге „Что делать?“,— рабочий должен ясно представлять себе экономическую природу и социально-политический облик помещика и попа, сановника и крестьянина, студента и босяка, знать их сильные и слабые стороны, уметь разбираться в тех ходячих фразах и всевозможных софизмах, которыми *прикрывает* каждый класс и каждый слой свои эгоистические поползновения и свое настоящее „нутро“, уметь разбираться в том, какие учреждения и законы отражают и как именно отражают те или другие интересы» (т. 6, с. 70).

Блестящие образцы такого умения вскрывать подлинную политическую сущность, спрятанную за мишурой слов и фраз, мы находим в произведениях самого Ленина: «Г-н В. Левицкий мастер на блестящие формулировки, сразу резко и ясно вскрывающие идейные основы ликвидаторства. Такова его знаменитая формула: „*не* гегемония, *а* классовая партия“, означающая в переводе на русский язык: не марксизм, а брентанизм (социал-либерализм)» (О старых, но вечно новых истинах, т. 20, с. 283—284).

Разоблачая практику «деловых» отношений в цивилизованных капиталистических нациях, Ленин в заметке «Французско-русские обычаи „подмазывать“!» писал: «Это называется в немецком переводе французского письма Vermittlungsgebühr, „вознаграждение за посредничество“. На деле же, разумеется, этим выражением прикрывается самое наглое мошенничество и казнокрадство, сообща по

договору производимое французским капиталистом и русским министерским чиновником» (т. 10, с. 32—33).

В статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» Владимир Ильич, перечисляя важнейшие стороны творчества гениального русского художника, особо отметил «самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок» (т. 17, с. 209).

В такой же мере искусство срывания всех и всяческих масок характеризует деятельность самого Ленина — как ученого, как политика, как публициста.

В статье «О фракции „впередовцев“» Владимир Ильич разоблачает философский псевдоним платформы «впередовцев» и говорит о подлинной ее сущности: «...из всех групп и фракций нашей партии впервые выдвигает она философию и притом под прикрытием псевдонима. „Пролетарская культура“, „пролетарская философия“ — вот что стоит в платформе. Скрывается под этим псевдонимом *махизм*, т. е. защита философского идеализма под разными соусами (эмпириокритицизм, эмпириомонизм и т. д.)» (т. 19, с. 312). О необходимости разоблачать фальшь «щедрой фразеологии», показных названий, «марксистских» словечек и т. п. Ленин говорит во многих своих работах: «Свою защиту социал-шовинизма Аксельрод прикрывает необыкновенно щедрой фразеологией. Его брошюра годится в образец — для иллюстрации того, *как* прикрывают свои воззрения, *как* пользуются языком и печатным словом для сокрытия своих мыслей» (Истинные интернационалисты: Каутский, Аксельрод, Мартов, т. 27, с. 57).

С глубоким пониманием великой силы слова и четким противопоставлением пустой фразы и прямого дела — «...не пролетарское дело, а интеллигентская фраза» (Интеллигентские воители против господства интеллигенции, т. 15, с. 174) — связана борьба Ленина за точность смысла, за верность политической окраски слов, превратившихся в общепринятые понятия и термины. Выступая против ненужных, пустых, беспочвенных терминов и слов-ярлычков, Владимир Ильич отстаивал необходимость новых терминов, отражающих достижения науки или ставших символом конкретных политических явлений. Вот как писал он о «формуле Маркса» *диктатура пролетариата* в статье «Очередные задачи Советской власти»: «Этот исторический опыт всех революций, этот всемирно-исторический — экономический и политический — урок и подытожил Маркс,

дав краткую, резкую, точную, яркую формулу: диктатура пролетариата» (т. 36, с. 196).

А вот как предупреждал Ленин против серьезного использования слова «нэпман» в качестве нового политического термина, подробно разъясняя его происхождение и внутреннюю экономическую бессодержательность:

«Слово „нэпман", которое Вы употребляете, ведет к некоторому недоразумению. Это слово образовано из сокращенного „нэп", что означает „новая экономическая политика", и прибавки „ман", что означает „человек, или представитель этой новой экономической политики". На газетном языке это слово возникло сначала, как шутливое обозначение мелкого торгаша или лица, пользующегося свободой торговли для всякого рода злоупотреблений...

„Нэпман", если уже употреблять это выражение, гораздо более относящееся к шутливому газетному языку, чем к области серьезных терминов политической экономии, обнаруживает гораздо больше шуму, чем это соответствует его экономической силе» (Второй вариант (неоконченный) интервью корреспонденту «Манчестер Гардиан», т. 45, с. 265—266).

Ленинские уроки борьбы с фразой, срывания всех и всяческих масок, за которыми скрываются подлинная политическая сущность и подлинные интересы классов и групп, помогают нам сегодня в борьбе с пресловутыми лозунгами о «правах человека», с лживой терминологией современных буржуазных идеологов, прикрывающих новыми словами о «народном капитализме» и «государстве всеобщего благоденствия» старую суть империализма со всеми его пороками и противоречиями.

Ленинский завет о борьбе за точность языка как орудия культуры и орудия политической борьбы был подхвачен великим пролетарским писателем М. Горьким, который в статье «О языке», обращаясь к молодым литераторам, писал: «Надобно помнить, что в словах заключены понятия, организованные долговечным трудовым опытом, и что одно дело — критическая проверка смысла слова, другое — искажение смысла, вызванное сознательным или бессознательным стремлением исказить смысл идеи, враждебность которой почувствована. Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено — тем оно победоносней. Именно поэтому

одни всегда стремятся притуплять язык, другие — оттачивать его» [99].

Образец точного языка, яркого, меткого, доступного для широчайших масс при глубокой научности Владимир Ильич видел в произведениях основоположников научного коммунизма — К. Маркса и Ф. Энгельса. Восторженные и точные в своих определениях комментарии Ленина по поводу языка и стиля произведений Маркса и Энгельса подтверждают это. «...коротко, просто, замечательно ясно», — пишет Ленин о разборе Марксом возражений вульгарных экономистов против теории стоимости (Предисловие к русскому переводу писем К. Маркса к Л. Кугельману, т. 14, с. 372). «В этом произведении, — говорил Владимир Ильич о „Манифесте Коммунистической партии", — с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни...» (Карл Маркс, т. 26 с. 48).

Максимум марксизма для Ленина — это максимум популярности и простоты. В этом залог действенности, силы и непобедимости великого учения Маркса и Энгельса. Популярности и простоты, конкретности и содержательности требовал Владимир Ильич прежде всего от массовой пропаганды и агитации: «Побольше экономики. Но экономики не в смысле „общих" рассуждений, ученых обзоров, интеллигентских планов и т. п. дребедени...» Речь должна идти о подлинных, конкретных фактах и примерах наших успехов на деле: «Каковы именно эти успехи? Доказаны ли они? Нет ли тут побасенок, хвастовства, интеллигентских обещаний („налаживается", „составлен план", „пускаем в ход силы", „теперь ручаемся", „улучшение несомненно" и т. п. шарлатанские фразы, на которые „мы" такие мастера)?» (О характере наших газет, т. 37, с. 90).

Глубоко ненавидя пустые, бессодержательные слова и выражения, многословие, затемняющее или подменяющее дело, Владимир Ильич безмерно гордился могучей силой русского языка, которая связывалась им с потенциальными возможностями русского народа и с великими духовными богатствами, накопленными его вековой историей. М. Горький, хорошо знавший и близко наблюдавший Владимира Ильича, пишет в своих воспоминаниях об одной черте характера Ленина, глубоко поразившей его:

[99] *Горький М.* Собр. соч. в 30-ти т., т. 27. М., 1954, с. 170.

«Я нередко подмечал в нем черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу» [100]. Любовь к трудовому народу, к родине, патриотическая любовь к родному языку — также один из важнейших ленинских заветов.

Ленин — журналист и редактор особенно чутко и особенно бережно относился к статьям и корреспонденциям авторов из рабочих. Он не уставал восхищаться меткостью их языка, точностью и своеобразием аргументации. В статье «Ленин как редактор» В. А. Карпинский вспоминает:

«Владимир Ильич старался сохранить своеобразный язык рабочего корреспондента, его манеру изложения, его подход к вопросу, своеобразие его аргументации.

— Как они умеют просто и хорошо писать! Вот бы нам так научиться! — говаривал Владимир Ильич.— Чем ближе к разговорному языку, тем лучше! Ничего, что автор подошел к вопросу с такой стороны, употребил такие выражения и аргументы, какие нам с вами никогда и в голову не пришли бы. Тем лучше,— лишь бы по существу было правильно» [101].

С каким сарказмом и гневом писал Владимир Ильич об «образованных депутатах» I Думы, которые высмеивают крестьянского депутата, употребившего слова «прерогативы» в смысле «рогатки», а сами в своих речах пользуются постоянно смесью «французского с нижегородским»:

«В вечернем заседании 2 апреля, возражая на требование рабочих депутатов обсуждать запрос о ленских событиях, октябрист Л. Г. Люц сказал:

«Через два дня годовщина событий на Лене. Очевидно, социал-демократы стремятся *будировать* чувства рабочих для того, чтобы их поднять на какие-нибудь эксцессы...“

Французское слово „bouder“, передаваемое русским „будировать“, означает — сердиться, дуться. А г. Люц, очевидно, производит это слово от „будоражить“, или, может быть, „возбудить“. Как смеялись гг. буржуазные депутаты и буржуазная пресса, когда в I Думе один крестьянин

[100] *Горький А. М.* В. И. Ленин. — В кн.: Воспоминания о В. И. Ленине, т. 2, с. 264.
[101] Воспоминания о В. И. Ленине, т. 2, с. 165.

употребил слово „прерогативы" в смысле „рогатки"! А между тем ошибка была тем простительнее, что разные „прерогативы" (т. е. исключительные права) господствующих являются на самом деле рогатками для русской жизни. Но образованность г. Люца не „возбудировала" смеха его образованных друзей и их печати» (Образованные депутаты, т. 23, с. 60). В вопросах языка, способа выражения содержательная сторона для Ленина была основной, решающей.

Наследие В. И. Ленина в области русского языка — пример страстного партийного и патриотического отношения к языку — важнейшему средству человеческого общения и орудию классовой борьбы.

Бережное отношение к языку как величайшей национальной сокровищнице, точное использование его как средства общения, совершенствование языковой культуры народа — таковы важнейшие ленинские заветы в области языкового строительства Советского государства. Заботы и начинания Ленина в наши дни получили реальное воплощение в стопроцентной грамотности населения, подъеме народного образования, в широкой и многоплановой лексикографической работе, в мощном развитии филологической науки всех национальностей и народностей Советского Союза. Языковая политика Советского государства основывается на творческом наследии Ленина и удерживает литературную речь на высоком уровне современной культуры, связанной и с письменными традициями и с народными истоками живого словоупотребления наших дней. Эта политика находит свое отражение в постановлениях пленумов и съездов партии по национальным вопросам, в обращениях ЦК КПСС к съездам писателей, конгрессам МАПРЯЛ, в выступлениях партийной литературной критики.

В ряде предреволюционных работ Ленин решительно выступил против буржуазно-либерального лозунга общегосударственного языка (каковым мыслился русский язык) и говорил о необходимости добровольного, а не принудительного — «из-под палки» — приобщения национальных меньшинств России к «великому русскому языку» (Критические заметки по национальному вопросу, Нужен ли обязательный государственный язык? и др.) [102].

[102] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 24, с. 116—118, 293—295.

Эти теоретические и политические положения легли в основу программы партии большевиков по национальному вопросу.

Развивая эти ленинские положения, Коммунистическая партия Советского Союза в своей Программе, принятой на XXII съезде (1961), отметила среди задач в области национальных отношений:

«...обеспечивать и в дальнейшем свободное развитие языков народов СССР, полную свободу для каждого гражданина СССР говорить, воспитывать и обучать своих детей на любом языке, не допуская никаких привилегий, ограничений или принуждений в употреблении тех или иных языков. В условиях братской дружбы и взаимного доверия народов национальные языки развиваются на основе равноправия и взаимообогащения.

Происходящий в жизни процесс добровольного изучения, наряду с родным языком, русского языка имеет положительное значение, так как это содействует взаимному обмену опытом и приобщению каждой нации и народности к культурным достижениям всех других народов СССР и к мировой культуре. Русский язык фактически стал общим языком межнационального общения и сотрудничества всех народов СССР» [103].

---

[103] Программа Коммунистической партии Советского Союза. — В кн.: Материалы XXII съезда КПСС. М., Госполитиздат, 1961, с. 407.

Глава II

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

Понятие «культура речи» охватывает, с одной стороны, степень соответствия речи литературным нормам, а с другой — область языкознания, исследующую проблемы нормализации с целью совершенствования литературного языка как орудия культуры [1].

Обычно термин «культура речи» употребляется как синоним термина «культура языка» (ср., например, нем. Sprachpflege, англ. culture of speech или speech culture, польск. kultura języka, чеш. jàzyková kultura, словац. jazyková kultúra, болг. езикова култ̀ура и т. п.).

Однако в отечественном языкознании существует традиция разграничивать «культуру языка» (когда имеются в виду свойства образцовых текстов, закрепленных в памятниках письменности, а также потенциальные свойства языковой системы) и «культуру речи», под которой понимают конкретную реализацию языковых свойств и возможностей в условиях повседневного и массового — устного и письменного — общения [2]. Впрочем, такое разграничение до сих пор нельзя считать достаточно строгим или общепринятым, несмотря на то, что и в собственно теоретическом и в прикладном, практическом отношениях оно представляется важным и перспективным. Известная книга Г. О. Винокура «Культура языка» посвящена проблемам культуры речи (см. главы «Язык быта», «Язык прессы»

[1] См.: БСЭ. 3-е изд., т. 13. М., 1973, с. 597 (ст. «Культура речи»). Ср. определение «культура речи» в кн.: *Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.* Словарь-справочник лингвистических терминов. 2-е изд. М., 1976.

[2] См., например, статьи В. В. Виноградова в журн. «Вопросы языкознания» (1961, № 4; 1964, № 3) и др. Ср. обзорную статью В. Г. Костомарова «Проблемы культуры речи» в кн.: Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968.

и др.), а также проблемам культуры языка (см. главу «Искусство слова и культура языка»). Понятие «культура речи» рассматривается как составная часть более общего понятия «культура языка» в книге Ю. Д. Дешериева и И. Ф. Протченко [3]. В БСЭ и лингвистических словарях-справочниках подобного рода разграничение не проводится.

Нормы в динамическом и системном отношениях

Теоретический аспект проблем культуры речи предполагает динамический и системный подход к литературным нормам, к их выявлению и научному описанию и анализу.

Динамический подход, лежащий в основе научного исследования норм, детализируется с помощью введения ряда диалектически противопоставленных друг другу факторов или тенденций языкового развития (и функционирования), которые могут быть представлены в виде перечня антиномий, обращение к которым имеет определенную традицию в славянском языкознании [4]. Антиномии здесь следует понимать не в строго философском смысле (как появление в ходе рассуждения двух противоречивых, но одинаково обоснованных суждений [5]), а в смысле лингвистических живых, объективных противоречий, по-разному проявляющихся в функционировании языка и его развитии [6].

Среди языковых антиномий выделяются главные, основные, и периферийные, или частные (список последних практически не закрыт). К главным антиномиям следует, на наш взгляд, отнести следующие:

1) взаимодействие (и противодействие) внутриязыковых и социальных факторов. Это общая антиномия внешней и внутренней лингвистики. Сюда же, по-видимому, должна быть отнесена антиномия растущих потребностей

---

[3] *Дешериев Ю. Д., Протченко И. Ф.* Развитие языков народов СССР в советскую эпоху. М., 1968, с. 232–233.

[4] Ср. статью «Антиномии в грамматической структуре» в кн.: *Вахек Й.* Лингвистический словарь Пражской школы. М., 1964, с. 35—36.

[5] См.: Философский словарь. М., 1968, с. 18.

[6] Сходное понимание языковых антиномий содержится в кн.: Русский язык и советское общество. Лексика современного русского языка. М., 1968, с. 24 и след.

в адекватном выражении мыслей и чувств и реальных возможностей языка в каждую историческую эпоху[7];

2) стабильность (относительная) нормы и изменчивость языка. Стремление литературной нормы к стабильности, связанная с функцией сохранения культурной традиции, общности в пределах литературности, приходит в противоречие с исторической изменчивостью языка, а также его синхронным функционированием (в связи со стилистической заданностью, условиями общения и т. п.). На уровне оценки речи эта антиномия проявляется в противопоставлении старого и нового, своего и чужого (заимствуемого), правильного и неправильного и т. п.;

3) грамматическое (или формальное, типовое) и смысловое (содержательное) как одна из главных и к тому же внутриязыковых антиномий. Многочисленные примеры этого противоположения находим в синтаксических явлениях типа: *несколько человек приходило* (*приходили*) или *часть присутствующих не проголосовала* (*не проголосовали*), когда выбор формы ед. или мн. числа сказуемого зависит от осмысления представленного в подлежащем множества нерасчлененным или расчлененным (нейтрализация смысла представлена грамматически, «формально»). «Местоимение количественное *несколько* употребляется двояким образом: 1) по своей этимологической (т. е. грамматической.— *Л. С.*) форме, как местоимение среднего рода ед. числа, или 2) по значению — как собирательное имя, и тогда согласуется с сказуемым во мн. числе. В первом случае выражение более отвлеченное и книжное, потому что основано только на грамматическом соображении внешней формы; во втором — выражение живее и нагляднее, потому что основано на смысле речи и на представлении тех предметов, о которых говорится... У Пушкина: „несколько казаков бежало“; ср.: „в некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу“»[8]. Ср. также: *инженер предложила* (*свой проект*) при строго грамматических вариантах: *инженер Петрова предложила* или *женщина-инженер предложила* (*свой проект*) и т. п.[9]

---

[7] См. об этом: *Будагов Р. А.* Что такое развитие и совершенствование языка. М., 1977, с. 230.

[8] *Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М., 1959, с. 402—403.

[9] См.: *Мучник И. П.* Категория рода и ее развитие в современ-

Что касается частных, или периферийных, антиномий, то наиболее существенными из них в плане нормативности могут быть выделены такие:

4) назначение речи и ее адекватное понимание. Это противоречие формулируется иногда как антиномия «отправитель — получатель», «говорящий — слушающий» и т. п.[10] и в нормативном плане не является собственно конституирующим, так как нейтрализуется условиями общения, установкой на говорящего (слушающего) и т. п.;

5) «системное» и «нормативное» в речи. Антиномия связана с действием аналогии (формально-грамматический и обычно строго синхронный аспект) вопреки нормативно закрепленному, традиционному (собственно диахронический аспект в норме). Иная формулировка этой антиномии: «системное» (в языке) и «индивидуальное» (в речевой норме). Проявляется в разного рода ошибках по аналогии в живой речи. Ср.: *одеть* (*что*) вместо *надеть* по аналогии с *обуть* (*что*) и под влиянием возвратной формы *одеться* ‘надеть что, облачить себя во что-н.’;

6) стандартизация и выразительность[11] как общеязыковая антиномия, влияющая и на собственно нормативные отношения (путем пополнения вариативных рядов и т. п.);

7) узуальное (привычное, обычное, массовое) и творческое (индивидуальное), воспринимаемое в силу социального престижа[12] или по другим причинам.

Проявление действия антиномий в реальности осложняется разнообразными факторами и практически не наблюдается в чистом виде. Продемонстрировать это можно на одном современном примере. Речь идет об использовании слова *инициативы* (во мн. числе) в публицистике наших дней. Новые *инициативы* СССР и Франции в пользу углубления разрядки, с учетом веса и роли наших стран

ном русском литературном языке.— В кн.: Развитие современного русского языка. М., 1963; ср.: Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. М., 1968, с. 38 и след.

[10] Языковая антиномия говорящего и слушающего выделяется в качестве одной из главных в кн.: Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка, с. 24 и след.

[11] См.: *Будагов Р. А.* Указ. соч., с. 230.

[12] Ср.: *Скребнев Ю. М.* Понятия субституции и нормы в описании разговорной специфики.— В кн.: Теория и практика лингвистического описания разговорной речи, вып. 5. Горький, 1974, с. 143—144.

в мире, были бы созвучны интересам наших народов, целям укрепления международной безопасности (из речи А. А. Громыко.— Правда, 1976, 29 апр.); Сколько хороших *инициатив* выдвинул комсомол за истекшую пятилетку, сколько доблестных дел он осуществил! (Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 84); Ежедневно в разных городах страны рождаются новые почины, *инициативы*, берутся повышенные обязательства в честь XXV съезда КПСС (Известия, 1975, 8 сент.). Такое употребление формы *инициативы* в конкретном осмыслении (предложения, проекты, мероприятия и т. п.) потенциально заложено в в системе русского языка.

А. А. Шахматов, описывая категорию числа [13], выделил пять групп имен, которые по своему значению не могут употребляться во мн. числе. Среди них — слова с отвлеченным значением. Однако, как отмечал Шахматов, многие из этих слов «допускают индивидуализацию, т. е. могут мыслиться не в сплошной неделимой массе, а выделенными в особые виды»; это приводит к появлению формы мн. числа: *радости* ‘радостные события, впечатления’, *должности* ‘места, занятые должностными лицами’, *добродетели* ‘качества добродетельного человека’ и т. п.

В. И. Чернышев отмечал в произведениях русских писателей формы мн. числа от существительных, обычно употребляющихся лишь в ед. числе: *упованье, упоенье, откровенье, возмездие, блаженство, презренье* — у Баратынского [14], *воображение* (у Державина), *вежливость*, *ложь*, *угнетение* (у Белинского), *декламация* (у Полонского), *заискивание* (у Л. Толстого), *нищета* (у А. Толстого), *самолюбие* и *сложность* (у Достоевского; примечание Чернышева: «обыкновенно — *осложнения*»), *совесть* (у Фонвизина), *угодливость* (у Аксакова) [15].

В. В. Виноградов называл функцию таких форм в языке писателей (например, у В. Брюсова) не прямой, количественной, а экспрессивно-поэтической. Впрочем, он делал к этому общему выводу существенное примечание:

---

[13] См.: *Шахматов А. А.* Очерк современного русского литературного языка.— В кн.: Из трудов А. А. Шахматова по современному русскому языку. М., 1952, с. 142—143.

[14] *Чернышев В. И.* Язык и стиль стихотворений Е. А. Баратынского.— Избр. труды, т. 2. М., 1970, с. 127.

[15] *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики. СПб., 1911, с. 72 и след.

«Вообще, конкретизация и индивидуализация отвлеченных понятий, сопровождающаяся возникновением в соответствующих словах новых значений и оттенков, нередко обогащает эти слова формами множественного числа»[16]. Действительно, в словосочетаниях *мирные инициативы, важные инициативы, новые инициативы* и т. п. слово *инициатива* выступает в конкретном, предметном значении: ‘предложение’, ‘проект’, ‘начинание’, ‘почин’ и т. п.

Такое же конкретное по смыслу употребление характеризует и другие отвлеченные имена в современной публицистике.

Реальности: Выступления представителей оппозиционной партии ХДС/ХСС показали, что они по-прежнему не желают признавать послевоенные *реальности* в Европе (Правда, 1971, 24 сент.); Мир и безопасность народов Ближнего Востока могут быть достигнуты лишь тогда, когда все страны района признают сложившиеся здесь *реальности* (Правда, 1975, 8 сент); Признание *реальностей*, в особенности признание неприкосновенности европейских послевоенных границ, есть и остается решающим критерием европейской безопасности и сотрудничества (Правда, 1976, 17 янв.); Изменить свою позицию их заставили новые *реальности* на Ближнем Востоке. Они существуют! Именно эти *реальности* прежде всего берутся в расчет, когда рядовой израильтянин размышляет о своем будущем (И. Беляев. Крах «политики генералов».— Огонек, 1975, № 13, с. 20); «Новые *реальности* и управление» — таким был девиз XVII Мирового конгресса по управлению, проходившего в ноябре 1975 года в г. Каракасе (Венесуэла) (Коммунист, 1976, № 1, с. 105). Здесь *реальности—это* ‘условия’, ‘(действительная) обстановка’, ‘(очевидные) факты’ и т. п.

Договоренности: Не ясно ли, сколь серьезную ответственность берут на себя те, кто, преследуя эгоистические цели, превращает ближневосточное урегулирование в предмет политической игры, кто использует сепаратные частичные *договоренности,* чтобы оттянуть время подлинных решений, а то и вообще поставить их под вопрос (Материалы XXV съезда КПСС, с. 14). *Договоренности* здесь — ‘соглашения’, ‘договоры’, ‘(сепаратные) решения’ и т. п.

---

[16] *Виноградов В. В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. 2-е изд. М., 1972, с. 133.

Антагонизмы: США и СССР должны разрешить проблемы первостепенной важности, и было бы дорогостоящим замедлить прогресс новыми *антагонизмами* (Известия, 1972, 10 февр.); У Н. Евдокимова такого рода противопоставления и *«антагонизмы»* совершенно сняты широтой трактовки народного характера (Дружба народов, 1976, № 1, с. 250). Здесь *антагонизмы* — ‘противоречия’, ‘конфликты’, ‘столкновения’ и т. п.

Есть основания полагать, что в современной публицистике, в дипломатической практике формы *реальности, инициативы, антагонизмы* и т. п. появились не без иноязычного влияния. В ряде из приведенных выше примеров даются буквальные переводы (с французского и английского), ср. также франц. la initiative ‘инициатива, начинание, почин, первый шаг’, les initiatives ‘мероприятия’, la réalité ‘реальность, действительность; подлинность, реальная вещь, факт’ [17]. Однако и независимо от этих возможных иноязычных влияний формы *инициативы, реальности* и т. п. имеют почву в лексико-грамматической системе русского языка. При необходимости выразить конкретно-количественные отношения от слов, относящихся к группе singularia tantum, могут быть образованы формы мн. числа.

Существительные с отвлеченным значением в форме мн. числа обозначают конкретные проявления различных качеств, свойств, эмоциональных состояний (*возможности, скорости, влажности; красоты, глубины, радости, печали, нежности* и т. п.), а также конкретные предметы, которые обладают названным качеством (*емкости, вредности, мощности* и т. п.) [18]. Действие (и противодействие) диахронического и синхронного в норме, осложненное влиянием внеязыковых факторов, может быть показано на употреблении наречий (и предлогов) *вне — вовне, внутрь — вовнутрь.* С точки зрения современной нормы можно как будто усмотреть известное противоречие в квалификациях этих пар. С одной стороны — одинаковая нормативность первой пары (в словаре Ушакова *вовне* имеет помету «книжн.»), с другой стороны — ненормативность второго члена второй пары (в словаре Ушакова *вовнутрь* сопровождается поме-

[17] Французско-русский словарь. Сост. К. А. Ганшина. 5-е изд. М., 1962.

[18] Академическая Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, с. 324.

той «разг.»; в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» *вовнутрь* как наречие имеет помету «в просторечии», а как предлог дается без стилистической пометы). Характерно отсутствие *вовне и вовнутрь* в словаре Ожегова и квалификация их в качестве тавтологических усилений в словаре-справочнике «Правильность русской речи» под ред. С. И. Ожегова (2-е изд. М., 1965). С пометой «простореч.» дается *вовнутрь* в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка».

Думается, этому внешнему разнобою есть историческое объяснение. Одинаковый с современной точки зрения словообразовательный статус *вовне* и *вовнутрь* этимологически оказывается различным. Исторически в наречии *вовнутрь* выделяется «удвоенный» предлог *во-в*, которого нет и не было в наречии *вовне*. Об удвоенных формах предлогов *в* и *с*, дающих в русских народных говорах и в некоторых других славянских языках сложные предлоги *вов* и *сос*, писал в свое время В. И. Чернышев [19]. Они встречаются в записях народных песен, сказок и былин, где такое словоупотребление поддерживается ритмом (например, *во-в чистом поле, во в леву руку калену стрелу; со с крапивою, со с плясочкой* и т. п.).

Форма *вовнутрь* встречается у Державина (Развалины), Гоголя (Мертвые души), Герцена (Из писем путешественника во внутрь Англии), а также у Радищева (Путешествие из Петербурга в Москву), Григоровича (Кошка и мышка), Чехова (Рано!, Записная книжка), Блока (Дневники), Фадеева (Разгром), Быкова (Мертвым не больно) и других писателей.

В. И. Чернышев возводил традицию оценки формы *вовнутрь* как «ошибочной» к Я. К. Гроту, оспаривая эту оценку ссылками на народный язык, с одной стороны, и на употребление известными русскими писателями — с другой [20]. Однако видеть в современной норме простой результат освященной традицией кодификации вряд ли правомерно.

---

[19] *Чернышев В. И.* О некоторых русских префиксах и предлогах.— Избр. труды, т. 1. М., 1970, с. 216 и след.

[20] *Чернышев В. И.* О некоторых русских префиксах и предлогах, с. 217.

Употребление *вовне — вне, вовнутрь — внутрь* как грамматико-семантических дублетных пар должно было так или иначе привести к их «расподоблению» (что мы реально и наблюдаем в современной лексикографической практике). Сам Чернышев в своем основном нормативном труде (Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики) дает нормативную оценку с синхронных позиций: «При общепринятом *внутрь* встречается старинное и народное *вовнутрь*» (§ 49, п. 394).

Можно полагать, что «общему принятию», распространению и укреплению формы *внутрь* в качестве единственной литературной нормы способствовали и внутрисистемные отношения: форма *вовне* поддерживается антонимическим *извне*; для формы *вовнутрь* таким поддерживающим образованием должно было бы быть *извнутри*. Однако несмотря на известную традицию в литературной речи (встречается, например, у Гоголя в «Мертвых душах»), эта форма так и не закрепилась в общем употреблении, а отсутствие ее не могло не влиять на функционирование антонимического *вовнутрь* в качестве литературно-нейтрального элемента.

В своей книге, посвященной развитию и изменению норм современного русского литературного языка, К. С. Горбачевич категорично утверждает: «Все же образцовым, предпочтительным для языка наших дней следует признать управление родительным падежом: *жду встречи*, а не *жду встречу*» [21]. Между тем именно омонимичность форм род. п. ед. числа и вин. п. мн. числа (о которой автор говорит мимоходом и в другой связи) оказывается едва ли не решающим фактором для описываемой смены норм: от род. падежа управляемого слова при глаголе *ждать* к вин. падежу (*ждать песни — песню, распоряжения — распоряжение, решения — решение, милости — милость, встречи — встречу* и т. п.) [22]. Вообще можно сказать, что такого рода примеры показывают источники некоторых

[21] *Горбачевич К. С.* Изменение норм русского литературного языка. Л., 1971, с. 234.

[22] О заметном увеличении общего количества конструкций с винительным беспредложным в современном языке по сравнению с языком XIX в. пишет Д. И. Буторин в статье «Об особых случаях употребления винительного прямого объекта в современном русском языке» (в кн.: Нормы современного русского литературного словоупотребления. М.— Л., 1966), на которую ссылается Горбачевич.

нормативных изменений, идущих из устной разговорной речи, в которой действуют свои закономерности, связанные, в частности, с большей «контрастностью» форм (и смыслов) по сравнению, скажем, с традициями письменной формы. Эти закономерности проявляются не только в расширении «зон вариативности» (объема, списка вариантов), но и в активизации «точек роста» новых нормативных явлений (в результате разрешения разного рода противоречий, прежде всего формы и содержания).

Системный подход к описанию литературных норм выявляется, на наш взгляд, введением понятий синтагматики и парадигматики. Синтагматические и парадигматические отношения помогают установлению собственно внутриязыковых представлений о структуре (или системе) литературных норм — вне зависимости от уровней языка (орфоэпия, лексика, грамматика, стилистика и т. п.).

Парадигматика норм включает в себя выбор слова (словосочетания, конструкции) в соответствии со значением или оттенком значения, стилевой, ситуативной и т. п. задачей, правильное употребление синонимичного или близкозначимого варианта, а также маркированного во временном, социально-профессиональном или ином отношении (архаические, территориальные, жаргонные и иные средства).

Синтагматика литературных норм определяет возможности «сочетаемости» в широком смысле слова (согласование, управление предложное или беспредложное, выбор грамматического варианта и т. п.).

Синтагматические отношения могут осложняться и реально осложняются парадигматическими отношениями, однако само их введение в описание литературных норм может помочь, во-первых, компактно и единообразно представить весь их корпус (включая выразительные средства речи), а во-вторых, обнаружить их различную внутреннюю природу и диапазон «крепости» как в плане функционирования, так и в плане эволюционной изменчивости. Попытки представить системные отношения в виде дихотомии парадигматики и синтагматики оказываются плодотворными для разных аспектов описания речи [23].

---

[23] Ср. выделение «стилистики единиц (ономатологии)» и «стилистики последовательностей» в кн.: *Скребнев Ю. М.* Очерк теории стилистики. Горький, 1975.

По отношению к нормам языка, точнее, к вариантам в пределах нормы этот дихотомический подход был предложен О. С. Ахмановой, Ю. А. Бельчиковым и В. В. Веселитским при обосновании предмета и границ «ортологии» как особой лингвистической дисциплины [24].

К фактам парадигматического (или «ассоциативного») ряда авторы относят явления выбора, множественности, взаимозаменяемости слов и выражений, рассматриваемых вне соотношения с окружающим контекстом (например, *украсть — стащить — похитить* и т. п.).

К явлениям синтагматического (или «линейного») ряда относятся, по мысли авторов, такие факты, сущность которых состоит именно в сосуществовании в данном речевом произведении.

Вместе с тем авторы выделяют «структурную вариантность» (типа *спазм — спазма*) и «временну́ю вариантность» (*самолет — аэроплан, летчик — авиатор* и т. п.).

Обращаясь к явлениям собственно «стилистической (или оценочной) вариантности», авторы полагают, что разграничение парадигматических и синтагматических рядов здесь неприменимо.

Думается, они в известной мере противоречат себе, делая такой категорический вывод, поскольку в дальнейших рассуждениях определяют оценочную вариантность как «выбор из ряда стилистических вариантов». Но ведь выбор и составляет основу парадигматики. Другое дело, что в этом случае можно говорить о совмещении, взаимодействии и взаимопроникновении синтагматических и парадигматических отношений (на стилистическом уровне вполне понятном и, в сущности, неизбежном).

Культура речи (норма и кодификация, вариативность норм, их функционирование и эволюция)

Подход к проблемам культуры речи, к кругу относящихся сюда вопросов предполагает историческое, социальное и собственно лингвистическое сознание явлений нормы и литературного языка в их функциональной связи и диахронической изменчивости.

Относительная молодость самой дисциплины, называемой в разных языках то «культурой речи», то «культурой

[24] *Ахманова О. С., Бельчиков Ю. А., Веселитский В. В.* К вопросу о «правильности» речи.— ВЯ, 1960, № 2, с. 35 и след.

языка», объясняется во многом неразработанностью предваряющих эту дисциплину разделов языкознания. «Выделение литературной, или „правильной", речи, — писал Л. Блумфилд,— есть побочный продукт определенных социальных условий... Исследователь письма, литературы... или правильной речи, если только он достаточно настойчив и методичен, после напрасных усилий неизбежно приходит к выводу, что ему сначала надо изучить язык, а потом уж приниматься за эти проблемы» [25].

Представители Пражского лингвистического кружка рассматривали проблемы культуры речи в тесной связи с основными функциями литературного языка и с практическими задачами нормализации (кодификации). «Под культурой языка,— записано в тезисах ПЛК,— понимается четко выраженная тенденция к развитию в литературном языке (как разговорном, так и книжном) качеств, требуемых его специальной функцией» [26]. Таких качеств оказывается три: 1) устойчивость; 2) ясная, точная и легкая передача самых разнообразных оттенков; 3) оригинальность языка. В связи с этими выделенными качествами определяются следующие практические задачи в области культуры и критики славянских языков:

для произношения — преодоление нефункциональных различий (вариантов);

для орфографии — ясность, простота и устойчивость во времени;

для словаря — стремление к максимальному обогащению и стилистическому разнообразию наряду с поисками смысловой точности словоупотребления;

для синтаксиса — стремление не только к индивидуальной экспрессивности, но и к богатству возможных дифференциаций значений;

для морфологии — устранение бесполезных архаизмов, увеличивающих расстояние между книжным и разговорным языками.

Культура речи означает использование языковых средств, оптимальных для данной речевой ситуации. Другими словами, она предполагает владение говорящим

---

[25] *Блумфилд Л.* Язык. Цит. по кн.: *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. 2. М., 1960, с. 126.

[26] Тезисы ПЛК.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. Сб. статей. М., 1967, с. 39.

различными функциональными стилями. Так, например, жаргонные слова и выражения в принципе неприемлемы за пределами тех ситуаций, в которых они обычно бытуют, точно так же как неприемлем стиль научной речи (или его признаки) в быту, литературная речь — в диалектной среде, нейтральные (ненамеренные) диалектизмы — в литературной речи и т. п.

Функциональное осмысление культуры речи и связанных с нею практических проблем кодификации также восходит к деятельности чешских языковедов, представителей Пражского лингвистического кружка. «Культура речи, кодификация,— отмечает Б. Гавранек,— появились как научные проблемы лишь тогда, когда язык начали рассматривать как средство для достижения определенной цели, когда провели различие между высказываниями и системой языка»[27]. Разграничивая норму как целиком внутриязыковое явление и кодификацию как явление внеязыковое (описание нормы в учебниках), Гавранек определяет языковую норму как «систему языка, взятую в плане ее обязательности,— с задачей достичь намеченного в сфере функционирования языка».

Решая теоретические и практические вопросы нормализации, языковеды должны учитывать функциональность современного литературного языка и его структуру. Как уже говорилось, языковой пуризм (идущий обычно от охранительной тенденции) оказывается в противоречии с живыми потребностями литературного языка; с другой стороны, антинормализаторство, т. е. поощрение прогрессивных тенденций без учета внутриязыковых потребностей, не может служить теоретическим основанием нормализаторской деятельности языковедов.

В тезисах «Общие принципы культуры языка» (1932) пражские языковеды предложили ряд общих положений для теоретического нормативного вмешательства в языковую практику:

1. Подобное вмешательство должно поддерживать стабилизацию литературного языка.

2. Целью такого вмешательства является не архаизация и не насильственное сдерживание развития литературного языка, а стремление к стабилизации, которое определяется целесообразностью (функциональная точка зрения),

[27] *Havránek B.* Studie o spisovném jazyce. Praha, 1963.

вкусом данной эпохи (точка зрения общеэстетическая) и соответствием подлинному состоянию современного литературного языка (синхронная точка зрения).

3. Это вмешательство не должно насильственно углублять различия в грамматическом строе разговорного и книжного языка, если речь не идет о функциональном использовании именно этих различий.

4. Это вмешательство не должно устранять из литературного языка все колебания и все грамматические и лексические дублеты. Стремление к стабилизации литературного языка не должно приводить к его нивелировке[28].

В этих принципиальных положениях особенное внимание привлекает тезис о трех подходах (функциональном, общеэстетическом и синхронном) к стабилизированной норме, а также тезис о колебаниях и вариантах (дублетах), представляющих существенную черту любого литературного языка.

Действительно, целесообразность (функциональность) и вариативность представляют важнейшие стороны общей проблемы культуры речи, так сказать, ее сердцевину. Между тем абсолютизация одной из этих сторон, рассмотрение ее в отрыве от другой приводит современных исследователей к созданию особых дисциплин или «учений», претендующих на господствующее место в проблемах речевой культуры. С одной стороны, это так называемая ортология, с другой — принцип коммуникативной целесообразности.

«Ортология», или учение о «правильной» речи, строится, по замыслу ее создателей, как отрасль языкознания, основной категорией которой является категория вариантности, осмысливаемая и оцениваемая с точки зрения тенденций языкового развития[29]. «Ортологический» подход или аспект, не получив в дальнейшем развития, тем не менее внес свой вклад в теорию культуры речи, решительно выдвинув на передний план категорию вариантности (в пределах нормативности).

---

[28] См.: Пражский лингвистический кружок. Сб. статей, с. 397.

[29] См.: *Ахманова О. С., Бельчиков Ю. А., Веселитский В. В.* Указ. соч.; *Ахманова О. С., Беляев В. Ф., Веселитский В. В.* Об основных понятиях «нормы речи» (ортология).— Филолог. науки, 1965, № 4. См. критическую оценку этого подхода в статье: *Скребнев Ю. М.* К вопросу об «ортологии».— ВЯ, 1961, № 1.

В теоретическом отношении представляют несомненный интерес попытки терминологического разграничения понятий «вариативность», «вариантность» и «вариабельность» — в применении к вариантам нормы. Наиболее общее из них — вариабельность. Это свойство языка (или его уровней) в целом, способность к варьированию нормативных средств. Вариативность — это взаимозаменяемость вариантов в пределах синхронного подхода и в рамках литературности, нормативности; это функционирование нормативных вариантов в речевой деятельности. Вариантность — это соположение вариантов (как в синхронном, так и в историческом аспекте), употребление которых отмечено в речи (литературность — нелитературность, старое — новое, правильное — неправильное и т. п.) [30].

Точки роста или сферы напряженного столкновения вариантов целесообразно рассматривать как «зоны вариантности» («вариантные зоны») [31]. Что касается принципа коммуникативной целесообразности, то он восходит в общем виде к функциональной лингвистике вообще и к функциональной стилистике в частности [32]. Еще Ш. Балли отмечал, что «стиль — это языковое приспособление человека к общей обстановке». Функциональное понимание культуры языка в отечественном языкознании было предложено Г. О. Винокуром: «...Культура языка в подлинном смысле невозможна без действительного и — в тенденции — исчерпывающего знания о языке, т. е. о тех его средствах, которые находят свое своеобразное применение в зависимости от внутренней телеологии того или иного социально-речевого задания. Именно так и распадается наша практическая стилистика: на учение о средствах языка и учение о языковых заданиях, с точки зрения разнообразного применения языковых средств в каждом из

---

[30] Ср. разграничение вариативности и вариантности в кн: *Вербицкая Л. А.* Русская орфоэпия. Л., 1976, с. 19.

[31] См.: *Горбачевич К. С.* Зоны вариантности слов и нормы русского литературного языка.— ВЯ, 1974, № 5.

[32] Предысторию такого подхода можно усматривать в рациональной точке зрения на культуру речи и нормативность, выдвинутую еще младограмматиками: нормативно то, что наилучшим образом выполняет коммуникативную функцию языка; неправильно то, что может быть неправильно понято или понимается с трудом (см. исторический обзор: *Дзекиревская Л. Н.* К проблеме нормы в языке и стиле.— В кн.: Вопросы германской и романской филологии. М., 1963).

них»[33]. Говоря о стилевых разновидностях языка, Л. В. Щерба подчеркивал, что «каждая разновидность вызывается к жизни функциональной целесообразностью (разрядка наша.— Л. С.)»[34].

В последнее время принцип коммуникативной целесообразности был выдвинут в теоретическом плане В. Г. Костомаровым и А. А. Леонтьевым (1966) и в плане практическом Б. Н. Головиным (1966). По мнению Костомарова и Леонтьева, «правильность литературного выражения выступает функцией коммуникативно-стилистической целесообразности и, так сказать, соразмерности данного высказывания (а также — с убывающей силой зависимости — каждой данной ситуации, речевого жанра, стиля, вообще более широкой и всеобщей сферы применения языка)[35]. Критерий коммуникативной целесообразности, как полагают авторы, существен при определении нормативности явления и вообще культуры речи, ибо язык прежде всего — средство общения, а всякое общение целенаправленно.

Несмотря на последнюю оговорку, в целом точка зрения авторов сводится к тому (хотят или не хотят они этого субъективно), что понятие нормативности и правильности поглощается понятием «коммуникативной целесообразности», растворяясь в нем без остатка. В этом случае, прояснив цель и ситуацию, культура речи, как лингвистическая дисциплина, теряет свой объект и свой существенный конструктивный элемент — литературную норму.

Б. Н. Головин соотносит целесообразность и норму, считая их двумя регуляторами человеческой речи, рассматриваемой в нормативно-стилистическом плане (в связи с этим вводится понятие «хорошей» речи и ее качеств). Если требования нормы жестки и узки, то требования целесообразности мягче и шире. Проявление нормы не зависит от условий применения языка (содержание, цель, обстановка речи); проявление целесообразности целиком определяется этими условиями. Норма осуществляется в пределах языковой структуры; целесообразность выводит

[33] *Винокур Г. О.* Культура языка. 2-е изд. М., 1929.

[34] *Щерба Л. В.* Современный русский литературный язык.— В кн.: Щерба Л. В. Избр. работы по русскому языку, с. 119.

[35] *Костомаров В. Г., Леонтьев А. А.* Некоторые теоретические вопросы культуры речи.— ВЯ, 1966, № 5, с. 5—6.

говорящего за ее пределы «в сложную область связей и отношений языка и действительности, языка и сознания». Наконец, «норма выбирает из немногих вариантов, лишь один из которых — литературный. Целесообразность может выбирать из очень большого ряда языковых фактов, и все они могут быть вполне литературными» [36].

Здесь не все ясно: непонятно, например, каким образом осуществляется литературное общение «за пределами языковой структуры». Кроме того, вызывает возражение двоякое понимание литературности — «на уровне» нормы и на «уровне» целесообразности. Вместе с тем попытка представить систему антиномий для разграничения речи «правильной» и речи «хорошей» не может не привлечь внимания и не потребовать пристального изучения. По мнению Головина, норма (строгость, жесткость выбора, предписания) господствует в области произношения, ударения, морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации. В лексике заметнее, чем в грамматике, скрещиваются жесткие предписания нормы и мягкие рекомендации целесообразности. Что касается стилистики, то в ней господствует целесообразность [37].

Думается, что недостатки и противоречия описанных подходов (ортологических и коммуникативных) могут быть во многом сняты, если ввести членение в общее понятие «культура языка (речи)» и говорить о «правильности речи» и «культуре речи» как двух ступенях освоения литературного языка и двух способах владения им.

Первой, низшей ступенью оказывается правильность речи. О правильности мы говорим при овладении литературной речью и ее нормами. Оценки вариантов на уровне правильности речи: правильно — неправильно, по-русски — не по-русски и т. п. (ср. *орать на все горло* вместо *орать во все горло*, а также *хочут* вместо *хотят*, *суть да дело* вместо *суд да дело* и т. п.). Правильность речи является,

[36] *Головин Б. Н.* Как говорить правильно. Горький, 1966, с. 44—45.

[37] Ср. с этим положение В. Н. Ярцевой о том, что разным языковым уровням соответствуют различные структурные типы моделей: «жесткие», «относительно жесткие» (или «полужесткие») и «нежесткие». Морфологический уровень характеризуется «жестким» типом, синтаксический — как «жестким», так и «полужестким», лексический — «полужестким» и т. п. (см.: *Ярцева В. Н.* Взаимоотношение грамматики и лексики в системе языка.— В кн.: Исследования по общей теории грамматики. М., 1968, с. 26 и след.).

в сущности, предметом школьного обучения. Программа средней школы и предполагает в общем виде привитие навыков правильной речи (преимущественно в области грамматики).

Второй, высшей ступенью освоения литературного языка является культура речи в собственном смысле. О культуре речи можно говорить в условиях владения литературной речью, в условиях правильности (т. е. владения литературными нормами). Оценки вариантов на уровне культуры речи иные: лучше — хуже, точнее, уместнее и т. п. (ср. архаическое и книжное *от времени до времени* и современное нейтральное *время от времени*, которые вместе противопоставлены «неправильному» *от времени* в том же значении, скажем, в устах иностранца).

Собственно, за нерасчлененными определениями и категориями различных авторов — «выразительность», «образность», «богатство языка», «хорошая речь» и т. п.— и стоит, как нам кажется, попытка охарактеризовать культуру языка в отличие от «правильности» в предложенном выше смысле.

Идея разграничения двух принципиально различных аспектов культуры языка в отечественном языкознании принадлежит Т. О. Винокуру. Впервые она была высказана в общем виде в книге «Культура языка» (1930), а затем конкретизирована в более поздних работах, и в частности в опубликованной посмертно статье 1945 г. «Из бесед о культуре речи». «Понятие культуры речи,— пишет Винокур,— можно толковать в двояком смысле, в зависимости от того, будем ли мы иметь в виду одну только правильную речь или же также речь умелую, искусную» [38]. Искусная речь предполагает умение говорить не только нравильно, но в принципе и мастерски, как пишут и говорят мастера художественной речи. Поэтому главная особенность такой мастерской речи заключается в ее активности, в ее творческом характере. «Мастер языкового употребления не только хорошо знает нормы языка, но и сам на них влияет и сам их создает (разрядка наша.— *Л. С.*)» [39].

---

[38] *Винокур Г. О.* Из бесед о культуре речи.— Рус. речь, 1967, № 3, с. 10.

[39] Там же, с. 13.

Итак, мы видим, что выдвинутые в качестве основных культурно-речевых проблем вариативность и коммуникативная целесообразность могут рассматриваться соответственно как лингвистическая критика (проблема вариантов) — на уровне правильности, с одной стороны, и модель порождения высказывания (в зависимости от цели, используемых средств и т. п.) — на уровне культуры речи, с другой стороны.

Недостаток принципа коммуникативной целесообразности в том виде, в каком он предложен В. Г. Костомаровым и А. А. Леонтьевым, состоит в том, что действие его распространяется и на уровень правильности, и на уровень культуры речи. Между тем расчлененность указанных уровней позволяет определить более точно место принципа коммуникативной целесообразности в общей проблеме речевой культуры, не смазывая понятия нормативности. Принцип коммуникативной целесообразности, осуществляясь исключительно на уровне культуры речи (т. е. на стилистическом, а не на нормативном), предполагает вместе с тем в определенных случаях — в целях коммуникативных — оправдание осознанной ошибки в собственной речи[40]. Ср. форму *матеря* вместо *матери* в диалоге, осуществляемом в условиях диалектной речи: — Я тут женщину одну хорошую встретила. Сына у нее убили. Хлопчика. Молоденького.— Да, *матеря* теперь плачут...— отозвался провожатый деловито и сухо.— *Матéря* плачут,— повторила за ним Ксана, стесняясь произнести это слово правильно (Е. Суворина, Ксана Муратова — фронтовая артистка.— Юность, 1964, № 3, с. 49).

Уподобление, ассимиляция окружающей диалектной речи у людей, родившихся в ее стихии, со временем может осложняться явлением языкового «регресса», отмеченного современными диалектологами (см. работы Ф. Л. Скитовой, Л. И. Баранниковой).

По мнению Э. Косериу, в диалоге, который ведется на одном и том же языке, всегда неявно присутствуют четыре различных языка: 1) языковые навыки говорящего, 2) языковые навыки слушающего, 3) общая часть тех и других навыков, 4) новый язык, образующийся в процессе диалога. Косериу ссылается на Монтеня, который по-

[40] Это не та ошибка, которая составляет «прелесть», по Л. В. Щербе (у него — обыгрывание, осознаваемое обеими сторонами и осуществляемое на фоне одинаково понимаемой нормы).

лагал, что слово принадлежит наполовину говорящему и наполовину слушающему. «Этим объясняются постоянные усилия собеседников сделать обе „половины“ как можно более тождественными, их стремление говорить, как другой. В силу приспособления к навыкам другого говорящий может даже отказываться в значительной части от собственных навыков, как это бывает при разговоре с иностранцами, и модифицировать в определенной степени реализацию своих моделей таким образом, чтобы другой лучше понимал его» [41].

Изучение высказывания в связи с ситуацией речи начато было у нас в конце 20-х годов и связано в первую очередь с именами Л. П. Якубинского, Г. О. Винокура, Б. А. Ларина, В. Н. Волошинова. В книге «Марксизм и философия языка» Волошинов ввел понятие ближайшей социальной ситуации. Высказывание, по Волошинову, строится между двумя социально организованными людьми, и если реального собеседника нет, то он предполагается в лице, так сказать, нормального представителя той социальной группы, к которой принадлежит говорящий. «Слово ориентировано на собеседника, ориентировано на то, кто этот собеседник: человек той же социальной группы или нет, выше или ниже стоящий (иерархический ранг собеседника), связанный или не связанный с говорящим какими-либо более тесными узами (отец, брат, муж и т. п.). Абстрактного собеседника... не может быть; с ним действительно у нас не было бы общего языка ни в буквальном, ни в переносном смысле... Ближайшая социальная ситуация и более широкая социальная среда всецело определяют — притом, так сказать, изнутри — структуру высказывания» [42].

В 60-е годы к идеям Якубинского и др. вновь обратился А. А. Холодович, призвавший обсудить само понятие типологии речи в связи с развившимся у нас интересом к общим вопросам социологии языка. В статье «О типологии речи» Холодович выделяет пять признаков речевого поведения человека: 1) средство выражения речевого

[41] *Косериу Э.* Синхрония, диахрония и история. Проблема языкового изменения.— В кн.: Новое в лингвистике, вып. 3. М., 1963, с. 190.

[42] *Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка (Основные проблемы социологического метода в науке о языке). Л., 1929, с. 101—103.

акта (звук, письменный знак, жест); 2) степень коммуникативности; 3) ориентированность речевого акта (предполагается ли реакция получателя или речь однонаправлена, как, например, речь диктора по радио); 4) квантификативность речевого акта (количество получателей — от одного до многих); 5) контактность или дистантность речевого акта. «Если все эти признаки являются логически независимыми,— отмечает Холодович,— то их можно считать дифференциальными признаками речевого акта и на их основе построить типологию речи. В этом случае мы будем иметь $2^5=32$ типа речевого поведения, каждый из которых будет характеризоваться своим набором дифференциальных признаков» [43].

Общесоциологические проблемы типологии речи не должны затемнять для нас, однако, собственно нормативного ее аспекта. В обычных условиях мы легко и непринужденно (в разговорной речи — автоматически) приспосабливаемся к особенностям того или иного типа речи. «Член языкового коллектива,— писал В. Н. Волошинов,— нормально никогда не чувствует гнета непререкаемых для него языковых норм. Свое нормативное значение форма языка осуществляет лишь в редчайшие моменты конфликта, нехарактерные для речевой жизни (для современного человека — почти исключительно в связи с письменной речью)... Критерий правильности применяется нами к высказыванию лишь в ненормальных или специальных случаях (например, при обучении языку). Нормально критерий языковой правильности поглощен чисто идеологическим критерием: правильность высказывания поглощается истинностью данного высказывания или его ложностью, его поэтичностью или пошлостью и т. п.» [44]

Парадокс автоматизма — легкого владения сложным механизмом родного языка — отмечается языковедами. Ср., например, высказывание В. Матезиуса: «Обыкновенный говорящий в непринужденном разговоре бессознательно следует сложным языковым правилам, сущность

---

[43] *Холодович А. А.* О типологии речи.— В кн.: Историко-филологические исследования. Сб. статей к 75-летию акад. Н. И. Конрада. М., 1967, с. 208. Критический разбор этой работы см.: *Будагов Р. А.* О типологии речи.— Рус. речь, 1967, № 6.

[44] *Волошинов В. Н.* Указ. соч., с. 83—84.

которых языковеды с трудом постигают в своих теоретических исследованиях» [45].

Вместе с тем оценочность, проявляющаяся в затруднениях выбора или в сопутствующих речи комментариях, пронизывает речевую деятельность. Правда, эта оценочность обычно не затрагивает механизма порождения речи и тем самым не мешает и не противодействует ее автоматичности. Оценки языковых явлений возникают тогда, когда говорящий и пишущий стоят перед выбором из двух (или ряда) параллельных форм (например, синтаксических или вообще грамматических). Когда эти формы не связаны ни с какими различиями семантического или стилистического плана и являются по существу дублетами, одна из них постепенно перестает употребляться в литературном языке, уступая место другой (ср. *в адрес* и *по адресу*). Однако появление и сохранение параллельных грамматических форм может обусловливаться перекрещиванием противоречивых аналогий [46].

В связи с этим принципиально важно разграничивать позицию говорящего «спонтанно» и позицию исследователя-языковеда. С точки зрения первого, многочисленные случаи типа *два белых камня* (*два белые камня*) не представляют конфликта: он говорит так, как слышит от других, как ему привычнее и удобнее. Напротив, исследователь собирает и накапливает факты такого рода, выстраивает их в последовательный исторический ряд, анализирует стилистически в синхронном плане и т. п., другими словами, ищет языковую мотивированность в немотивированности речевой.

Наряду с различением позиций говорящего «стихийно» и исследователя речи следует различать уровень посылки (говорения) и уровень приема (слушания). На «приеме» нормативная строгость выше, чем на «посылке» (это связано с анализом сообщения и в содержательном и в формальном планах). Различного рода поправки и возражения на уровне приема находят отражение в языке художественной литературы. Ср. разговор капитана с матросом:

---

[45] *Матезиус В.* Язык и стиль.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. Сб. статей, с. 475.

[46] Многочисленные примеры, подтверждающие это, см.: *Шмелев Д. Н.* Некоторые вопросы развития и нормализации современного русского языка.— Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1962, т. 21, вып. 5, с. 423 и след.

— И я тебе заорал: «Эй, кто там ручки замарать боится?! Жизнь надоела?»

— Так точно, вы это заорали.

«Хамит,— отметил Басаргин. И поправился: Нет, дерзит».

— Ты хотел сказать, что я это закричал?

— Да, Павел Александрович, простите, вы закричали. И на марсе я снял перчатки (В. Конецкий, Кто смотрит на облака.— Знамя, 1967, № 1). Ср. также следующий диалог:

— Вчера — сто сорок прóцентов по участку.

— Процéнты — это не показатель, лучше моего знаешь. Ледяночку полить, снежок раскидать. Так они и набегают, процентики (А. Клещенко, Распутица кончается в апреле.— Звезда, 1961, № 5).

Среди вариантов сосуществующих в языке, следует различать, с одной стороны, варианты в пределах нормы, а с другой — варианты, из которых один нормативен, а другой (другие) ненормативен. Поскольку накопление и исчезновение тех или иных языковых элементов происходит одновременно, то в языке допустимы и неизбежны нормативные колебания, когда одна и та же языковая единица может иметь две формы (например, в произношении: более новое [дв'ер'] наряду со старым [д'в'ер'] или более новое [слаткий] наряду со старым [слаткый] и т. п.). Обычно более новая форма вытесняет более старую. «Однако не всегда можно решить, какая форма является новой и прогрессивной, а какая — старой, отмирающей. При этом не следует забывать, что не всегда появление двояких форм бывает вызвано борьбой старого и нового. Иногда эта двойственность возникает в результате искажения литературной нормы недостаточно грамотными людьми или в результате проникновения в язык тех или иных диалектных явлений и т. д.» [47] Приведем некоторые примеры.

Забвение буквального смысла устойчивого выражения на русской почве может отражать естественный процесс языкового развития. Об «избыточности» и тавтологии здесь можно говорить, по-видимому, лишь с точки зрения наблюдателя и исследователя. Ср. *первое боевое крещение* (вместо традиционного *боевое крещение* 'первое участие в бою') в текстах, отражающих профессиональное употребление в речи военных: Танковый экипаж братьев

[47] *Барсукевич Л.* Становление и развитие нормы в русском литературном языке.— Język rosyjski, 1961, № 4, с. 7.

Григорьевых вскоре завоевал славу лучшего по боевой и политической подготовке... А вскоре Григорьевы получили *первое боевое крещение* (Красная звезда, 1964, 9 мая); Итак, в ту ... ночь я получила свое *первое боевое крещение* (С. Александровская, Небо войны.— Знамя, 1967, № 3).

Вряд ли может быть объяснено таким же избыточным распространением тавтологическое выражение *мемориал памяти кого-н.* (вместо *мемориал кого* или *чей*): В Гаване стартовал V *мемориал памяти* Хосе Рауля Капабланки (Веч. Москва, 1967, 28 авг.).

И наконец, только неумеренной тягой к «обновлению» (на базе замены одного заимствования другим) можно объяснить устойчивое употребление слова *дилемма* не в обычном его смысле (выбор из двух взаимоисключающих возможностей), а в значениях ‘вопрос, проблема вообще’ и т. п. в газетных текстах конца 60-х годов: Конькобежная *дилемма*. Такого в Швеции не случалось лет 20: на два места в национальной конькобежной сборной претендуют сразу 4 скорохода (Сов. спорт, 1968, 14 янв.); Ты или вы? У этой *дилеммы* миллионы решений, единую формулу вывести невозможно... (Неделя, 1968, № 4). Ср. также *дилемма* в значении ‘трудная задача, проблема’ в статье М. Стуруа (Известия, 1968, 3 янв.) и в переводной статье еженедельника «За рубежом»: *Дилеммы* пересаженного сердца (1968, № 10). В статье под таким заголовком читаем: Первые трансплантации сердца поставили множество вопросов медицинского и морального характера; острая проблема...; вопрос (решили); моральные проблемы и т. п.

Н. И. Конрад рассказывает о развитии в наши дни публичной речи и строгой терминированности разных видов международных дискуссий в западных странах: «В специальных работах, посвященных этому виду публичной речи, различаются дискуссии типа лекций, так называемые round-table discussion или, иначе, free-talking, а также panel discussion, forum discussion, simposium... Каждая из этих форм имеет свои отличительные признаки. Так, например, «форумом» именуется дискуссия, состоящая из выступления нескольких (обычно пяти — шести) специалистов по определенному вопросу с изложением каждым своей точки зрения и последующего обсуждения слушателями этого вопроса. «Симпозиумом» называют обмен мнениями по какому-нибудь вопросу, имеющий целью не вынесение того или иного решения или достиже-

ние какого-то общего мнения, а только ознакомление с разными точками зрения» [48].

Наша пресса, заимствовав слова *симпозиум* и *форум*, не восприняла их смысловой нагрузки и семантической обусловленности. *Симпозиумом* называют совещание и съезд — не только научные (при заимствовании это относилось лишь к международным научным встречам), ср.: *симпозиум* кинематографистов Киргизии и Казахстана (Всесоюзное радио, 1966, 28 янв.).

Что касается слова *форум*, то оно используется обычно как экспрессивный синоним (в заголовке статьи) существительного *конференция* (употребляемого в тексте статьи, информации): *Форум* молодых экономистов-аграрников. Они приехали в Москву со всех концов страны... Это первая их *конференция*... (Эконом. газета, 1965, № 47); Важный *форум* (о первой конференции солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки) (Известия, 1965, 21 дек.) [49]. Дальнейшая метафоризация слова *форум* приводит к его употреблению в совершенно несвойственных ему значениях — чемпионат: *Форум* европейских фигуристов (Правда, 1966, 2 февр.); международный фестиваль: ...23 августа здесь (в Лужниках) открывается Международный фестиваль мод... Монетный двор в Ленинграде приготовит памятные медали для участников *форума* элегантности (Неделя, 1967, № 30).

Злоупотребление словом *форум* при расплывчатости его семантики и внешней экспрессии приводит к сатирическому его обыгрыванию в газетном фельетоне: Предположим, завтра я хочу собрать совещание начальников и мастеров цехов. Если я объявлю, что назначено просто совещание, они мне там такого наговорят, что держись! Но я делаю умнее. Я вызываю художника и велю ему написать такое объявление: «Завтра, в четверг, в 14.00, в кабинете директора состоится общефабричный *форум* командиров производства. После *форума* — кино». И, знаете, это ста-

[48] *Конрад Н. И.* О языковом существовании.— В кн.: Японский лингвистический сборник. М., 1959, с. 12.

[49] Сходная картина наблюдается в употреблении в современной публицистике слова *вернисаж* в расширительном значении «выставка, экспозиция» и т. п., ср.: *Вернисаж* в заповеднике (заголовок). В Астраханском государственном заповеднике открылся биологический музей (Сов. культура, 1977, 19 авг.); *Вернисаж.* Торжественное открытие художественной выставки (*Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 9-е изд. М., 1972).

вит людей в определенные рамки. *Форум* есть *форум*. Это уже почти праздник. А на празднике, сами знаете, не принято портить друг другу настроение (Э. Пархомовский, Строго между нами.— Известия, 1966, № 20).

Практически «процент колебаний... совсем невелик» [50], перечень колебаний и вариантов нормы в современном литературном языке достаточно определен: наиболее типичные из них рассматриваются грамматиками и словарями, справочной литературой по культуре речи. Однако в теоретическом отношении важно рассмотреть не только типовые, «отстоявшиеся» случаи вариативности, но и всякого рода случайности и частности, без которых невозможно охарактеризовать общую картину постепенного преодоления вариативности в литературном языке. Борьба двух норм (если она происходит) «идет двумя путями: или одна из норм вытесняется, или они функционально размежевываются; часто эти два пути сочетаются друг с другом» [51].

Сложная ситуация преодоления «многонормативности» предполагает разные подходы к ее изучению и оценке. Определяющим, по-видимому, оказывается стилистический, функциональный подход. Вместе с тем в ряде случаев может быть применен метод математический: статистическая, частотная, вероятностная и т. п. оценка фактов вариантности, функционально незначимых (объективные дублеты, варианоиды и т. п.) [52]. И мы не можем согласиться с категорическими суждениями такого рода: «...при решении вопроса, какая из двух форм, наличествующих в языке в данный момент, является более прогрессивной, также ни в коем случае нельзя исходить из статистических данных» [53].

Что из нового считать отклонением от нормы? В общем виде этот вопрос принято решать так, как это было предложено Л. П. Якубинским еще в 30-е годы: «Не все то

[50] *Истрина Е. С.* Нормы русского литературного языка и культура речи. М.— Л., 1948, с. 17.

[51] *Панов М. В.* Русская фонетика. М., 1967, с. 297. Ср.: «Большинство минимальных искажений, остающихся в рамках нормы и не имеющих никакой функциональной значимости, не только не распространяется, но не имеет даже каких-либо шансов быть замеченными» (*Косериу Э.* Указ. соч., с. 196).

[52] Подробнее об этом см.: *Граудина Л. К.* Статистика и норма.— В кн.: Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970, с. 326 и след.

[53] *Барсукевич Л.* Указ. соч., с. 7.

новое, что появляется в национальном языке, в речевой практике носителей национального языка, является отклонением от его норм. Отклонением от норм является лишь то „новое", которое не дает ничего нового в области смысловой, только по поводу дублетов можно говорить о колебаниях нормы» [54].

При языковедческом подходе (предполагающем научный анализ явления) вопрос этот может быть решен с позиций «творимой нормы» — соответствия новообразования структуре (системе) языка и системе традиционных норм (см. выше). Однако на практике преобладает иной — стихийный — подход, состоящий в «подравнивании» собственной речи к чужой, признаваемой авторитетной в нормативном отношении. «Поскольку язык есть „навык, умение", то языку научаются от тех, кто „говорит лучше", от тех, кто умеет (или считается умеющим), а не от тех, кто не умеет» [55].

Реальное ощущение говорящими языковой нормы в конечном счете вытекает из их признания коллективного характера языка: «В самом языке как системе нет ничего, что противоречило бы „литературности" определенных форм слова или слов или правил словосочетания. Однако если эти формы и слова кажутся нам неприемлемыми, то потому, что источник их распространения „не авторитетен" для нас в языковом отношении» [56].

Фактор социального престижа — важный внеязыковой стимулятор и «регулировщик» нормативных установлений и оценок. Для русского языка советской эпохи этот фактор приобретает решающее значение. Языковые нормы (и сам язык) развиваются у нас в условиях широкой доступности социально-авторитетных образцов, вводимых средствами массовой коммуникации — печатью, центральным радиовещанием, кино, театром, публичными выступлениями и т. п. «Наша эпоха характеризуется известной централизацией языкового развития. При этом бурный рост экономики и культуры в большей степени способствует обновлению традиционных форм, чем их консервации» [57].

---

[54] *Иванов А., Якубинский Л.* Очерки по языку. Л.— М., 1932, с. 155.

[55] *Косериу Э.* Указ. соч., с. 197.

[56] *Шмелев Д. Н.* Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964, с. 52.

[57] *Скребнев Ю. М.* К вопросу об «ортологии», с. 141.

Этот вывод, имеющий непосредственное отношение к практике лингвистических рекомендаций, к языковой политике наших дней, нельзя не признать справедливым.

Если исходить из теоретической предпосылки о том, что язык является функциональной системой, то изменения в нем следует искать в слабых точках этой системы — там, где она не вполне соответствует потребностям говорящих. «Однако „необходимые“ изменения ограничиваются устойчивостью традиции: сильная культурная норма может обусловить неограниченно долгое сохранение даже „несбалансированной“ системы» [58]. Вместе с тем еще Л. В. Щерба отмечал, что, «раз упростившись и избавившись от лишнего балласта, полученные системы держатся очень твердо и хорошо сохраняются (ср. склонения и спряжения)» [59].

В. В. Виноградов предложил при изучении нормы различать «степень ее обязательности и широту ее действия», учитывать неодинаковость ее «крепости» по отношению к разным сторонам языка, неоднородность нормализации в разных типах или стилях литературного языка: «Последовательный анализ норм современного русского литературного языка в этом плане может привести к выяснению типов и разновидностей норм и установлению их системы или иерархии» [60].

В этом смысле весьма интересны и ценны замечания Э. Косериу по поводу того, что «в различительном (фонетическом) преобладает система; в смысловом, и особенно грамматическом, преобладает норма» [61]. Действительно, исследователи современной русской фонетики предлагают оценивать перспективность той или иной произносительной нормы исходя из динамических тенденций русского языка. А эти динамические тенденции в свою очередь «определяются системными отношениями в фонетике, парадигматическими и синтагматическими» [62]. Зная синтагматические и парадигматические связи каждого орфоэпического дублета ([п'итак] и [п'атак], [шары] и [шэры], [ход'ат] и [ход'ут], [санет] и [сонет], [звер'] и [з'вер'],

---

[58] *Косериу Э.* Указ. соч., с. 231.
[59] *Щерба Л. В.* Восточнолужицкое наречие, т. 1. Пг., 1915, с. 193.
[60] *Виноградов В. В.* Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР. М., 1955, с. 57—58.
[61] *Косериу Э.* Указ. соч., с. 238.
[62] *Панов М. В.* Указ. соч., с. 299.

[к каму] и [х каму] и т. п.), можно предполагать, какая норма выживет, победит. Сбудется это предположение или нет, зависит в значительной степени от социальных факторов развития языка. «Перспективность нормы,— по мнению М. В. Панова,— еще недостаточное условие, чтобы ее рекомендовать. Два условия нужны, чтобы рекомендовать одну из орфоэпических норм-соперниц: 1) системная обусловленность („фонетическая неслучайность"), 2) употребительность („широкая распространенность")»[63].

Примером перспективной нормы, не подлежащей пока рекомендации, может служить аналогическое подравнивание существительных муж. рода и pluralia tantum к парадигме склонения существительных средн. и жен. рода с нулевым окончанием в род. п. мн. ч. (*колец, окон, сосен* и т. п.). Форма род. п. мн. ч. *рельс* (*поезд сошел с рельс*) в пособиях и статьях по культуре речи рассматривается обычно как образование по старому слову *рельса* (жен. рода). Между тем эта форма может быть поставлена в ряд других образований существительных именно муж. рода, а также pluralia tantum: На руке не хватает двух *палец* (из устной речи); Передайте там водителю: сзади нет *билет* (из устной речи); Преступники не оставили ни следов, ни *отпечаток* пальцев (Известия, 1967, 18 нояб.); Я ничего не вижу без *очок* (из устной речи) и т. п.

Давние и по-разному системно обусловленные ошибки вроде *одеть* (вместо *надеть*), *крайний* (вместо *последний*), *крепкое кофе* (вместо *крепкий кофе*) и т. п. становятся (если уже не стали) нормами обиходно-разговорной речи и имеют перспективу со временем стать нормами литературного языка. Однако установившийся на них взгляд как на нелитературные, «ошибочные» формы — в условиях расширения и укрепления кодификации — преграждает им путь (по крайней мере в ближайшие десятилетия) в литературный язык[64].

---

[63] Там же, с. 299—300.

[64] Ср. высказывания писателей по поводу глаголов *одеть — надеть:* «Уже давно не различают слов *одеть, надеть*...» (К. Федин — Звезда, 1929, № 9); «Алексей Максимович (Горький.— *Л. С.*) подверг суровейшему разносу языковые неточности, „болтовню", попытки мои к афористичности... Пресловутая путаница с *одел* и *надел* вдруг вывела его из себя:— Если вы литератор, даже и молодой, то будьте любезны в этих самых *одел* и *надел* навечно разобраться. Это основы ремесла. Или вы на редактора, может быть, надеялись? А редактор — на

Эволюция языковых норм должна быть изучена в связи с процессами языкового развития. В их описании и осмыслении следует учитывать и некоторое «распадение» или видоизменение их (в смысле крепости существующих тенденций, оценок и т. п.) по социальным и возрастным группам говорящих, а также движение норм во времени в пределах одного поколения (ср. явление «регресса», отмеченное Ф. Л. Скитовой для носителей диалектной речи). Все это — задачи будущих специальных исследований.

В настоящее время весьма ценными в нормативно-оценочном плане оказываются те исследования, которые на конкретном материале выявляют причины и основные движущие силы изменения и развития языка на разных уровнях. Так, говоря о лексико-семантических изменениях, Д. Н. Шмелев различает внеязыковые причины, к которым относит изменения в реальной действительности и изменения в составе носителей языка, а также собственно внутриязыковые причины [65]. Он выделяет основные движущие силы, которыми определяется развитие языка в целом: это, во-первых, стремление к мотивированности языкового знака (или тенденция к экспрессивности) и, во-вторых, стремление к автоматической воспроизводимости языкового знака (или тенденция к регулярности) [66].

В. В. Виноградов считал одной из характерных черт в развитии разных функциональных сфер русского устного речевого общения в советскую эпоху «наряду с широким распространением элементов канцелярского, официально-делового или документального стиля немотивированное применение письменно-книжных оборотов

корректора?.. Я молчал» (Ю. Герман, О Горьком.— В кн.: Операция «С новым годом!». М., 1964, с. 384); «Я разделяю чувства преподавателя языка, пусть даже несколько педанта, который мучительно переносит те языковые неряшливости, искажения, мелькающие, к сожалению, даже и в большой нашей печати. Я сам, как песчинку в хлебе, попадающую на зуб, не выношу слова *одел* шапку, а так упорно почему-то пишется вместо *надел*...» (А. Твардовский, Речь на Всероссийском съезде учителей.— Лит. газета, 1960, 9 апр.).

[65] *Шмелев Д. Н.* Очерки по семасиологии русского языка, с. 55.

[66] Там же, с. 240. См. также написанные Д. Н. Шмелевым главы в книге: Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка, с. 92 и след.

и конструкций, выходящих за границы своих стилистических норм» [67].

Такого рода анализы механизма эволюции языка на разных его уровнях позволяют конкретизировать и уточнять нормативные оценки, дают надежный критерий для разграничения «ошибочного» и нового, «отклонения» и естественного изменения. «Что же касается изменений в языке, — писал Э. Косериу, — то это не „искажение" или „повреждение", как говорят, используя натуралистическую терминологию, а восстановление, обновление системы, которое обеспечивает ее непрерывность, ее функционирование. Язык создается посредством изменения и „умирает" как таковой, когда он перестает изменяться» [68].

Подлинная культура речи предполагает владение формами и стилями современного литературного языка в соответствии с целями и задачами общения. «В основе всех разновидностей форм и стилей современной русской речи,— отмечает В. В. Виноградов,— лежит единая структура русского языка с ее функциональными вариациями» [69].

В понятие культуры речи входит знание реальной системы языка в ее историческом развитии и умение на этой основе давать нормативные оценки языковым явлениям; осуществлять научно обоснованную регулятивную лингвистическую функцию. «Понятие „культуры языка" (и „культуры речи"),— пишет В. В. Виноградов,— должно быть осмыслено в двух разных планах: объективно-историческом и нормативно-стилистическом, или инструктивно-регулятивном... Именно в плане научной теории и закономерностей развития системы того или иного живого языка и должны оцениваться новые явления в языке и отклонения от установившихся норм» [70].

В разграничении этих двух планов лежит, на наш взгляд, решение «парадокса» А. М. Пешковского о невозможности примирения объективной и нормативной точек зрения на язык.

Культура речи предполагает достаточно высокий

---

[67] *Виноградов В. В.* Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания.— ВЯ, 1964, № 3, с. 17.
[68] *Косериу Э.* Указ. соч., с. 343.
[69] *Виноградов В. В.* Проблемы культуры речи..., с. 5.
[70] Там же, с. 6.

уровень общей культуры человека. Знание исторических бытовых реалий, лежащих в основе крылатых слов и выражений, восходящих к античному миру, позволяет правильно и точно употреблять такие выражения, как *вернуться к своим пенатам*[71], *ахиллесова пята*, *нить Ариадны* и др. Но дело не только в этом. «Очевидным условием возможности культуры языка, — писал Г. О. Винокур, — является, во-первых, высокая лингвистическая сознательность говорящих, а во-вторых, тесно связанная с этим любовь к языку... Сами по себе лингвистические знания не могут воспитать лингвистического вкуса и лингвистической дисциплины, если они не предваряются культурностью говорящего. Культурность в общем смысле этого слова и является необходимым предварительным условием сознательной любви к языку»[72].

В плане общей теории высказывания (в связи с понятием социальной аудитории — разной в разных условиях общения) сходные положения выдвигались В. Н. Волошиновым: «Внутренний мир и мышление человека имеет свою стабилизированную социальную аудиторию, в атмосфере которой строятся его внутренние доводы, внутренние мотивы, оценки и т. п. Чем культурнее человек, тем более эта аудитория приближается к нормальной аудитории идеологического творчества»[73].

Набор «ошибок» и «отклонений» на разных уровнях языка представляет собой сложную шкалу языковых фактов и их оценок говорящими с позиций литературности. Если внутренняя «градуировка» может быть зыбка и неопределенна, формируясь по-разному для разных групп говорящих, то пограничные, предельные сигналы литературности — «лакмусовые бумажки нормы»[74] — осознаются обычно вполне отчетливо. Ср., например, признаки нелитературной речи на разных уровнях: *магáзин* (вм. *магази́н*), *обратно* (*поел*) (вм. *снова, еще раз*), *хочут*, *хочете* (вм. *хотят, хотите*), *лаболатория* (вм. *лаборатория*), оканье и «гэканье» (произношение фрикативного «г») и др.

В теоретическом отношении весьма важно определить, что́ вызывает сопротивление и оценку говорящих,

---

[71] *Винокур Г. О.* Из бесед о культуре речи.
[72] *Винокур Г. О.* Культура языка, с. 41.
[37] *Волошинов В. Н.* Указ. соч., с. 102.
[74] Выражение С. И. Ожегова.

а что́ естественно входит в их языковую практику. Последовательный анализ таких «полей нормы» определит слабые точки в их системе, противоречия и столкновения объективного узуса и субъективной по своей природе нормализации (кодификации норм), выделит участки, не подвергаемые (или принципиально не подверженные в силу чисто практических причин) регламентации и нормализации.

Конфликт узуса и нормы, давление речевого обычая на нормативные предписания разрешаются, как правило, в пользу этих традиционно сложившихся предписаний по закону социального престижа — принятого в данном обществе и в данную эпоху литературного употребления. Осознание этого лингвопсихологического конфликта отмечено и описано Э. Сепиром: «Иной раз мы можем почувствовать, как захватывает нас процесс языкового движения, даже если мы с ним боремся. Вероятно, большинство из тех, кто прочтет такую английскую фразу, как „Who did you see?" призна́ет „неправильной". Мы, люди начитанные, все еще стараемся говорить „Whom did you see?" („Кого вы видели?"), но чувствуем при этом некоторую неловкость (быть может, неловкость, соединенную с гордостью)... Мы можем даже взять на себя смелость утверждать, что большинство из нас втайне желали бы употреблять оборот „Who did you see?" Большая тяжесть спала бы с наших плеч, если бы некий божественный авторитет, более властный, чем поднятый кверху перст педагога, предоставил нам в этом отношении полную свободу выбора. Но мы не можем с полной откровенностью предвосхищать движение языка и вместе с тем поддерживать престиж своей образованности. Мы должны притвориться находящимися в неведении, куда мы идем, и довольствоваться своим внутренним противоречием — сознательным приятием претящей нам формы „whom" и бессознательным стремлением к „who"»[75]. Ср. с этим выражения и формы современной русской разговорной речи: *я покушал, обоими частями, моя супруга, крепкое кофе, ты мне позво́нишь* и т. п.

Важнейшей задачей в кругу проблем, относящихся к культуре речи, является изучение языковых норм — на всех уровнях — в их отстоявшихся формах, противоречиях и вновь развивающихся тенденциях. Явления нормали-

[75] *Сепир Э.* Язык. М.—Л., 1934, с. 122—123.

зации, по мнению В. В. Виноградова, должны исследоваться не только в историко-результативном, но и в динамическом аспекте [76].

При таком подходе к вопросам культуры речи можно отграничить круг теоретических проблем нормализации от проблем и задач смежных дисциплин (и в первую очередь стилистики), а также научно обосновать направление и формы разумной языковой политики наших дней. «Не надо думать,— отмечает Виноградов,— что проблема культуры языка... целиком совпадает с задачами и принципами стилистики литературной речи. Основная суть вопроса именно в том, что изучение культуры языка распространяется и на те социально-стилистические сферы речевого общения, которые в данный момент еще не включены в канон литературной речи и в систему литературных норм» [77]. Таким образом, выдвигается задача описания, изучения, теоретического обоснования форм и сфер языкового общения, традиционно не включаемых в круг литературной «языковой критики». В первую очередь это относится к нелитературным и окололитературным сферам — профессиональной речи, городскому просторечию, жаргонам и сленгу, разным видам полудиалектной и интердиалектной речи и т. п. Именно здесь мы вступаем в область формирования, утверждения, кристаллизации будущих литературных норм.

Позиция научной нормализации находится между полярными точками зрения и оценками, одна из которых связана со стихийным, или «научным», пуризмом, а другая — с убежденным антинормализаторством, апеллирующим нередко к народным истокам языка, демократическим его основам. Первая точка зрения у нас фактически сходит на нет [78], вторая поддерживается рядом писателей и в первую очередь А. К. Юговым [79]. Между тем еще в 1923 г. А. М. Пешковский отмечал, что «для литературного наречия (т. е. для литературного языка.— *Л. С.*) наивный нормативизм интеллигента-обывателя, при всех его курьезах и крайностях, есть единственно жизненное отношение», а «выведенный из объективной точки зрения

[76] *Виноградов В. В.* Проблемы культуры речи..., с. 15.
[77] Там же.
[78] Как на курьез можно указать на книгу А. В. Миртова «Говори правильно» (Горький, 1961).
[79] См.: *Югов А. К.* Судьба родного слова. М., 1962.

квиетизм был бы смертным приговором литературному наречию» [80].

Нигилистическое отношение А. А. Шахматова к нормализаторской деятельности языковедов в наше время можно считать окончательно преодоленным. В основе взглядов советских языковедов лежит признание принципиальной возможности регулировать социальную речевую деятельность, решать теоретические и практические вопросы культуры речи и языковой политики. Особенно много для этого сделано выдающимся советским языковедом Г. О. Винокуром. Проблема культуры речи, языкового воспитания, по мнению Винокура, «на практике будет разрешена тогда, когда каждому члену говорящего коллектива будет ясна разница между лингвистическими средствами, применяемыми в разных языковых жанрах» [81]. Культура языка осмыслялась Винокуром как стилистика в широком смысле слова, включающая две взаимно связанные сферы: 1) учение о средствах языка и 2) учение о языковых заданиях, с точки зрения разнообразного применения языковых средств в каждом из них. Стилистические нормы — как цель и вершина речевой культуры — должны устанавливаться на основе обобщения закономерностей развития языка. Из этого вытекает сформулированная Винокуром задача «правильно поставленного лингвистического воспитания» и «массового стилистического просвещения», которая продолжает оставаться актуальной и в наше время.

Г. О. Винокур одним из первых сформулировал задачи языковой политики: «Языковая политика есть не что иное, как основанное на точном научном понимании дела руководство социальными лингвистическими нуждами» [82].

Вместе с Е. Д. Поливановым, Л. П. Якубинским, Л. В. Щербой, В. Н. Волошиновым и др. Винокур заложил основы теоретического обоснования и осмысления языковой политики Советского государства: «Средняя линия употребления письменного языка, с одной стороны, удерживающая язык на высоком уровне современной культуры, а с другой — не допускающая отрыва его от народной

[80] *Пешковский А. М.* Объективная и нормативная точка зрения на язык.— Избр. труды. М., 1959, с 54.
[81] *Винокур Г. О.* Культура языка, с. 42; см. также многочисленные статьи 30—40-х годов.
[82] Там же.

почвы, и есть руководящая линия языковой политики Советской власти» [83].

Наука о культуре речи в собственно лингвистическом плане представляет собой теоретическую и практическую дисциплину, смежную со стилистикой языка и стилистикой речи, обобщающую их положения и выводы как с целью живого, оперативного воздействия на языковую практику, так и с целью «определения основных эстетических норм, форм и тенденций связи литературной речи с движением стилей художественной литературы» [84].

Дальнейшее развитие языкознания (в особенности его прикладных, практических областей) приводит в наши дни к новым подходам к проблемам нормативности и нормализации. Актуальными становятся следующие аспекты этих проблем: функциональная обусловленность нормы на разных языковых уровнях: прагматический аспект нормы и нормализации [85], далее — соотношение языковой структуры (системы) и нормы как конфликт структурно обусловленного и узуально манифестированного в языке; более строгое разграничение культуры речи и культуры языка; разработка общей теории высказывания (речевого поведения) и типологии речи; разработка теории вариантности и связанной с ней проблемы границ допустимых колебаний нормы; наконец, поиски точных методов в изучении нормы — проблема статистического подхода к выявлению и утверждению современной нормы.

В кругу исследований в области культуры речи целесообразно сочетать «осуществление практических задач — подготовку словарей современного русского языка, нормативно-стилистических, синонимических, фразеологических, словообразовательно-инструктивных и т. п.— с разработ-

[83] *Винокур Г. О.* Русский язык (Исторический очерк). М., 1963.
[84] *Виноградов В. В.* Проблемы культуры речи..., с. 9.
[85] Именно в этом состоит смысл осуществленного японскими лингвистами исследования по «языковому существованию», целью которого была выработка принципов рационализации языка и языковой политики в практических областях коммуникации (см.: *Конрад Н. И.* Указ. соч.). О теоретических истоках этого прагматического направления, связанных во многом с исследованиями М. М. Бахтина и В. Н. Волошинова, см.: *Неверов С. В.* Об истоках теории «языкового существования».— В кн.: Историко-филологические исследования. Сб. статей к 75-летию акад. Н. И. Конрада. М., 1967, с. 120 и след.; *Он же.* Основы культуры речи современной Японии (Теория языкового существования). Автореф. докт. дис. М., 1975.

кой широких теоретических проблем в области построения описательных грамматик нового типа, воспроизведения лексико-семантической системы современного языка, системы его стилей и т. д. Для решения этих задач должны быть использованы все живые и продуктивные методы современного языкознания — качественные и количественные, структурные и внутренние семантические и др.»[86]

Следует подчеркнуть, что и различие по «крепости», и характер варьирования норм в разных условиях общения определяют в целом состояние нормативной системы в данный исторический период развития литературного языка. Различия эти — двоякого плана — не выходят за пределы литературности, определяя полностью нормативную ситуацию национального языка данной эпохи.

«Проблемы литературно-языковой нормы и ее внутреннего содержания, степени охвата этой нормой в разные исторические периоды разных ярусов или уровней литературного языка, раскрытие социально-исторических условий и структурных качеств разных видов или типов нормы — все это также является одной из основ структурно-исторической дифференциации разных периодов и эпох истории литературного языка» [87]. В этом высказывании В. В. Виноградова отчетливо выражена важность изучения и описания норм для собственно лингвистической характеристики литературного языка и его исторической периодизации.

Литературный язык (природа норм, проблемы региональных «вариантов», хронологических и функциональных границ, периодизации)

Литературный язык — явление историческое. Сущность его определяется сложными соотношениями общенационального и литературного в пределах единого национального языка, динамическим взаимодействием с внелитературными сферами речи на разных этапах его развития. Однако основополагающим оказывается структура норм литературного языка на разных его уровнях, определяющая его границы и в историко-хронологическом и в собственно языковом (функциональном) отношениях.

[86] *Виноградов В. В.* Проблемы культуры речи..., с. 18.

[87] *Виноградов В. В.* Различия между закономерностями развития славянских литературных языков в донациональную и национальную эпоху. М., 1963, с. 8.

Литературный язык — высшая форма национального языка, признак национальной самобытности, носитель и посредник культуры и цивилизации. От других разновидностей национального языка литературный язык отличается тем, что его функциональное и стилистическое расслоение гораздо сложнее и богаче. Это вытекает из более широких задач литературного языка (по сравнению, скажем, с диалектной речью), большей осознанности и обязательности его норм, преобладания публичных и письменных форм проявления и т. п.

Понятно, что существование языковых норм не ограничивается сферой исключительно литературного языка. И в диалектах и в просторечии есть свои «нормы». Однако нормы диалекта не осознаются как обязательные и осуществляются только косвенными средствами — негативно (сопровождаясь оценками: «так не говорят», «мы так не скажем» и т. п.). По мнению Б. Гавранека, в принципе нормы литературного языка отличаются от норм народного (диалектного) языка не по существу, т. е. качественно, а лишь по степени обязательности и осознанности, т. е. количественно [88]. Стремление к стабильности, устойчивости — имманентный признак любой нормы. Но лишь в литературном языке эта стабильность и обязательность норм подкрепляется их кодификацией (фиксацией, описанием) в соответствующих авторитетных руководствах — словарях, грамматиках и разного рода справочниках.

«Термин „литературный язык“ в том смысле, как он употребляется, обозначает не особый, самостоятельный язык, противостоящий общенародному, а только определенный слой языка, управляемый особыми нормами... Мы приписываем нормам литературного языка качества особой „правильности“ и „общеобязательности“, в противоположность нормам (естественным.— *Л. С.*), господствующим в диалектах и просторечии» [89].

А. М. Пешковский (1923) считал наличие языкового идеала у говорящих главной отличительной чертой литературного языка, формирующей и созидающей его. С точки зрения естественного процесса речи, «с точки зрения, так сказать, физиологии и биологии языка эта черта совершенно неестественна. Но эта-то неестественность и оказывает-

[88] *Havránek B.* Op. cit.

[89] *Томашевский Б. В.* Язык и стиль.— В кн.: Томашевский Б. В. Стих и язык. М.— Л., 1959, с. 326.

ся как раз условием существования литературного наречия» [90]. В литературном языке, отмечал Пешковский, в отличие от естественных языков и наречий, конституирующим является стремление нормализовать свою речь, говорить не просто (понятно), а как-то. Языковой идеал, по Пешковскому, характеризуется консерватизмом (устойчивостью во времени) и прикрепленностью к определенной местности (социальный престиж местного говора, возведенного в ранг нормы). «Если для общения людей вообще необходим язык, то для культурного общения необходим как бы язык в квадрате, язык, культивируемый как особое искусство, язык нормируемый» [91].

О повышенных требованиях к литературному языку писали представители Пражского лингвистического кружка. С такого рода требованиями связан и более упорядоченный и нормативный характер литературного языка (по сравнению с другими формами национального языка, в первую очередь народным языком — диалектами). «Литературный язык характеризуется более широким функциональным употреблением лексических и грамматических элементов... и изобилием социальных лингвистических норм» [92].

Абсолютизация функционального подхода к литературному языку приводит некоторых современных исследователей к категоричному выводу о том, что «определяющей чертой литературного языка является преодоление в нем нефункционального различия единиц» [93]. Разграничивая две формы существования национального языка — литературный язык и территориальные говоры, М. В. Панов полагает, что для последних в целом характерно нефункциональное разнообразие, которому литературный знак противопоставляет единство: он существует для всей территории распространения русской речи; его взаимодействие с диалектами и обогащение за счет диалектов ведут не к увеличению синонимии внутри литературного языка, а к функциональному размежеванию и к усложнению системы языковых единиц. Полагая далее, что нормы диалектной речи построены конъюнктивно (допускается и то

[90] *Пешковский А. М.* Избр. труды, с. 54.
[91] Там же, с. 59.
[92] Тезисы ПЛК.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. Сб. статей, с. 27.
[93] *Панов М. В.* Русский язык.— В кн.: Языки народов СССР, т. 1. М., 1966, с. 55—56.

и другое), Панов противопоставляет им нормы литературного языка, построенные не конъюнктивно, а дизъюнктивно (допускается или то, или другое; в одних условиях — одно, в других — другое). Наличие двух единиц, функционально тождественных, не различающихся,— уродливость и исключение для литературного языка [94].

Основная черта литературного языка — преодоление нефункционального различия единиц — противопоставляется автором всем другим его чертам как несущественным, неопределяющим. К таким неопределяющим чертам литературного языка отнесены: а) нормированность (ибо нормы есть и в диалектах), б) стилистическая дифференциация, в) общеобязательность и г) «поливалентность». Признавая, что каждая из этих черт не определяет сущности литературного языка, можно, однако, думать, что определяющей оказывается их совокупность (в которой присутствует определенная иерархия), тогда как попытки ограничиться единственной чертой при всей их видимой стройности оказываются во многом противоречивыми.

Действительно, если рассматривать преодоление нефункциональности в литературном языке как стремление к упорядоченности (нормативной, стилистической), то в сущности выделяемая в качестве основной черта сводится к нормативности, нормированности. К тому же, как было сказано выше, здесь речь идет не о нормах вообще, а о нормах особого качества — литературных нормах.

Функциональное размежевание и усложнение языковой системы может быть сведено к стилистической дифференциации литературного языка. Синонимические средства в этом случае играют значительную роль и не могут рассматриваться как «уродливость» или «исключение». Ср. мнение Л. В. Щербы по поводу создания настоящей и полной стилистики русского литературного языка: «В этой стилистике русский литературный язык должен быть представлен в виде концентрических кругов — основного и целого ряда дополнительных, каждый из которых должен заключать в себе обозначения (поскольку они имеются) тех же понятий, что и в основном круге, но с тем или другим дополнительным оттенком, а также обозначения таких понятий, которых нет в основном круге, но которые имеют данный дополнительный оттенок. Из всего сказанного ясно, что развитой литературный язык представляет собой весьма

[94] Там же, с. 56.

сложную систему более или менее синонимичных средств выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом» [95].

Противопоставление конъюнктивности диалектных норм дизъюнктивности норм литературных также оказывается во многом искусственным: оговорка, что выбор средств может зависеть от условий, сводит дизъюнкцию к конъюнкции (с наложением на последнюю определенных стилистических ограничений). Таким образом, подтверждается вывод представителей Пражской школы о том, что нормы литературного языка и диалектов не различаются в качественном отношении, а противопоставлены лишь количественно (см. выше). Наконец, к общеобязательности, отвергаемой М. В. Пановым, сводится его утверждение о единстве литературного языка, о том, что он существует для всей территории русской речи. Кстати, это общее положение требует определенных уточнений. Единство литературного языка «на всей территории» не исключает некоторого варьирования его норм на отдельных участках этой территории.

Проблема местных (региональных) вариантов литературного языка в русском языкознании пока еще остается не до конца решенной. Где пределы дробления единства, за которыми нельзя уже говорить о единстве, и как объединить «всеобщность» литературного языка и его норм с объективными разновидностями на разных территориях?

Е. Ф. Будде (1926) не признавал «диалектных» отличий в пределах литературного языка. Современные исследователи орфоэпии допускают местные разновидности литературного произношения, возникающие под влиянием диалектов [96].

«Местные варианты русского литературного языка,— отмечает Р. Р. Гельгардт,— создавались в результате сложных исторических процессов, которые не приводили к возникновению новой языковой единицы, существенно отличной от системы языка литературного, но которые вызывали в отдельных моментах сближение литературного языка с областными диалектами» [97].

Рассматривая проблему местных разновидностей литературного языка, исследователь исходит из общих законо-

[95] *Щерба Л. В.* Современный русский литературный язык.— РЯШ, 1939, № 4.

[96] См. об этом: *Панов М. В.* Русская фонетика, с. 294.

[97] *Гельгардт Р. Р.* Литературный язык в географической проекции.— В кн.: Гельгардт Р. Р. Избр. статьи. Калинин, 1967, с. 249 (см. также: ВЯ, 1959, № 3).

мерностей распространения литературного языка в условиях диалектов, «экспансии» литературности в говорах. «В настоящее время города утрачивают свою роль единственных центров распространения норм русского литературного языка, и близость той или иной сельской местности к городу уже не является непременным условием воздействия литературного языка образованных горожан на речь носителей местных диалектов. Литературный язык распространяется через различные каналы, и под его воздействием возникают разные ступени приближения местной диалектной речи к общелитературной норме» [98].

Помимо «диалектных» разновидностей литературного языка (или разновидностей на диалектном субстрате) существуют «национальные» разновидности (на субстрате национального языка). В последнем случае следует разграничивать речь русских в условиях иноязычного окружения, с одной стороны, и русскую речь людей, для которых русский язык неродной,— с другой. Национальные разновидности русского литературного языка также остаются предметом дискуссионным, существование их оспаривается рядом исследователей. «Вызывает возражения распространенная точка зрения, согласно которой безоговорочно оправдываются национальные варианты русского литературного языка. Нормы правильной русской речи, распространяемые печатью, радио и другими средствами массовой коммуникации, должны быть едиными для всех, кто пользуется русским языком»,— пишут В. П. Григорьев и М. И. Исаев в статье «О культуре русской речи у нерусского населения» [99]. Авторы делают, правда, оговорку, что «общая задача „по-русски произносить так, как произносят сами русские, говорящие на русском литературном языке“ (А. А. Реформатский, 1961), остается необходимым, хотя и идеальным, предельным требованием» [100].

В многосторонней и сложной проблеме региональных разновидностей (вариантов) литературного языка следует, по-видимому, разграничивать следующие вопросы: 1) степень освоения литературного языка (варианты строятся по линии «литературность» — «нелитературность»), 2) ва-

[98] *Гельгардт Р. Р.* Избр. статьи, с. 250–251. Подробнее о взаимодействии литературного языка с диалектной речью см.: *Коготкова Т. С.* Литературный язык и диалекты.— В кн.: Актуальные проблемы культуры речи, с. 104 и след.

[99] Рус. речь, 1967, № 6, с. 15.

[100] Там же, с. 10.

рианты в пределах литературного языка, 3) выделяемые с учетом предыдущего разграничения варианты литературного языка (литературный язык с более или менее отчетливой окраской «иноязычия» или «диалектности»).

Важность такого рода разграничения четко осознавали представители Пражской лингвистической школы, обращавшиеся к проблемам территориальных вариантов литературного языка. «Какие проблемы стоят перед чешской теорией литературного языка в связи с существованием в литературной норме территориальных вариантов? Во-первых, проблема отграничения региональных вариантов, которые уже принадлежат норме литературного языка или во всяком случае обнаруживают тенденцию стать ее составной частью, от нелитературных региональных вариантов. Особенно существенна проблема объективного определения этой границы, а также проблема оценки территориальных вариантов, уже включенных в литературную норму»,— писал А. Едличка [101].

Возникновение региональных вариантов может быть связано с осуществлением двух тенденций в развитии литературного языка: тенденции к распространению, стремлению играть роль койне (общего языка), с одной стороны, и тенденции к монопольному положению как отличительной черте господствующего класса — с другой [102].

В исследованиях последнего времени проблема вариантности литературного языка и вариантов литературных норм приобретает широкое значение. К ней обращаются специалисты по разным языкам, решение ее не ограничивается конкретными историческими условиями и имеет часто общеязыковой характер. Так, в монографии, посвященной формированию норм немецкого литературного языка, Н. Н. Семенюк предлагает различать два аспекта, из которых складывается функциональная характеристика литературного языка,— внешний и внутренний [103].

К внешнему аспекту относятся следующие вопросы: формы реализации литературного языка (устная, письменная), территориальные и социальные сферы его использования, соотношение литературного языка с другими формами существования данного национального языка.

[101] *Едличка А.* О пражской теории литературного языка.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. Сб. статей, с. 555.

[102] Тезисы ПЛК.— Там же.

[103] *Семенюк Н. Н.* Проблема формирования норм немецкого литературного языка XVIII столетия. М., 1967, с. 7 и след.

Внутренний аспект включает характеристику конкретных способов реализации структурных потенций данной языковой системы, характеристику стабильности и — соответственно — диапазона их варьирования для разных уровней языка.

Вся совокупность внешних и внутренних функциональных характеристик языка включается исследователем в понятие нормы, «которое является для современного языкознания одним из необходимых общелингвистических понятий, использующихся при изучении языка» [104]. Действительно, если внешний аспект изучает структуру литературных норм в ее отношении к внелитературным воздействиям, то внутренний аспект характеризует норму в собственно языковом отношении, «изнутри» и преимущественно в плане функциональной вариативности.

Норма определяет характер реализаций тех структурных потенций, которые заложены в системе. Она ограничивает и регулирует использование в языке различных изофункциональных средств. Иными словами, она выполняет две взаимосвязанные функции: функцию реализации и функцию распределения. С этой точки зрения литературный язык характеризуется тремя существенными признаками: 1) участием в его формировании нескольких языковых систем (территориальные диалекты, региональные варианты); 2) распространением на значительной территории и 3) полифункциональностью (по терминологии В. В. Виноградова — «поливалентностью»), порождающей сложную коммуникативную и экспрессивную структуру. При этом характеристика вариантности становится одним из необходимых признаков, из которых складывается понятие литературной нормы.

Проблема вариантов, обусловленных развитием языка (или исторически обусловленных вариантов), была выдвинута чешскими языковедами в тот период, когда они выступили против кодификации архаического состояния языка, против сильной акцентировки консервативных черт литературного языка, характерной для старой теории [105]. Допустимость исторически обусловленных вариантов была связана с попытками чешских ученых выявить динамический характер нормы, признать эволюцию процессов,

---

[104] Там же, с. 7.
[105] См. об этом: *Едличка А.* Указ. соч., с. 549.

совершающихся в литературном языке: «Развитие нормы совершается именно благодаря вариантам, они являются, как правило, переходными формами от одного качества к другому; вместе с тем их позитивная роль состоит в том, что они весьма часто служат средством стилистической дифференциации» [106].

Проблема структурных и хронологических рамок современного литературного языка связана непосредственно с оценкой внешнего и внутреннего аспектов его функциональной характеристики. Нормированная (литературная) и ненормированная формы национального общения в новых социальных условиях советского периода взаимно проницаемы и во времени относительны. «Включение в норму ненормированных явлений — дело времени, необходимого на преобразование стилистических традиций литературной речи» [107].

Учение о культуре речи не ограничивается описанием установившейся структуры (даже с учетом ее «слабых», развивающихся точек или областей). Для того чтобы быть перспективным, оно должно учитывать внешние, нелитературные воздействия на традиционную норму, опираться на объективную картину эволюции литературного языка, стимулированной социально. Именно в этой связи следует понимать утверждение В. В. Виноградова о том, что учение о культуре речи «распространяется и на те социально-стилистические сферы речевого общения, которые в данный момент еще не включены в канон литературной речи и в систему литературных норм» [108].

Элементы речевого общения, имеющие перспективы войти в литературный обиход и утвердиться в нем, располагаются на периферии литературного языка, в точках и областях его взаимодействия с городским просторечием, социально-групповыми диалектами, территориальными говорами, профессиональной внелитературной речью и т. п. При этом важно выделить системные образования — разновидности речи, обслуживающие определенные группировки людей, связанных общим занятием, профессией или территорией, местом жительства, т. е. оформленные социально. «Можно сказать,— писал Л. В. Щерба,—

[106] Там же, с. 553.
[107] *Ожегов С. И.* Лексика.— В кн.: Русский язык и советское общество (проспект). Алма-Ата, 1962.
[108] *Виноградов В. В.* Проблемы культуры речи...

что все изменения языка, которые потом проявляются и в монологической речи, куются и накопляются в кузнице разговорной речи... Я думаю вообще, что литературный язык меньше сам создает, чем берет созданное жизнью, а языковая жизнь бьется и кипит главным образом в разговорном языке отдельных человеческих группировок»[109].

Анализ взаимодействия литературного языка с просторечием позволяет выделить два типа (или направления) этого процесса: 1) «выравнивание» и «подтягивание» просторечия до литературности; 2) ассимиляция, поглощение просторечия литературным языком. Полюсами этого взаимодействия являются, с одной стороны, иноструктурные элементы в системе просторечия (например, книжная, деловая, иноязычная и т. п. лексика, своеобразно «обработанная» и освоенная) и, с другой стороны, литературная речь с установкой на «разговорность». Примеры того и другого в языке художественной литературы нередко оказываются отражением объективных речевых мозаик (ср., например, язык персонажей М. Зощенко, идущих в своем «речестрое» от имманентной просторечной стихии).

Взаимодействие территориальных говоров с литературным языком (называемое очень неточно «нивелировкой» говоров) начинается практически со времени оформления нормализованного типа речи. Этот процесс, протекавший весьма неравномерно в дореволюционное время, получил всеобщий характер в новых условиях существования русского языка как языка социалистической нации, поскольку именно в это время воздействие литературных норм «все более распространяется на говоры любых территорий, приобретает повседневный, систематический характер, непрерывно предоставляя в распоряжение носителей диалекта необходимый материал для сравнения их речевой практики с практикой носителей нормализованного типа языка»[110]. Теоретическое и практическое изучение этого процесса, его детализация и конкретизация заставляют критически рассмотреть и оценить принимаемый традиционно термин «нивелировка» в его содержательном пла-

---

[109] *Щерба Л. В.* Современный русский литературный язык.

[110] *Орлова В. Г., Строганова Т. Ю.* Закономерности развития диалектов русского национального языка.— Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1961, т. 20, вып. 5.

не[111]. Дело в том, что в новых условиях существования русского национального языка влияние литературных норм на говоры осложняется встречным процессом влияния народных говоров на систему литературных норм.

Взаимное влияние и взаимное обогащение русских народных говоров и литературного языка проходит по различным каналам. Между литературным языком в его функционально-стилевых ответвлениях, письменной и устной формах и диалектным яыком в его территориальном варьировании располагаются «разнообразные формы народно-разговорного языка, просторечия, „полудиалекта", одни из которых в большей или меньшей степени приближаются к литературному языку, другие — к диалектному»[112]. Усвоение диалектных элементов общей речью осуществляется через городское и диалектное просторечие («полудиалект»), интердиалекты, профессионально-терминологическую речь, книжные источники разных типов.

Элементы социально-групповых диалектов старых формаций приходят в литературный язык через диалектное просторечие, элементы новых жаргонных формаций — обычным путем, через экспрессивное просторечие и обиходно-разговорную речь. Процессы усвоения литературным языком внелитературных элементов имеют внешнюю (социальную) и внутреннюю (структурно-грамматическую) обусловленность.

Социально-исторические процессы оказывают значительное и непосредственное влияние на языковую эволюцию, на интенсивность внутриязыковых перераспределений. Новые функциональные задания литературного языка в революционную эпоху (необходимость говорить с революционными массами доступным им языком) привели к быстрому усвоению новых речевых особенностей традиционной литературной нормой. «Обыкновенно говорят,— писал Л. В. Щерба,— что изменение языковой системы происходит при смене поколений. Это отчасти так, но опыт нашей революции показал, что резкое изменение языкового материала неминуемо влечет изменение речевых норм даже у пожилых людей: масса слов и оборотов, несколько лет назад казавшихся дикими и нелепыми, те-

[111] *Оссовецкий И. А.* Влияние литературного языка на говоры. — В кн.: Русский язык и советское общество (проспект).

[112] *Аванесов Р. И.* Введение.— В кн. Русская диалектология. М., 1964, с. 7.

перь вошла в повседневное употребление»[113]. Эволюция языкового развития и смена литературных норм осложнены драматической, напряженной борьбой вкусов, традиций, социально-групповых и индивидуальных оценок фактов языка в нормативном плане.

Собственно внутриязыковые условия определяют характер взаимоотношения литературного и нелитературного в языке и самый механизм «олитературивания». Известно, например, что одни элементы разговорного стиля «олитературиваются» легко и непринужденно в пределах одного поколения говорящих, другие же так и остаются на уровне разговорных и не идут дальше пополнения традиционных средств художественной литературы в передаче диалектно-просторечной стихии (ср., с одной стороны, *запросто* и *просто, легко, задаром* и *даром, простыть* и *простудиться, днями* и *на днях* и т. п., а с другой — *скипятить* и *вскипятить, зачать* и *начать, убечь* и *убежать, аванец* и *аванс* и др.).

Одним из важнейших условий усвоения нормой нелитературных по происхождению элементов является степень их соответствия (или контрастности) системе литературного языка и нормы. В связи с этим можно выделить два типа (точнее, две стадии) «олитературивания»: 1) полная ассимиляция нелитературных по происхождению средств и 2) пополнение стилистических ресурсов литературного языка. Литературный язык, отмечал Л. В. Щерба, «принимает многое, навязываемое ему разговорным языком и диалектами... но лишь тогда, когда он (т. е. литературный язык.— *Л. С.*) приспособил новое к своей системе, подправив и переделав его соответствующим образом»[114].

Наряду с каналами непосредственного взаимодействия литературного языка с внелитературными сферами речи существуют области, переходные между литературным и нелитературным, где происходит «приспособление» инноваций к системе норм, «олитературивание». Для территориальных говоров — это интердиалект (а в функциональном отношении — литературно-диалектное «двуязычие»

---

[113] *Щерба Л. В.* О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании.— В кн.: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 29.

[114] *Щерба Л. В.* Современный русский литературный язык.— В кн.: Щерба Л. В. Избр. работы по русскому языку, с. 128.

говорящих), для социально-групповых разновидностей национального языка — это интержаргон (т. е. перекрещивающиеся части общебытового словаря разных жаргонов), в котором происходит относительная нейтрализация социально прикрепленных по происхождению элементов.

Исследователи эволюции русских народных говоров подчеркивают важность фактора структурной близости при усвоении литературных норм носителями диалектного субстрата и приходят к выводу, что литературный язык и диалекты находятся в состоянии динамического равновесия, которое непрерывно нарушается процессом их сближения [115].

Общее соотношение литературности и нелитературности в пределах национального языка оказывается исторически изменчивым и зависит от разных факторов: смены носителей литературной речи и самого эталона нормы (литературного «образца») в различные периоды, наличия (преобладания) установки речевой деятельности на «книжность» или «разговорность» в ту или иную эпоху, изменений в структуре национального языка, роста интенсивности информации, ее «количества», характера общественных дискуссий о языке, отражающих реальные языковые процессы в их оценочном восприятии, и т. п.

Что считать современным литературным языком? Где его хронологические и функциональные границы? Можно ли удовлетвориться абсолютизировавшейся некогда формулой «от Пушкина до Горького»? «Лексические и грамматические нормы, установленные Пушкиным, в основном сохранились до настоящего времени, однако было бы грубой ошибкой утверждать их полную тождественность с современными литературными нормами» [116].

Вопрос о границах современного в литературном языке решается по-разному. Особенно актуален этот вопрос для лексикографов — составителей современных толковых словарей; им его приходится решать практически, определяя круг источников для выборки материала. С. И. Ожегов предложил рассматривать язык советской эпохи как новый этап в историческом развитии русского литератур-

---

[115] См.: *Орлова В. Г., Строганова Т. Ю.* Указ. соч.; *Оссовецкий И. А.* Указ. соч.

[116] *Барсукевич Л.* Указ. соч., с. 12.

ного языка (по сравнению с языком XIX и даже начала XX в.) [117].

Условные границы для нового нормативно-стилистического словаря устанавливаются современными исследователями несколько иначе: началом «современного этапа» предлагается считать конец 30-х — нач. 40-х годов нашего века, поскольку на этот период падает окончание культурной революции, формирование новой по социальному составу советской интеллигенции, общее укрепление языковых норм, начало их кодификации на новой основе [118].

В рассуждениях и спорах по поводу хронологических рамок литературного языка нередко независимо от спорящих происходит подмена задач нормативной характеристики задачами исторического его описания. Об этом напомнил Ю. С. Сорокин. В случае нормативного словаря, пишет он, нас интересует не то, как, когда и при каких условиях сложились современные нормы, а то, что они есть, существуют, действуют. Подход к определению современности литературного языка должен быть функциональным, качественным, а не формально-временны́м: «Сложность определения границ лексической системы особенно увеличивается при обращении к литературному языку, сочетающему нормы и особенности живого актуального словоупотребления с исторической традицией» [119].

Итак, речь должна идти о литературном языке в его современных границах — функциональных, а не хронологических. Интересно отметить, однако, что период в 40—50 лет для современного этапа литературного языка называется исследователями разных стран; с этим периодом связывают и смену поколений, и реальное ощущение преемственности, и актуальность традиционно сложившихся и закрепленных в лучших образцах художественной прозы литературных норм. По-видимому, окончательное решение этого вопроса может быть связано с узким (в только что описанном смысле) и широким (с привле-

---

[117] См. предисловие к «Словарю русского языка» С. И. Ожегова (М., 1963, с. 3).

[118] См. об этом: *Горбачевич К. С.* Границы современного в толковых словарях.— Рус. речь, 1967, № 2.

[119] *Сорокин Ю. С.* О нормативно-стилистическом словаре современного русского языка.— ВЯ, 1967, № 5, с. 26.

чением активного классического наследия) пониманием сферы современных литературных норм и границ современного литературного языка.

Структурно-функциональная характеристика литературного языка на широком историческом фоне дана В. В. Виноградовым. В разные периоды развития общенародного языка литературный язык занимает разное место в его системе. В ранние периоды образования буржуазных наций литературным языком владеют сравнительно ограниченные социальные группировки. «Только в эпоху существования развитых национальных языков, особенно в социалистическом обществе, литературный язык как высший нормированный тип общенародного языка (разрядка наша.— *Л. С.*) постепенно вытесняет диалекты и интердиалекты и становится как в устном, так и письменном общении выразителем подлинной общенациональной нормы» [120].

В идеале литературный язык рассчитан на общенародное употребление. В связи с этим для него характерна генерализация форм и категорий, даже если эти формы по своему происхождению местные, локальные. Таким образом, выявляются две основные, конституирующие черты развитого литературного языка: 1) стремление к общенародности и 2) нормативность. «Понятие нормы — центральное в определении национального литературного языка (как в его письменной, так и разговорной форме») [121]. Этим двум чертам сопутствуют и подчиняются им другие характеристики национального литературного языка, в частности поливалентность, т. е. степень охвата им разных областей общественно-речевой практики, зависящая во многом от специфики социально-исторических условий его развития.

Далее В. В. Виноградов углубляет структурно-функциональную характеристику литературного языка национального периода и определяет его место в системе национального языка нового периода:

«Литературно-письменный язык, подчиняясь общим тенденциям национально-языкового развития, питаясь живыми соками народно-разговорной речи, вбирая в себя

---

[120] *Виноградов В. В.* Различия между закономерностями развития..., с. 15.

[121] Там же, с. 26.

наиболее ценные и наиболее целесообразные для нужд тех или иных сфер речевого общения диалектные средства, формируется в своеобразную, стилистически дифференцированную, семантически развитую нормализованную систему (разрядка наша.— *Л. С.*) внутри национального языка. Диалекты же как бы приспособляются к национальному языку, постепенно оттесняемые или вытесняемые и преобразуемые им. Они относятся к качественно иному уровню того же языка, так как кишат пережитками прошлого.

При таком понимании национальный язык рассматривается не как „мешок", куда втискиваются наряду с литературным и общенародным разговорным языком развитые социальные диалекты донациональной эпохи, но как сложная, динамическая и целенаправленная система, в которой — при ее глубоком внутреннем структурном единстве — происходит взаимодействие и взаимовлияние разных функциональных частей, неравноправных по своей общественной природе и историческому назначению»[122].

С практической точки зрения полезным оказывается дополнение структурно-функциональной характеристики литературного языка характеристикой «хронологической», вычленяющей важные периоды его развития в связи с особенностями внутриязыкового и внеязыкового (социального) порядка в каждом из них. Исследователь лексики русского языка послеоктябрьского периода С. И. Ожегов предложил, например, следующую периодизацию ее развития в конкретных общественных условиях.

Первый этап. Первые годы революции — 20-е годы. В общем виде характеризуется появлением новой общественно-политической терминологии и выпадением старой; наплывом в литературное употребление лексики просторечия, жаргонов и т. п.; относительной расшатанностью, неустойчивостью литературной нормы в связи с потерей языкового «идеала».

Второй этап. Период 30-х годов. Характерны следующие явления: бурный рост новой лексики, идущей из разных источников; известная стабилизация лексических норм; общественная борьба против «вульгарности» и загрязнения литературного языка, приведшая наряду с

[122] *Виноградов В. В.* Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. М., 1967, с. 43.

другими причинами к общей стилистической сглаженности языка художественной литературы и публицистики.

Третий этап. Период 40—50-х годов. Отмечен следующими чертами: широким усвоением новой научно-терминологической и общественно-политической лексики; возрождением в разных функциях лексических элементов, перешедших в первые годы революции в пассивный запас языка; усвоением литературным языком многих элементов лексического просторечия, жаргонов, профессионального словоупотребления. Языковая политика этого периода определяется борьбой за чистоту языка, главным образом против речевых штампов и жаргонного словоупотребления[123].

Периодизация истории русского литературного языка нового времени должна явиться закономерным итогом углубленного анализа характерных этапов становления и развития системы литературных норм. Объективные критерии для определения границ литературного языка могут быть выработаны лишь при опоре на достаточно большой и объективный языковой материал, характеризующий соотношение и взаимодействие сосуществующих элементов, стилистические перегруппировки в пределах литературной речи, процессы нейтрализации в ней социально ограниченных по происхождению структурных единиц и т. п.

Выработка этих критериев поможет исследователям точнее определить тенденции развития литературной нормы и указать важнейшие направления целенаправленной и эффективной языковой политики наших дней. Для современного этапа развития русского литературного языка можно было бы отметить следующие характерные черты: широкий поток научно-терминологической лексики и фразеологии (в условиях развития научно-технической революции): связанный с ним приток иноязычной лексики разных функциональных типов; дальнейшее усвоение литературным языком профессионального, диалектного и т. п. лексического материала. Языковые общественные дискуссии этого периода связаны с проблемами иноязычных заимствований, использованием диалектизмов в языке художественной литературы, терминообразованием и др. В соответствии с предложенной классификацией

[123] См.: *Ожегов С. И.* Лексика. «Русский язык и советское общество (проспект)».— В кн.: Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974, с. 58 и след.

этот период можно было бы характеризовать как четвертый этап (60—70-е годы).

Одним из наиболее острых и общественно значимых вопросов языкового развития в этот период следует считать отношение к иноязычным заимствованиям. Об этом писали журналисты, литераторы, языковеды, читатели газет и журналов[124]. В связи с этим необходимо остановиться на этой проблеме более подробно.

Иноязычные заимствования в нормативном аспекте

В проблеме иноязычных заимствований (если оставить в стороне общий пуристический, запретительный взгляд на них, рассмотренный в гл. I) следует выделить два аспекта. Первый из них связан с выделением самого объекта — круга (списка) заимствований, оцениваемых как ненужные или спорные в тот или иной период. Второй аспект — функциональный и научно-лингвистический подход к фактам заимствований.

Круг заимствований в каждую историческую эпоху определяется общественно-политическими, культурными и другими условиями и оказывается преходящим в эволюции литературного языка: отвергаемое в предыдущую эпоху становится обычным фактом речи (что-то при этом уходит вместе с эпохой и ее речевым бытом), для новых поколений и в новых условиях появляется другой набор (круг) обсуждаемых с нормативных позиций заимствований. И этот процесс идет вместе с развитием языка.

Для А. П. Сумарокова «порчей языка» были современные ему слова, для которых он находил несомненные русские эквиваленты: *фрукты* (плоды), *сервиз* (прибор), *веер* (опахало), *сюртук* (верхнее платье), *суп* (похлебка), *гувернантка* (нянька), *туалет* (уборный стол), *том* (часть) и др.; ср. также: *антишамбера* (передняя комната), *еложь* (похвала), *бонсан* (рассуждение), *едиция* (из-

---

[124] Кроме книг и брошюр К. Чуковского, Б. Тимофеева, А. Югова, К. Яковлева, названных в гл. I, см. публикации в «Литературной газете», например: Русский язык: проблемы реальные и мнимые. Беседа с Ф. П. Филиным (1973, 18 апр.); *Федоренко Н. Т.* Не перевести ли на русский? (1974, 30 янв.); *Петрова А.* Не назвать ли кошку кошкой? (1974, 13 марта); *Филин Ф. П.* Когда и как переводить на русский (1974, 17 апр.) и др.

дание книги), *жени* (остроумие), *едюкация* (воспитание) и т. п. («О истреблении чужих слов из русского языка»).

Через столетие В. Г. Белинский откликнется на эту статью Сумарокова, указав на ее значение для истории литературного языка: «Статья „О истреблении чужих слов из русского языка" может быть отнесена к любопытнейшим фактам истории русской литературы: она доказывает, что вторжение в наш язык французских слов и оборотов отнюдь не было следствием реформы Карамзина, ибо еще до него было в самом сильном разливе. Сумароков смеется над словами: *фрукты, сервиз, антишамбера, камера, сюртук*... Однако же если многие из этих слов вывелись из употребления, зато многие и остались; гений языка умнее писателей и знает, что принять и что исключить» (статья «Речь о критике», 1842).

Исследователи истории русского литературного языка XIX в. отмечают значительный наплыв заимствованных иноязычных слов в 30—70-е годы (что было связано с использованием новых идей и понятий влиятельной социальной среды; ср. такие слова, как *абсолют, абстракт, идеал, объект, прогресс* и т. п. и их производные) [125]. Общее количество заимствованных лексических гнезд, упрочившихся в русском литературном языке за эти десятилетия, составляет около 2 тыс. При этом заимствованные иноязычные слова занимают более 1/3 всего объема лексических неологизмов этой поры.

Для нашего времени сходные подсчеты сделаны Ф. П. Филиным [126] по данным словаря-справочника «Новые слова и значения» (М., 1971). Всего в словарь включено около 3500 слов, относящихся в основном к области специальной терминологии. Из них новообразований, созданных на базе русских языковых средств, оказывается около 20%, т. е. около 2800 слов — иноязычные заимствования (главным образом из английского языка). Среди заимствований 60—70-х годов основное место занимают термины. Совершенно ясно, что в составе общелитературного языка специальная заимствованная лексика не утрачивает своего терминологического характера. И здесь мы непо-

[125] *Сорокин Ю. С.* Развитие словарного состава русского литературного языка в 30—90-е годы XIX века. М.— Л., 1965, с. 58 и след.

[126] См.: *Филин Ф. П.* О структуре современного русского литературного языка.— ВЯ, 1973, № 2.

средственно подходим ко второму аспекту — функциональной, лингвистической оценке новых заимствований.

В статьях и книгах журналистов и писателей проблема иноязычных заимствований рассматривается обычно в нерасчлененном виде. В один ряд ставятся элементы научной и технической терминологии (*бойлер, барраж, преференция, дизайнер, прецессионный, дисплей, лазер, компьютер, стресс* и т. п.), экзотизмы и близкие к ним слова (*битл, кетч, хиппи, смог, лобби* и др.), искусственно созданные термины научной фантастики (*бластер*), иноязычные слова в общем употреблении (*кар, паблисити, ралли, эскалация, хобби* и т. п.).

Современные противники заимствований, делая исключение для исторических (традиционных, закрепившихся в употреблении) иноязычных слов, выступают практически против любых иностранных слов и нередко сводят проблему к решительному требованию искоренить иностранные слова (как символ иностранщины) во имя «русскости русского языка» (А. Югов). Засилье иноязычных слов прямо связывается с непонятностью и недоступностью научного языка, «сверхученой терминологией», которая «до неузнаваемости портит язык» (К. Яковлев).

Проблема заимствований стоит перед различными современными литературными языками. Это понятно в условиях укрепления разнообразных международных контактов, роста средств массовой информации в условиях мировой научно-технической революции. «Языки извлекают ресурсы не только из своих собственных запасов, — писал Ш. Балли, — они ищут их и в других языках. Заимствование всегда было нормальной функцией лингвистической жизни, но особо большое значение оно приобрело в современных языках»[127].

Теорию языкового заимствования исследователи до сих пор считают (и справедливо) недостаточно разработанной. Ю. С. Сорокин говорит о двух точках зрения в освещении этого вопроса, внешне друг друга исключающих, но сходящихся в общих теоретических основаниях[128]. Первая точка зрения в истории языкознания представлена различными пуристическими направлениями. Основной ее недостаток — неисторичность. Признавая законность того, что

[127] *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955, с. 348.

[128] *Сорокин Ю. С.* Развитие словарного состава..., с. 173 и след.

уже есть в языке, она отвергала то, что продолжает в нем складываться. Вторая точка зрения, противостоящая первой, признает неизбежность заимствований и с научных позиций смотрит на них как на главный источник «обогащения» словарного состава русского языка. Это позиция пассивного принятия любых заимствований, своего рода исторический фатализм. Обе эти точки зрения оказываются едиными в своей односторонней оценке явления заимствования (которое по самой своей сути двустороннее). И в том и в другом случае родному, заимствующему языку предписывается пассивная роль — простое принятие, усвоение чужеродных элементов.

Надо сказать, что этому современному взгляду на заимствования вполне созвучны общие положения, складывающиеся в достаточно строгую теоретическую концепцию, которые мы находим в статьях В. Г. Белинского (при ошибочности конкретных оценок). Ср., например: «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова „утрировать“ вместо „преувеличивать“...

Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без нужды, без достаточного основания противна здравому смыслу и здравому вкусу; но она вредит не русскому языку и не русской литературе, а только тем, кто одержим ею. Но противоположная крайность, т. е. неумеренный пуризм, производит то же следствие, потому что крайности сходятся» (статья «Взгляд на русскую литературу 1847 года»).

Нормальный процесс заимствования — акт творческий, активный. Он предполагает высокую ступень самобытности, высокую степень развития усваивающего языка. А. А. Потебня справедливо отмечал, что действенность и смысл языковых контактов заключаются не в количестве заимствований из языка в язык, а в тех процессах творческого возбуждения, творческой активности и силы, которые возникают в собственных средствах языка в результате этих контактов [129].

---

[129] См. об этом: *Булаховский Л. А.* А. А. Потебня. Киев, 1952, с. 7.

В статье 1966 г. Б. Гавранек писал: «Влияние чужого языка — не только внешний фактор, но также и нечто, связанное с внутренним, имманентным развитием языка, который избирает то, что требуется соответственно его структуре и (языковым) условиям его развития. То, что язык избирает, становится составной частью его имманентного развития, или, другими словами, активным является заимствующий язык, а пассивным — язык заимствуемый, и было бы неверно представлять это отношение обратным» [130]. Сказано это, может быть, излишне категорично, но в принципе правильно.

При научном подходе к заимствованиям важнейшим оказывается функционально-исторический принцип и критерий. Он учитывает характер ассимиляции иноязычного слова (которое обычно заимствуется в одном из значений: «терминологизируясь», оно порывает с родной стихией) и базируется на хорошем знании исторической перспективы.

Развитие литературного языка есть становление, совершенствование и обновление его норм в связи с новыми потребностями общества на новых этапах его истории. Будучи в основе своей языком русской нации, литературный русский язык остается вершиной национального языка и в наши дни. Замечательный русский педагог-демократ К. Д. Ушинский писал: «В языке своем народ в продолжение многих тысячелетий... сложил свои мысли и свои чувства. Природа страны и история народа, отражаясь в душе человека, выражались в слове» [131].

Специфические черты языка выявляются ярче всего из сравнения его с другими языками, сходными с ним по функциям и степени развитости; для деятелей русской культуры и государственности с конца XVII — нач. XVIII в. фоном для сравнения оказываются развитые национальные языки передовых западноевропейских государств. Из этих сопоставлений выводились требования, важные для развития общенационального русского языка на народной основе. Известно, например, как претила национальному русскому вкусу Петра I, преобразователя Русского государства, «праздная красота» — кудрявый и темный слог

[130] *Гавранек Б.* К проблематике смешения языков.— В кн.: Новое в лингвистике, вып. 6. М., 1972, с. 107.

[131] *Ушинский К. Д.* О первоначальном преподавании русского языка.— В кн.: Ушинский К. Д. Избр. педагог. соч., т. 2. М., 1939, с. 12.

немецких книг XVII—XVIII вв., посвященных вопросам науки, техники, государственного устройства. От русских переводчиков Петр I требовал простоты, точной и ясной краткости: «Понеже немцы обыкли многими рассказами негодными (т. е. ненужными) книги свои наполнять только для того, чтобы велики казались, чего кроме самого дела и краткого пред всякою вещью разговора переводить не надлежит...» [132]

Н. М. Карамзин относил русский язык к «коренным» языкам (живым, развивающимся, не потерявшим народную почву) и видел в нем, сравнивая его с французским, богатство и гибкость, развитость синонимии, способной передать оттенки мысли и полутоны чувств: «Он богатее гармониею, нежели французский; способнее для излияния души в тонах, представляет более аналогических слов, т. е. сообразных с выражаемым действием: выгода, которую имеют одни коренные языки» [133].

А. С. Пушкин и декабристы говорили о том, что в отличие от «механических форм» французского языка, где «мы находим все готовым», русский язык полон живого движения; он гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, «переимчивый и общежительный» в отношениях к другим языкам. Характерные черты национального русского стиля Пушкин видел в энергичности, живости и драматической красочности, в мужественном лаконизме и откровенной простоте.

Русские революционные демократы, писатели и публицисты XIX в. видели своеобычие народного и литературного языка в разнообразии словопроизводства, в частности в богатстве форм субъективной оценки (уменьшительно-ласкательные, уничижительные и другие суффиксы), в необыкновенном разнообразии видовых значений глагола (Гоголь, Аксаков, Чернышевский). В неизданной статье «О словопроизводстве в русском языке» Н. Г. Чернышевский писал: «Нам кажется, что эти бесконечно разнообразные изменения глаголов посредством видовых окончаний и предлогов с единственною целью определить способ, каким происходит действие, придают русской фра-

---

[132] Цит. по: *Пекарский П.* Наука и литература в России при Петре Великом, т. 1. СПб., 1862, с. 214.

[133] *Карамзин Н. М.* О любви к отечеству и народной гордости.— Соч, т. 7, СПб., 1820, с. 121.

зе живость и определенность, которая в большей части случаев не может быть выражена на других языках».

За всеми этими особенностями и свойствами, приобретенными русским языком в течение столетий, лежит сложная историческая судьба говорящего на нем народа. «Русский литературный язык,— писал А. А. Шахматов,— представляет собой явление глубокого культурно-исторического интереса. Едва ли какой другой язык в мире может быть сопоставлен с русским в том сложном историческом процессе, который он пережил» [134].

По своему значению в истории новых славянских языков и литератур, как отмечают исследователи, русский литературный язык с XVII—XVIII вв. становится наследником и преемником старославянского языка. Именно старославянское влияние придало русскому литературному языку разнообразие и широту стилистических вариаций, увеличило богатство его выразительных средств. Под влиянием старославянской письменной культуры в русском литературном языке стали осознаваться и вырабатываться нормы орфографии, грамматики, лексики и фразеологии. «Дело в том,— писал В. В. Виноградов,— что в старославянском языке уже установилась известная норма, которой стремились следовать писатели, переводчики и писцы, писавшие на этом языке, и которую нельзя отождествлять с их индивидуальным языком или живым говором. Осознание общей нормы выражения — важнейший момент в истории формирования литературного языка. Это — залог его быстрого и разностороннего развития» [135].

Старославянское наследие — в его новом, стилистически и идейно оправданном применении — делает особенно богатыми сферы торжественного, патетического стиля или, напротив, области иронического употребления слов и выражений, с тонкими оттенками этой иронии (ср. авторские лирические отступления в поэме Гоголя «Мертвые души» с репликами персонажей и авторскими же комментариями к речи героев).

В определенной степени и до сих пор стилистическая разветвленность русского литературного языка, его бога-

---

[134] *Шахматов А. А.* Очерк современного русского литературного языка. М., 1941, с. 60.

[135] *Виноградов В. В.* Великий русский язык. М., 1945, с. 41.

тая лексическая синонимика опираются именно на соотношение старославянизмов и собственно русизмов. Многие из старославянизмов в современном языке настолько «обрусели», что никак не воспринимаются говорящими и пишущими как слова или формы (способы выражения) старославянского фонда. Однако при системном «столкновении» (например, аномалии в орфоэпической норме и т. п.) старославянизмы легко выделяются. В языке художественной литературы и в публицистике наших дней функции старославянской лексики сохраняются практически без изменений (ср., правда, ограниченный круг старославянизмов в сатирическом романе, в фельетонах, в очерках и некоторых других жанрах). Историческое объяснение этой картины дает акад. Д. С. Лихачев:

«По своим типам (в разных сферах употребления, в различных областях, в своих хронологических различиях) русский литературный язык был гораздо разнообразнее, чем церковнославянский, менее устойчив, менее замкнут. Он не имел той неподвижной базы „образцов", которой обладал язык церковнославянский. В нем не было стремления к „самоочищению" от чуждых форм. Он не в такой мере осознавался как явление стиля. Напротив, стили в русском языке могли быть различными (достаточно сравнить язык первой новгородской летописи с языком Русской Правды, Галицко-Волынской летописи — с языком „Моления Даниила Заточника"), но при всем разнообразии своих стилей по своей системе (грамматической, фонетической, лексической) это был все же один язык, отличный от языка церковнославянского...

Оба литературных языка древней Руси — русский и церковнославянский — находились в настоящем взаимодействии, гораздо большем, чем взаимодействие средневековой латыни и национальных языков. Литературный этикет требовал иногда быстрых переходов от одного языка к другому. Эти переходы совершались порой на самых коротких дистанциях: в пределах лексики одного предложения.

Но взаимодействие литературных языков не было „равноправным". Церковнославянские формы и слова переходили в русский литературный язык „навсегда", получали здесь стилистические оттенки и смысловые нюансы. Церковнославянский язык постоянно обогащал русский литературный язык. Обратное воздействие было иным.

Проникновения русского литературного языка в церковнославянский постоянно изгонялись из последнего»[136].

Книжно-письменная традиция русского литературного языка не ограничивается лишь старославянским влиянием. Русский язык обогащался путем естественных заимствований из других языков. При этом для ранних периодов его истории особенно велика роль опять-таки старославянского (церковнославянского) — «языка-посредника», древнейшего языка международного книжного общения в славянском мире.

«Русский язык, — писал Л. В. Щерба, — начал с того, что усвоил себе через посредство средневекового международного языка Восточной Европы — восточной латыни, если можно так сказать, — языка, неудачно называемого церковнославянским, целый арсенал отвлеченных понятий, полученных от греков»[137].

Общественные функции старославянского языка в южнославянских и восточнославянских странах были, в сущности, теми же, что и функции латинского языка для средневековых стран Западной Европы. Однако литературное «двуязычие» для народов «латинопишущих» и для народов «церковнославянопишущих» было принципиально различным. Если латынь так или иначе оказывалась чуждой и непонятной для широких масс Западной Европы, то церковнославянский язык, в общем, был понятен всякому грамотному русскому человеку.

Старославянский язык внес в русскую речь массу отвлеченных понятий и слов; он дал начало многочисленным «дублетам», которые легли в основу разветвленной и сложной системы синонимических средств выражения в русском языке (ср. *град — город, врата — ворота, влечь — волочить, глава — голова, мрак — морок* и др.).

Влияние западных языков начинается в более позднюю эпоху. В XVI—XVII вв. русский язык получил достаточно большое количество элементов из латинского, немецкого, французского языков (меньше — из английского, голландского, итальянского). Благодаря этим заимствованиям в

---

[136] *Лихачев Д. С.* Несколько мыслей о языке литературы и литературном языке древней Руси.— В кн.: Историко-филологические исследования. Сб. статей к 70-летию акад. Н. И. Конрада, с. 306.

[137] *Щерба Л. В.* Современный русский литературный язык.— В кн.: Щерба Л. В. Избр. работы по русскому языку, с. 123.

русском языке появился большой слой интернациональной лексики, богатой научно-технической терминологией того времени. Известно также, что в XVIII в. русский литературный язык испытал значительное французское влияние. Французский язык способствовал формированию значений многих слов современного русского литературного языка (ср. процессы калькирования). Следует напомнить еще и о существенных восточных влияниях, история которых восходит к домонгольскому периоду. В отличие от старославянского влияния все эти заимствования практически не затрагивали внутренних — стилевой и грамматической — систем русского литературного языка.

XIX и XX века открыли новые пути взаимодействия и взаимного влияния языков разных народов (в том числе и не находящихся в непосредственных территориальных или культурных контактах). Всемирная научно-техническая революция, опирающаяся на развитую сеть информационного обмена, определяет усиление, интенсификацию языкового «обмена» в различных областях науки, культуры, техники, искусства, спорта и быта.

В отношении русского языка к иноязычным заимствованиям проявляется исторически сложившееся в нем двустороннее свойство: свобода по отношению к необходимым заимствованиям и своеобразное, глубокое их освоение, связанное с дальнейшим расширением и совершенствованием разветвленной системы синонимических, аналогических и т. п. средств. В основе сложной и вместе с тем свободной от мелочной и строгой регламентации русской стилистической системы лежит разнородность генетических элементов, которая, в свою очередь, оказывалась следствием исторического развития русского языка, его свободного (в пределах указанного структурного своеобразия) отношения к заимствованиям из других языков.

В отличие от многих других языков проблема иноязычных заимствований для русского языка никогда не вырастала в проблему потери национального своеобразия, размывания или распадения своеобычных качеств и свойств. Это объясняется факторами неязыковыми (история народа-носителя, большое число говорящих, расселенных на значительной территории), исконными особенностями структуры национального русского языка, представляющей собой конгломерат диалектов и говоров в пределах национального единства, а также факторами внутриязы-

ковыми — крепостью внутренних связей, лежащих в основе национального языка. «Национальная своеобразность русского языка, — писал В. В. Виноградов, — стиралась бы лишь в том случае, если бы общение русского народа с другими возрастало в большей прогрессии, чем внутренняя связь всех его элементов в пределах нации»[138]. Сказанное В. В. Виноградовым справедливо по отношению к любому национальному языку и определяет изнутри механизм отношений национального «ядра» языка с иноязычными влияниями в определенной исторической перспективе.

Выступающие против всяких новых заимствований нередко упускают из виду большую массу «скрытых» заимствований — калек и полукалек, адаптированных слов и конструкций самых разных типов. О такого рода межъязыковых контактах и их результатах большинство говорящих и пишущих просто не подозревает; об их «глубине» и распространенности могут судить лишь специалисты-языковеды. «Чем архаичнее язык народа, чем менее резкие перевороты в нем совершаются в течение времени... тем более возможна для него денационализация»,— писал А. А. Потебня[139]. Отказ от всех и всяких заимствований равносилен сохранению языка неизменным, а это, в свою очередь, явилось бы серьезным тормозом в его развитии и совершенствовании в новых условиях. Напрасным опасениям по поводу возможной утраты языком национальной самобытности как следствия заимствований справедливо возражает акад. И. К. Белодед: «Действительное развитие языка, особенно в наше время научно-технической революции, возможно только на путях усвоения им новых языковых ценностей, вырабатываемых как в родном языке, так и в других языках, т. е. на путях взаимообогащения языков посредством разносторонних контактов, на путях интернационализации всей нашей современной жизни. В этом процессе не происходит „денационализации", так как национальное возвышается, приобретая современные формы, до уровня межнациональных обобщений, становится ценностью межнационального и мирового языкового развития»[140].

---

[138] *Виноградов В. В.* Великий русский язык, с. 128.

[139] *Потебня А. А.* Мысль и язык. 5-е изд. Харьков, 1926, с. 189.

[140] *Белодед И. К.* Ленинская теория национально-языкового развития в социалистическом обществе. М., 1972, с. 198–199.

Наблюдения показывают, что грамматическое оформление заимствований во времени изменяется от заимствуемого языка к заимствующему [141]. В связи с этим следует расценивать как малоплодотворные в смысле перспективы возвращения к «буквальным» формам и смыслам заимствований или обязательное подравнивание под язык-источник в синхронном плане. Это тем более нежелательно для системы литературных норм и культуры речи в целом, что, «когда из какого-либо одного языка заимствуется значительное количество форм, между иностранными формами могут установиться свои собственные отношения» [142].

Ассимиляция иноязычного слова — сложный семантико-стилистический процесс. В отличие от языка-источника не нейтральны в русской речи такие слова, как *хобби, шлягер, битник, стриптиз* и мн. др. [143] Ассимилируясь, слово другого языка начинает употребляться с определенным смысловым оттенком или стилистической окраской. Примером смыслового (и стилистического) переоформления может служить существительное *стресс,* пришедшее в общее употребление из терминологической сферы.

В биологии и медицине *стресс* — это состояние «напряжения» организма, являющееся защитной реакцией в ответ на действие различных неблагоприятных факторов. Другими словами, это реакция самосохранения, важная приспособительная функция организма [144].

В социальной психологии и в общей речи *стрессом* стали называть болезненное состояние нервного напряжения, разрушающе влияющее на организм (прилагательное *стрессовый).* Ср. в газетной речи: Автоматизация и научно-техническая революция, освобождая человека от физического труда, намного повышает его нервно-психическое напряжение. У ученых даже существует специальный термин «стресс», которым они обозначают то состояние повышенного нервного напряжения, в котором пребывают жи-

---

[141] См. многочисленные примеры типа «*бандероль* мужского рода (реже) и женского, *госпиталь* мужского рода и женского (старинное), *дуэль* мужского рода (старинное) и женского» и др. в книге В. И. Чернышева «Правильность и чистота русской речи» (3-е изд. Пг., 1915, § 22 «Род существительных»).

[142] *Блумфилд Л.* Язык. М., 1968, с. 498.

[143] См. об этом в кн.: *Брагина А. А.* Неологизмы в русском языке. М., 1973.

[144] См.: Словарь иностранных слов. 6-е изд. М., 1964; Новые слова и значения. М., 1971.

тели больших городов (Неделя, 1967, № 11); в языке художественной литературы: Новомодное словечко «стресс» в двадцатом веке, в годы научно-технической революции, заменило привычные в прошлом слова «встряски», «перегрузки», «переживания», а еще более грозное «дистресс» романисты в прошлом называли пышно и торжественно «смертельно опасное потрясение», а позже — «шоковое состояние» (В. Липатов, Игорь Саввович. — Знамя, 1977, № 7, с. 57); Переход Алтунина в новое качество совершился почти незаметно, если не считать того стресса, тех самых эмоций, которые так удивили Киру (М. Колесников, Школа министров.— Знамя, 1977, № 10, с. 128).

Подобное употребление бывает связано с его отрицательной оценкой со стороны специалистов-биологов, т. е. может вызывать явление «терминологического пуризма», весьма характерное для современной нормативной ситуации.

Терминология и норма. НТР и развитие языка

Терминология и терминотворчество — такие области языка, в которых живо проявляются и сталкиваются вкусы и интересы профессионалов-специалистов, языковедов и всех ревнителей чистоты и точности словоупотребления. Как ни в какой другой области (исключая, может быть, поэтику) здесь требуются совместные действия и единство позиций языковедов и специалистов в отдельных отраслях науки и техники. К сожалению, ни о каком единстве пока, по-видимому, не может быть и речи. Чем же иным можно объяснить появление в массовой печати противоречивых и, как правило, глубоко субъективных высказываний по поводу удачности или неудачности отдельных терминов, а иногда и группы терминов — целой терминосферы?

Оценка (или, точнее, осуждение) терминов проводится с разных позиций и обращена к разнородным явлениям.

Очень часто термин или профессиональное выражение отвергаются на основании неточного, неправильного с научной точки зрения их употребления. При этом авторы обычно забывают о том естественном процессе развития живого языка, при котором терминологические по происхождению элементы переходят в более широкое употребление, становясь при этом «полутерминами», «полупрофессионализмами», или вообще порывают со своим источ-

ником, пополняя образный, экспрессивный лексический запас общелитературного языка. Явление «профессионального пуризма» может быть проиллюстрировано следующими разнородными, но в равной степени показательными примерами.

Возражая против неправильно переведенных или неправильно употребляемых спортивных терминов, спортивный обозреватель К. Есенин пишет, в частности, о слове *аутсайдер*: «У нас им жонглируют, когда надо и когда не надо. Оказалась команда в нижней половине таблицы, ее сразу именуют аутсайдером, хотя это слово совершенно не соответствует смыслу английского термина. Аутсайдер — это участник турнира, находящийся вне класса соревнующихся команд, резко слабее других, находящийся как бы „вне игры". Ну, например, как у нас в группе сильнейших вдруг выпадал из общего класса в 1958 г. „Адмиралтеец", проигравший во втором круге все встречи. Или таллинский „Калев", который однажды рискнул попытать счастья в чемпионате. Он проигрывал налево и направо. Или, например, сборная Швейцарии на первенстве мира по футболу. Она проиграла все встречи группового турнира, и почти все — с крупным счетом. А у нас с чьей-то легкой руки словечко „аутсайдер" пошло кочевать пришпиленным ко всем, кто хоть немного отстал, немного замешкался на старте, попал в полосу неудач. Неверно это. Не соответствует смыслу слова» [145].

Насколько же, однако, это неверно? Действительно, буквальное значение слова *аутсайдер* (англ. outsider) в спорте — это «спортсмен, не имеющий шансов на успех в состязании», а также «скаковая или беговая лошадь, не являющаяся фаворитом» [146].

Можно полагать, что *аутсайдер* в значении 'спортсмен или команда низкого класса' явился переносом термина конных состязаний в общую спортивную терминологию. Однако в общем употреблении противоположение терминов «фаворит» — «аутсайдер» оказалось неудобным. *Фаворит* в значении 'любимец публики', 'любимая команда' способствовал появлению нового спортивного термина «лидер»,

---

[145] *Есенин К.* Футбол: рекорды, парадоксы, сенсации. М., 1968, с. 123—124.

[146] Англо-русский словарь. Сост. проф. В. К. Мюллер. 10-е изд. М., 1963, с. 698.

т. е. ‘идущий впереди, первый’, точно отражающего существо явления. Скаковая терминология в общем спортивном употреблении претерпела естественное видоизменение: *фаворит* («лошадь, всадник и команда, имеющие по сравнению с другими участниками соревнования большие шансы на выигрыш»[147]) — *аутсайдер* (также о всаднике или о лошади) → *фаворит* (о спортсмене: победитель и любимец) — *аутсайдер* (также о спортсмене) → *лидер — отстающий* или *аутсайдер* → *лидер — аутсайдер*. Противопоставление *лидер — аутсайдер* закрепляет за вторым словом значение ‘отстающий, замыкающий турнирную таблицу’, ‘идущий позади’ и т. п. И в этом значении нет ничего неправильного[148].

Второй пример профессионального пуризма связан с использованием выражения *порядка чего-н.* в значении ‘около, приблизительно (о расстоянии, объеме, весе и т. п.)’. В заметке «Ах, уж эти „техницизмы“...» доктор технических наук Н. Изюмов пишет: «В технических отчетах и в быту приходится сталкиваться с искажением математического понятия „порядок“. Порядок — это разряд десятичной системы счисления. Можно сказать, например, что „расстояние имеет порядок тысяч километров“. Или „расходы порядка сотен рублей“. Но вместо того, чтобы говорить: „Расстояние приблизительно три с половиной километра“, увы! говорят: „Расстояние порядка трех с половиной километров“. Или в электротехнике: „Напряжение порядка ста двадцати вольт“. Напрашивается каламбур: это — не порядок, а непорядок в техническом языке»[149].

О конструкции *порядка чего-н.*, превращающейся в предлог с общим значением ‘около, приблизительно’, писал в начале 60-х годов А. Н. Гвоздев в заметке «Порядка десяти тысяч»[150]. В этой заметке он, в частности, говорил: «От терминологических сочетаний типа *порядка десяти миллионов* лежит путь к бытовым выражениям типа *дом порядка двадцати квартир*». Отмечая переход этой конструкции из специального языка в общеупотребительный и сопровождающую этот переход генерализацию — «сло-

[147] Словарь иностранных слов, с. 667.

[148] Ср. в «Словаре иностранных слов»: «*Аутсайдеры*... — спортсмены, занимающие последние места в соревнованиях» (с. 83).

[149] Комс. правда, 1968, 17 авг.

[150] См.: Вопросы культуры речи, вып. 3. М., 1961, с. 204—207.

восочетание получает более широкое и в то же время менее четкое значение»,— Гвоздев полагал, однако, что это словосочетание является ненужным и неудачным новшеством, поскольку оно не обогащает язык и не получило большого распространения.

Для наших дней такой категоричный вывод нуждается, по-видимому, в определенном уточнении. Возникая в ряду синонимичных выражений типа *в районе, где-то около* и т. п., конструкция *порядка чего-н.* отражает определенную тенденцию современной разговорной речи — ее стремление к использованию «полутерминов» и «полупрофессионализмов» в качестве средств обновления и экспрессии бытового общения. Во всяком случае, как мы видим, подход к ней с позиций научной и терминологической точности лингвистически не может быть оправдан.

Следующий большой разряд оценок — это языковая критика профессионального употребления с общелитературной точки зрения. Осуществляется эта критика самими профессионалами, к сожалению, обычно без всякого учета объективных лингвистических данных.

В заметке «О культуре речи» врач Н. Троицкий решительно выступает против некоторых, по его мнению, нелитературных оборотов в обиходе медицинских работников: *Больной пришел (или ушел) на своих ногах; Больной жалуется на сильную слабость; ко́клюш* вместо *коклю́ш*, *эпилепси́я* вместо *эпиле́псия*, *и́нсульт* вместо *инсу́льт*, *диабэт* и *тэрапэвт* вместо *диабет* и *терапевт* и мн. др. [151] Понятно, что все это к культуре речи в собственном смысле почти никакого отношения не имеет: перечисленные в заметке факты относятся к области профессионального «просторечия» медиков и не имеют шансов на выход в общелитературное употребление. Почему, разрешая другим профессиям отступления от общелитературных норм (ср.: *рапо́рт, компа́с* в речи моряков, *астро́ном* — у астрофизиков, *ато́мный* и т. п.), мы должны делать исключение для врачей? Профессиональный речевой обиход и профессиональное просторечие (отнюдь не «жаргон»!) — нормальное явление любого языка, и не считаться с ним нельзя.

Что касается собственно языковых квалификаций в статьях подобного рода, то здесь не обходится без курь-

[151] См.: Мед. газета, 1968, 16 янв.

ёзов. В той же заметке приводится рассуждение по поводу слова *дежурант:* «В последнее время в лексиконе медиков появилось уродливое словцо *дежурант*. Окончание *ант* русскому языку несвойственно, оно характерно для французского языка. Слово *дежурант* — это типичная смесь французского с нижегородским...»

В действительности же все обстоит совершенно не так: «французский» суффикс *-ант* присоединяется к французскому же *дежур* (франц. de jиor, être de jour, на русской почве: *дежур-н-ый*; ср.: кальку *дневальный* 'дежурный солдат') [152]. Так что о смешении «французского с нижегородским» в слове *дежурант* говорить не приходится (строгий пуристический взгляд может заметить такое «смешение» скорее в старом и давно привычном образовании *дежурный*). Что касается правомерности самого этого неологизма, то, по свидетельствам специалистов, он употребляется для обозначения совершенно особого и нового понятия. Дежурант — это врач-совместитель, работающий в клинике только на дежурствах (в отличие от дежурного штатного врача той же клиники). Необходимость в этом неологизме определялась, таким образом, совершенно реальными обстоятельствами. Ср. сходную языковую ситуацию в смысловой дифференциации однокоренных слов *дипломник* и *дипломант* и т. п. [153]

В упоминавшейся уже статье Н. Изюмова содержится протест против предложенного управления *базироваться на* с вин. падежом существительного: «Слово *базироваться* значит буквально „основываться“ (от слова *база* — основание). Расширительно можно это слово понимать и так: размещаться или располагаться на каком-то основании. Ясно, что слово *базироваться* требует указывать „базу“ в предложном падеже. Например: „Самолеты базируются на авианосцах“. К сожалению, многие авторы грамматически отождествляют слово *базироваться* со словами *опираться* или *ориентироваться* и указывают „базу“ в винительном падеже: „Самолеты базируются на авианосцы“ или „Промышленность базируется на периферию“...»

В этом рассуждении не учитывается многозначность глагола *базироваться*, отмечаемая современными толковы-

[152] См.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка, т. 1. Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М., 1964, с. 494.

[153] Об этих словах см.: Правильность русской речи. Словарь-справочник, с. 57.

ми словарями: «*Базироваться, -руюсь, -руешься:* несов. 1. на чем. Основываться на чем-н. (книжн.). Б. на фактах. 2. на что или на чем. Иметь что-н. своей базой (в 3 знач.), местом стоянки, снабжения. Флот базируется на морскую крепость // сущ. базирование, -я, ср.» [154] Интересно, что второе значение этого глагола (*базироваться на что*) восходит, по-видимому, к профессиональному военному (морскому) употреблению. В общелитературной речи конструкция *базироваться на что* рядом с *базироваться на чем* воспринимается как простой неправильный дублет. Между тем это, конечно, не так. *Базироваться* 'основываться' и *базироваться* 'иметь базой, т. е. местом снабжения, стоянки, прикола' и т. п.— разные значения, получившие и различное грамматическое оформление. *Самолеты базируются на авианосцы* — точное терминологическое выражение, и на основании одного из значений общелитературного *базироваться* отвергать его нельзя.

Наконец, еще один разряд терминологических оценок связан с неблагозвучием терминов или слов, с ними связанных. Критерий благозвучности—неблагозвучности, не являясь строго лингвистическим, используется по преимуществу также специалистами-техниками, а не языковедами. В письме редактору «Литературной газеты» профессор Ленинградского кораблестроительного института Я. Пановко пишет в связи с недостатками технического языка, в частности, следующее: «Технический язык засорен неблагозвучными терминами вроде *охрупчивание, отнулевой цикл* и т. д. Появление новых понятий, естественно, вызывает рост числа новых терминов. Но что получится, если не следить за этим процессом и не влиять на него? Засорение технического языка — проблема серьезная, и над этим давно пора задуматься» [155].

Критерий благозвучности (эвфонии) иногда оказывается решающим в терминотворчестве. Этим, по-видимому, следует объяснить, например, замену термина «обезгаживание» в вакуумной технике термином «дегазация» [156]. Можно заметить, однако, что при такой замене, с одной стороны, нарушается системность словообразовательного

---

[154] Словарь русского языка. Под ред. С. И. Ожегова. 4-е изд., М., 1960, с. 32.

[155] Лит. газета, 1969, 30 июля.

[156] См. об этом: *Лотте Д. С.* Основы построения научно-технической терминологии. М., 1961, с. 69.

ряда (*обезлесить*, *обезводить* и т. п. и *дегазировать* вместо ожидаемого *обезгазить*), а с другой стороны, возникает нежелательная многозначность термина, так как для современного литературного языка *дегазировать* значит ‘обезвредить, удалить откуда-н. отравляющие вещества, газы,’ а не просто ‘лишить газовых примесей, создать вакуум’ (ср. *дегазация*).

Почти целиком вкусовыми соображениями продиктованы некоторые газетные публикации, направленные против целых терминосфер, имеющих давнюю традицию употребления на русской почве. В последние годы почему-то особенно не повезло терминологии мясников и кожевников. В течение одного лета 1969 г. ей были посвящены статьи в газетах «Известия» и «Советская культура».

В. Орлов высмеивает названия профессий мясокомбината — *съемщики шкур*, *стопорезчицы*, *самокладчицы*, *футеровщики*, *раклисты* и *подраклисты* — и призывает «вспомнить лучшие речения предков», забывая при этом, что многие из отвергаемых им слов — исконно русские или старые, давно обрусевшие заимствования в терминологии мясников, скорняков, кожевников-усмарей (было в старину и такое слово!). Орлов полушутя-полусерьезно просит филологов, писателей и журналистов «дать рекомендации, помочь разобраться в чердачном ворохе сомнительных кличек и названий». «А то поди, — продолжает он, — сами-то для себя придумали красивые слова — поэты, эссеисты, фельетонисты, семантики, лингвисты... А другой так и ходи всю жизнь в „съемщиках шкур“» [157].

Можно было бы и отмахнуться от такого примера «магии слова» и спросить автора, чем *съемщик шкур* хуже *семантика* или *токаря*? Разве дело в одном названии? Оказывается, однако, что и в названии тоже. В более спокойной и серьезной реплике «Как назвать профессию?» ленинградский психолог, член комиссии по трудоустройству выпускников школ-интернатов А. Зимичев и работник металлического завода С. Малкиман пишут о том, что названия некоторых профессий — *кишечницы*, *отшибальщики*, *трепальщицы*, *туалетчики*, *давильщики*, *запекальщики*, *обжимщики*, *карманщики* и мн. др. — отпугивают юношей и девушек своей необычностью и неблагозвучностью, что выпускники школ не

[157] Сов. культура, 1969, 30 авг.

хотят начинать трудовую деятельность с получения прозвища или клички [158]. И это уже серьезно.

Некоторое время назад Институту русского языка АН СССР пришлось консультировать Моссовет по поводу названия одного из отделов. Оказалось, что никто из выпускниц школ не желает идти работать в отдел захоронений (полное название: «Отдел захоронений, памятников и надгробий»). Девушки, которым предлагали места секретарей и делопроизводителей, заявили в один голос: «Как же мы будем знакомиться с молодыми людьми? Сказать, что я работаю в отделе захоронений, или, как все говорят, в „похоронке", — мне будет стыдно...» Мы предложили переименовать отдел в мемориальный, что точно соответствует содержанию его деятельности и вместе с тем освобождает от прямых нежелательных названий и ассоциаций [159].

Создание эвфемизма — один из возможных путей терминотворчества в конкретных условиях. Что же касается архаических названий некоторых мясных и кожевенных профессий, о которых шла речь выше, то, может быть, там следует определить и закрепить некоторые более общие названия (мастер цеха такого-то, техник того или иного процесса и т. п.). Тогда эти общие названия перекроют терминологическую дробность традиционных профессиональных наименований и постепенно подготовят к ним новичка. С овладением «профессиональным просторечием» придет не только привычка к существующим цеховым названиям, но и естественный профессиональный шик, характерный для любого производственного коллектива.

Известно, что любая терминологическая система — это не произвольный набор искусственных элементов (случайных слов), а сложная совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых единиц. Вместе с тем появление новых терминов в большинстве случаев связано с конкретными историческими фактами терминотворчества, с фактами рождения, создания новых профессиональных слов и выражений. И если заслуживают упрека в недостатке лингвистических знаний профессионалы-неязыко-

[158] См.: Известия, 1969, 16 июля.

[159] Ср. в газетном объявлении: «Комбинат *ритуальных услуг* специализированного треста Мосгорисполкома выполняет все виды услуг, связанных с захоронением» (Веч. Москва, 1977, 21 сент.)

веды, обращающиеся к языковой критике терминов, то не меньшего упрека заслуживают и языковеды, пренебрегающие конкретными историческими фактами появления новых терминов и выводящие свои оценки и суждения из данных исключительно лингвистических (словообразовательных, лексических, лексикографических и др.). Это подтверждается материалами некоторых газетных и журнальных дискуссий 60—70-х годов.

В «Литературной газете» (1963, 5 февр. и 30 мая) были опубликованы материалы дискуссии «Каким должен быть научный термин?» Инженер А. Гольдин выступил против терминов Комитета научно-технической терминологии: «надрезка», «проколка», «гибка», «окомкование», «выброс», «заброс» и др. Забракован был и старый термин из горного дела «выемка вкрест простиранию (пласта)». Эти термины объявлялись «уродами» и «сорняками», непригодными в употреблении и не соответствующими нормам русского языка. Гольдин предложил заменить их благозвучными словами. В ответном письме комитета доводы Гольдина были опротестованы; в нем обращалось внимание на то, что термины образованы по продуктивным в терминологии моделям, говорилось о необходимости учитывать системность понятий, об отказе от субъективных, вкусовых оценок. Инженера Гольдина поддержал писатель К. И. Чуковский. Он усмотрел в терминах «грохочение», «окускование», «впрыск» и др., которые «не ласкают уха», тенденцию к ненужной русификации (?!). «Окомкование», например, он предложил заменить благозвучным, с его точки зрения, термином «грануляция».

Таким образом, и здесь благозвучие объявлялось единственным и чуть ли не решающим критерием при оценке терминов. Сами же термины рассматривались (как это нередко делается) изолированно, вне связей с другими терминами, вне каких-либо терминосистем. На них переносились требования, предъявляемые к общелитературному языку. Неправомерность такого подхода к языку науки была показана в последующие годы в ряде лингвистических работ [160].

---

[160] См., например: *Даниленко В. П.* Русская терминология. Опыт лингвистического описания. М., 1977.

Что касается отглагольных существительных, то их функциональная оправданность в терминосистемах связана с самой их природой и семантикой. В свое время В. И. Даль отмечал, что «они нередко диковаты на слух, особенно если мы примемся сочинять их сами» (при этом он ссылался на «пущенное в ход словечко *исчезновение*»). Вместе с тем в таких образованиях — «жизнь и сила глагола» [161].

В последние годы дискуссии о названиях профессий были возобновлены в нашей прессе. Вопросы о благозвучности наименований профессий и связанной с ней престижностью обсуждались, в частности, на страницах журнала «Человек и закон» (1974, № 5, 8).

Авторы писем в редакцию говорили о том, что иногда не сама работа отпугивает людей (особенно молодежь), а именно название профессии: хотя, например, кочегар давно уже стал оператором котельной, официальное наименование его профессии осталось старым. Приводились ссылки на то, что в сельском хозяйстве кое-где уже введены новые названия профессий: бывшие доярки и свинарки числятся теперь по штатному расписанию мастерами молокодоения или мастерами свиноводства.

В ответе сотрудника НИИ труда Госкомтруда СССР А. Степанова говорилось о деятельности по унификации наименований профессий. Эта работа началась в 1964 г. при разработке Единого перечня профессий рабочих, на основе которого был создан новый Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Было проанализировано 24 700 названий профессий, которые содержались в различных отраслевых справочниках.

Вся тарификация работ в новом ЕТКС построена с учетом единой шестиразрядной тарифной сетки. Числс названий профессий сократилось до 6300 (т. е. почти в 4 раза!). При этом были устранены устаревшие и неблагозвучные наименования. Например, профессия *болванщик* переименована в *изготовитель формодержателей*, *ребровщик-раздвижчик сырца* — в *сушильщик изделий в естественных сушилах* [162] и т. п. В качестве не-

[161] *Даль В. И.* О русском словаре.— В кн.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1. М., 1955, с. XXXIX.

[162] Характерная для ГОСТов тавтология: «сушильщик... в сушилах».

благозвучных называются также термины, берущие свое начало от мелкокустарного и ремесленного производства: *заготовщик*, *пошивщик*, *посадчик*. С учетом развития новой техники и технологии, организации и автоматизации производства в новом ЕТКС было аннулировано 264 устаревших профессий и введено 529 новых профессий с такими, например, наименованиями: *лаборант-радиометрист*, *литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья*[163], *штамповщик методом взрыва*, *сталевар вакуумной печи*, *юстировщик электронных микроскопов* и т. п.

В основу переименований были положены следующие общие принципы: учитывался характер технологического процесса, вид обслуживаемого оборудования и выполняемой работы. Учитывались также такие факторы, как применение новой техники и технологии, повышение технического и культурного уровня рабочих, нормы литературного языка и технической терминологии. Все профессии в справочнике представлены в форме мужского рода, кроме нескольких исконно женских: *ковровщица*, *кружевница, вышивальщица* и т. п. Наименования профессий в новом справочнике строятся, по замыслу его авторов, по двум основным структурным типам: во-первых, одноэлементные (*токарь, эмалировщик* и т. п.), а во-вторых, дву- и более элементные (*машинист насосных установок*, *ткач металлосеток* и т. п.).

С учетом названных выше принципов переименовано 99 профессий, среди них: *шишельщик, чернокотельщик*, *порщик*, *морсовщик*, *коншировщик*, *фитильщик*, *ковшемаз*, *тростевщик*, *зубодел*, *мишурщик* и др. Сейчас, как полагают специалисты, неблагозвучные и устаревшие наименования профессий в основном устранены. Однако работа по переименованию профессий продолжается. Дело это осложняется тем, что от названия профессии или специальности в ряде случаев зависит право рабочего или служащего на различные льготы (например, по пенсионному обеспечению). Но даже и с точки зрения престижности наименования профессии (его «благозвучия» с общелитературных позиций) работа далеко не закончена.

---

[163] Аналогичная ошибка тавтологического характера: «литейщик... литья».

Об этом свидетельствует, в частности, газетный фельетон И. Шатуновского (Правда, 1977, 20 марта).

Всестороннего и критического анализа с лингвистической и собственно нормативной точек зрения требует и действующий ныне «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих профессий».

Обращаясь к общим и частным вопросам терминологии, языковеды должны знать историю реалий, изучать конкретные условия появления и закрепления новых понятий и терминов. Решение вопросов культуры речи в области терминологии — сложная и ответственная задача, связанная с актуальными общественными потребностями. Пренебрежение собственно лингвистической стороной дела, равно как и перенесение всей проблемы в план чисто языковедческий, вряд ли помогают делу, так как ведут к неминуемому субъективизму в оценках, а то и к прямым ошибкам и неточностям. Только совместные усилия специалистов-терминологов и языковедов, всесторонний конкретно-исторический и системно-лингвистический анализ разнородных факторов, влияющих на развитие и функционирование терминологических систем и отдельных терминов, смогут обеспечить успех в этом трудном и важном деле.

Условия развивающейся научно-технической революции делают актуальными вопросы так называемой интеллектуализации литературного языка. Принцип интеллектуализации (или рационализации) литературного языка был выдвинут представителями Пражского лингвистического кружка [164]. Под интеллектуализацией предложено понимать такую степень развития языка, при которой высказывания становятся более определенными и точными, способными выражать всю сложность мыслей и их взаимосвязь; иными словами, происходит усиление интеллектуального аспекта языка. Наивысшее воплощение интеллектуализация получает в научном языке [165].

---

[164] См.: *Гавранек Б.* Задачи литературного языка и его культура.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. Сб. статей, с. 349 и след.

[165] Существенной чертой языка эпохи научно-технической революции В. Г. Костомаров считает тенденцию к книжной формализации и отраслевой специализации (см.: *Костомаров В. Г.* Тенденции развития современного русского языка.— РЯШ, 1976, № 6, с. 4 и след.)

Этот общий принцип в крайних своих проявлениях (и осмыслениях) приводит к одностороннему взгляду на тенденции развития современного литературного языка и системы его норм. Закономерности развития языка науки и техники неправомерно переносятся на весь литературный язык в целом, что находит свое достаточно яркое проявление в «технической» (технократической) критике языка и в факторах логического пуризма, например: «Кто из вас не употреблял фразы типа „Если во Франции производится столько-то стали, то в Московской области...“ Такие обороты кажутся нам вполне нормальными. На самом же деле под сочетанием „если... то“ подразумевается причинно-следственное отношение, а в приведенном примере его абсолютно нет (а если бы во Франции не производили столько стали, то в Московской области тоже перестали бы ее производить?)» (Юность, 1968, № 12).

На особенности употребления таких конструкций обратил внимание А. М. Пешковский, который писал: «В последнее время (лет 30—40) чрезвычайно распространилось употребление союза *если... то* не в условном, а в сопоставительном смысле: *Если* фтор и хлор являются газами, *то* бром при обычной температуре образует уже жидкость, а йод — твердое тело» [166]. Здесь следует обратить внимание по крайней мере на три момента. Во-первых, на сравнительную новизну конструкции (ее появление в пределах нескольких десятилетий). Во-вторых, на массовое употребление («чрезвычайно распространилось»). А в-третьих, на известную стилистическую прикрепленность конструкции (иллюстративный пример взят из учебника химии или из какого-либо научного текста). Дальнейшие исследования в области русского синтаксиса подтвердили это наблюдение Пешковского [167].

Надо сказать, что для 30-х — нач. 40-х годов описываемая конструкция воспринималась как не вполне нормативная или, точнее говоря, условно нормативная. Например, в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова об этом значении союза *если* говорится так:

---

[166] *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 3-е изд. М., 1927, с. 488.

[167] См.: *Попова И. А.* Сложносочиненное предложение в современном русском языке.— В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950; Синтаксис современного русского литературного языка. М., 1958, и др.

«...3. Употр. вначале придат. предложения, заключающего в себе не условие, а лишь противопоставление или сопоставление с главным, в знач.: в то время, как... (книжн., преимущ. газет. оборот, возникший в подражание нем. употреблению союза wenn и особенно распространившийся в 20 веке; он тем менее пригоден для точного выражения мысли, чем менее условной связи между главн. и придат. предложениями) (разрядка наша.— *Л. С.*)». Приводятся следующие примеры употребления: «*Е. неимущие классы страдали от недоедания, то богатые болели от переедания. Е. плотность населения в Европе достигает 50 человек на 1 кв. км, то в Африке она менее 4 чел.*» [168] Можно полагать, что первая иллюстрация противопоставлена составителями второй именно по степени выражения условной связи в общем смысле каждой из фраз.

В «Словаре современного русского литературного языка» подобного рода ограничений и оговорок мы уже не находим: «...2. Употр. в начале предложения, заключающего в себе сопоставление с другим предложением или противопоставление ему. *Если в Александровском округе климат морской, то в Тымовском он континентальный.* Чех[ов]. Остр[ов] Сахалин» [169].

Сравнительно-сопоставительные отношения, выражаемые посредством союза *если... то*, используются чаще в деловом и научном стилях речи [170], а также в повествованиях художественной литературы, отражающих особенности этих стилей, например: «Если в дивизии и корпусе данные Травкина были восприняты как события особой важности, то для штаба армии они имели хотя и важное, но вовсе не решающее значение» (Э. Казакевич, Звезда).

Совершенно понятно, что никакого условного оттенка такого рода сложноподчиненные предложения не несут.

Но, может быть, развернувшаяся теперь научно-техническая революция, ломая национальные рамки в материальной сфере, вообще стирает национальные границы и в различных областях культуры? Как НТР влияет на нацио-

---

[168] Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д. Н. Ушакова, т. 1. М., 1935, стб. 337.

[169] Словарь современного русского литературного языка в 17-ти т., т. 3. М.– Л., 1954, стб. 1274 (далее – ССРЛЯ).

[170] «Книжность» этого союза отмечена и в Академической Грамматике современного литературного языка (с. 670–671).

нальный язык, как видоизменяет его, что вносит в него нового? Вопросы эти волнуют сейчас многих. Не могут они оставить безучастными писателей и языковедов.

Журнал «Дружба народов» в последних номерах за 1973 г. опубликовал материалы очередного «Круглого стола» на актуальную тему «Литература и НТР». Характерные мысли по поводу развития языка в условиях НТР высказывает в десятом номере журнала писатель Сергей Залыгин, который свое выступление озаглавил так: «Размышления и догадки». О чем же размышляет писатель Залыгин и к каким догадкам он приходит? Размышления эти довольно неожиданны.

Одним из признаков наступления НТР он называет «стремительные изменения» в языке, которые мы якобы теперь наблюдаем. По мнению Залыгина, изменения эти связаны прежде всего с полным (!) исчезновением старого народного («крестьянского», как он называет его) языка, сближением его с языком литературным («городским»), полной их нивелировкой: «И вот нынче вы скорее в деревне, чем в городе, услышите, как мать спрашивает у своей пятилетней дочери: „Ты выполнила мое задание?“ А муж говорит жене: „Мне нынче надо увязать план: в текущем квартале съездить к братухе в Ивановку!“».

Писатель приводит в виде курьеза фантастический план «одного академика» по созданию машинного международного языка — рационального и логичного во всех отношениях. В чем же видится эта «рациональность» безымянному академику? А в том, например, что уменьшительные слова будут возникать не за счет удлинения слова (как в русском языке: *дом — домишка*), а — «по логике вещей» (!) — за счет их сокращения (непонятно только, как можно сократить *дом*?). Превосходная же степень будет, наоборот, выражаться «за счет удлинения (?) слова...» Но ведь разве нет закономерности в том, что бóльшая степень усиления какого-нибудь качества (например, уменьшительности) выражается большей длиной флексий, их «многоступенчатостью»: *дом — домик — домишка — домишечка*? У языка есть своя, внутренняя логика, которая не всегда и не во всем совпадает с простой «логикой вещей...»

Нельзя не согласиться с Залыгиным, когда он в связи с этим столь же фантастическим, сколь и необоснованным лингвистически проектом «перестройки языка» на логической основе обвиняет архиэнтеэровцев в том, что они, от-

вергая временной фактор, «хотят лишить человечество его истории, следовательно, и его природы, начав все сначала».

Однако вместе с тем Залыгин не прочь «задать машинам задачу реконструкции и расширения существующих языков по их собственным законам и правилам». Задача эта так же невыполнима, как и описанная выше. Машина может (если она, конечно, сможет!) реконструировать и «расширить» лишь свой собственный, «машинный язык». К естественному языку людей — явлению общественному и историческому, принципиально не до конца формализуемому,— этот эксперимент не будет иметь никакого отношения, и не следует питать никаких иллюзий на этот счет.

Писатель С. Залыгин в своих размышлениях так или иначе делает уступки теориям «технократии» и «массовой культуры», когда говорит о том, что в условиях НТР происходит специализация интересов и вкусов по разным признакам: спорт, туризм, посещение художественных выставок, концертов и т. п. Само чтение художественной литературы объявляется им «если уж не специальностью, так специальным хобби». «Почти каждый из нас,— говорит писатель,— помнит время, когда вслух или молчаливо, но предполагалось, что человек культурный — это прежде всего человек, начитанный в области художественной литературы. Теперь этого нет — читает человек, так это хорошо, а не читает — тоже неплохо, значит, у него другие увлечения, может, он меломан, а может, болеет за команду ЦСКА...»

Во всех этих рассуждениях немало путаницы и противоречий. Начать хотя бы с тех фраз, которые приводятся выше как иллюстрация «городского» влияния на язык деревни. Не следует выдавать засоренную газетными (или книжно-письменными) штампами речь за какой-то «новый язык». Такая речь всегда появлялась и появляется при отсутствии языкового чутья, под влиянием технических средств или в результате простой неграмотности, но она всегда и расценивалась именно как речь засоренная, искаженная, поскольку никогда не давала начала какому-то новому качеству.

Не преувеличивает ли автор в целом роль НТР для языка и нет ли здесь определенного мифа? Действительно, инженерно-технических работников в наше время стало больше, профессия инженера стала подлинно массовой. Профессиональная речь технической интеллигенции

(в письменном и устном обиходе) занимает несравненно большую долю, чем прежде. «Технизация» общества своеобразно отражается в «технизации языка» — от этого он усложняется (отнюдь не «рационализируется» и не логизируется), стилистически перестраивается.

Революция, которую переживает современный мир, называют научно-технической. Но зачем же в угоду второй части этого сложного термина ограничивать ее содержание лишь технической стороной, более или менее внешним накоплением средств и навыков эпохи машин и автоматов? Почему мы должны забывать о первой и, может быть, самой важной части этого определения — о научном характере происходящей революции? НТР — не только и не столько технизация общества, сколько превращение общества в коллектив ученых по преимуществу, в котором сама наука — в ее подлинном, а не только «популяризованном» виде — становится достоянием всех.

Естественный ход НТР связан с дальнейшим ростом интеллигентности всего общества, повышением его культурного самосознания. Как же можно после всего этого воспевать мещанина XX в., говоря о «специализации интересов и вкусов по разным признакам» и утверждая, что теперь культурный человек может уже и не читать художественной литературы, если у него есть другие увлечения?

Обращаясь к молодежи России и имея в виду будущих членов коммунистического общества, В. И. Ленин говорил: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» [171]. Подлинная художественная литература всегда относилась и будет относиться к богатствам, обойтись без знания которых человек будущего, человек-творец не может. Художественное познание действительности всегда шло рука об руку с ее научным познанием. Зачем же нам отказываться от этой важнейшей части культурного наследия? Будем считать, что всему виной — полемические перехлесты и жажда парадоксальных эффектов.

Современный русский литературный язык — вовсе не какая-то застывшая структура; как всякий живой язык, он развивается, изменяется во времени. При этом одни изменения обогащают язык (поскольку удовлетворяют воз-

[171] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 41, с. 305.

никающие потребности мысли и общения), а другие, напротив, обедняют его, ведут к разрушению единства языка, уменьшают его сокровищницу. Именно поэтому надо беречь язык от засорения словами ненужными, не вносящими ничего нового, необщепонятными.

Самокритичное (и полушутливое) пушкинское замечание о том, что его «слог пестреть гораздо б меньше мог иноплеменными словами», мы можем в ряде случаев вполне серьезно отнести к нашим дням.

В содержательных, интересных очерках С. Кондрашова «Свидание с Калифорнией» (Знамя, 1975, № 7) приводятся в большом количестве всякого рода «эр-кондишн'ы», «супермаркеты» и «фривеи». И это не выглядело бы щеголяньем, поскольку речь идет о чужой стране, если бы не одна деталь: автор сплошь и рядом сначала вовсю употребляет то или иное словечко, а уж потом снисходит до их перевода и объяснения читателям. Вот и получается, что сначала автор пишет: «Для пилота главный ориентир — *фривеи*» (с. 167), а уж потом где-то растолковывает мимоходом: «...*фривей*, свободный путь, великолепная дорога» (с. 169). Или много раз без кавычек и без перевода употребляет слова *парковать* и *парковка* (с. 156, 159, 167), а уж затем пускается в подробные объяснения и обратные переводы: «На центральных магистралях категорически запрещены не только parking (стоянка, парковка), но и standing (короткая остановка с водителем, остающимся за рулем)» (с. 169). Понятно, что такое введение в текст экзотизмов в общем-то довольно определенно говорит о позиции автора в вопросе заимствований.

Эпоха, которую мы переживаем, является в целом важным стимулом развития языка, самораскрытия его внутренних богатств и возможностей. Возьмем, например, область новых «космических» наименований — лексического пласта, связанного с изучением космоса. Это такая сфера, где ярко проявляются внутренние ресурсы языка, его гибкость и емкость, прослеживаются направления его развития, особенности его современных норм. Русская космическая терминология широко образуется и на основе интернациональных элементов (*космодром*, *космонавт* и *космонавтика*, *селенология* и *селенография*, *перицентр*, *периселений* и т. п.), и на основе национальных словообразовательных средств русского языка (*лунник*, *луноход*, *планетоход*, *звездолет*, *прилуниться*, *состыковка* и

расстыковка, *околоземный*, *окололунный* и др.), и на «смешанной» основе (*космолет* и *космолетчик*, *лунодром*, *космовидение*, *космик* и др.), наконец, на базе переноса наименований или расширения смыслового значения слова (*спутник*, *орбита*, *корабль*, *виток*, *свободное плавание* и т. п.) [172].

Литературный язык и внелитературные сферы речи (в их взаимодействии)

Русский литературный язык обнаруживает гораздо больше свободы в отношении иностранных слов, он «переимчивее и общительнее» (А. С. Пушкин), чем, например, немецкий язык. Одновременно он гораздо шире и разнообразнее использует свои национальные источники, чем, скажем, язык французский или английский.

Механизмы взаимодействия литературного языка с внелитературными сферами речи лучше всего могут быть показаны на судьбе элементов, идущих из различных социальных диалектов, профессионального просторечия, жаргонизированной лексики, молодежного сленга и т. п.

Литературный язык постоянно пополняется за счет диалектной, просторечной и жаргонной (арготической) лексики, которая приходит в общее употребление, как правило, в измененном виде и обычно утеряв семантическую связь со своим источником возникновения и специфического бытования. Взаимовлияние и взаимопроникновение характеризует в целом социальные диалекты, отношения между ними. Слова одного жаргона легко могут переходить в другой. Это предопределяет сложный характер взаимодействия литературного языка с социальными диалектами (или социальными разновидностями речи). «Жаргонные слова не только кочуют из жаргона в жаргон, но довольно часто проникают и в обычную разговорную речь. Особенно благоприятной средой для проникновения всякого рода арготизмов является просторечная лексика» [173].

Жаргонная по происхождению лексика и фразеология, попадая в общую речь и литературное просторечие, видоиз-

[172] См. написанный Г. И. Миськевич раздел в кн.: Русский язык в современном мире. М., 1974, с. 168 и след., а также: *Пеньковская Н. П.* Космическая лексика в русском литературном языке (на материале прессы 60–70-х годов). Автореф. канд. дис. Л., 1974.

[173] Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970, с. 495.

меняясь там и сосуществуя с исконно жаргонной лексикой, «образует так называемый интержаргон... что ведет к известному сближению различных социальных разновидностей речи. Границы между ними становятся менее отчетливыми и определенными» [174].

Оформление жаргонизированной речи в качестве своеобразного стиля (скорее потенциального, чем реального), определяя дальнейший путь ее развития, опровергает взгляд на эволюцию жаргона в целом как на нечто подобное судьбе территориальных диалектов (распад с некоторым дальнейшим распространением, «вторжением» в просторечие через промежуточное звено — интердиалект). Применительно к концу 20-х годов В. Стратен писал, например, следующее:

«Более культурная среда отнюдь не содействует проникновению арготических элементов в язык. Мы видим, таким образом, просеивание отпавших от арго и нахлынувших на нас слов через несколько сит: сначала эти слова почти целиком просеиваются в жаргон беспризорных; в языке школьников некоторые слова уже отсеиваются; еще большее отсеивание происходит в языке комсомольцев, затем рабочих, интеллигентов. И сравнительно немногие слова проходят через все эти сита, выдерживают борьбу за право полного гражданства.

В годы разрухи и голода слова эти хлынули было в невиданном до сих пор количестве, затем эта волна стабилизировалась и в настоящее время значительно уменьшилась» [175].

Следует учитывать, конечно, что это высказывание относится к периоду активного и непосредственного взаимодействия арготических элементов с разговорной и литературной речью. Однако это не единственный и далеко не самый типичный путь нейтрализации и «олитературивания» арготических по происхождению слов и выражений. Впрочем, представление о «ситах», стоящих на пути проникновения жаргонизмов в бытовую речь, может быть не столь четко выраженное, так или иначе сохраняется и до наших дней.

Действительно, с позиции наблюдателя литературной (шире — письменно-книжной) речи мы увидим большее

[174] Там же.

[175] *Стратен В.* Арго и арготизмы.— В кн.: Известия комиссии по русскому языку АН СССР, т. 1. М.— Л., 1931, с. 146—147.

или меньшее вхождение, утверждение (или простое «использование» в тех или иных целях) отдельных жаргонных выражений и слов. При этом редко кого удивляет та естественность и простота употребления, которая присуща жаргонной речи, ее общедоступность и общепонятность (для некоторого «отчуждения» достаточно бывает заключить слово в кавычки, снабдить его характеристикой вроде «рыночное», «молодежное», «блатное» и т. п.).

Дело здесь, следовательно, никак не в проникновении отдельных чужеродных, внесистемных элементов в литературную (ориентированную на литературность) речь, а в действительной перестройке иерархической системы стилей, противопоставленных как «официально-литературное» и «обычное разговорное» или «принятое», но одинаково существующее в языковом сознании носителей. Речь идет, таким образом, не о проникновении отдельных элементов жаргона в обычную речь, не о количественном их росте в тот или иной период, а о новом качестве жаргона как своеобразного стиля речи в новую эпоху развития национального языка.

Явление это присуще не только русскому языку, оно едва ли не является общеязыковым (по крайней мере оно оказывается общим для многих европейских языков). Большинство исследователей французского языка констатирует потерю французским арго второй половины XIX в. прежней профессиональной замкнутости, его смешение с парижским городским просторечием, при котором собственно арго растворяется в более широкой сфере жаргонизмов и образных выражений обиходного языка. «Современное арго стало другим названием для парижского просторечия»,— писал Л. Сенеан в «Языке Парижа». Наблюдения над языком Берлина и Лондона подтверждают положения Сенеана: для английского городского жаргона существует даже специальный термин slang (сленг) [176].

Французское арго, отмечает П. Гиро, возникло как специальный язык воровского мира, но это понятие в дальней-

[176] См. об этом: *Жирмунский В.* Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936, с. 123 и др. Об английском сленге см.: *Хомяков В. А.* Введение в изучение сленга – основного компонента английского просторечия. Вологда, 1971; *Судзиловский Г. А.* Сленг — что это такое? Английская просторечная военная лексика. М., 1973.

шем изменилось. Эволюция шла от секретного языка злоумышленников к особой фразеологии и затем к речи как сигналу или знаку определенной социальной принадлежности. Три элемента, по мнению Гиро, составляют структуру этого специального языка: 1) особые слова, отражающие мировоззрение, взгляды, чувства той или иной социальной группы; 2) слова секретные, рожденные потребностью преступной деятельности и созданные по своеобразным моделям; 3) слова «арготические» (в расширительном смысле), составляющие смесь слов обычных и необычных. «В настоящее время, в своей тройственной функции, арго остается ответвлением народного языка и как таковой характеризуется гипертрофированными формами экспрессии» [177].

Таким образом, новое арго в процессе языковой эволюции приближается, по словам В. М. Жирмунского, к типу жаргона, но имеет более широкую социальную базу, чем старые профессионально-корпоративные жаргоны. «Арготическая лексика, утратив свой профессиональный и секретный характер, служит средством эмоциональной экспрессии, образного, эвфемистического, иронического словоупотребления в сфере повседневного бытового общения. Теряя свою специфику, она приобретает более зыбкий и неопределенный характер, причем главенствующую роль играют в ней на этой новейшей стадии метафорические иносказания как способ экспрессивного переосмысления стандартов национального языка» [178].

Эволюция от жаргона к сленгу происходит неравномерно. Заимствуются слова и выражения, усваиваются элементы жаргона. Жаргонные слова и словосочетания приносят с собой своеобразную «фразеологичность» — излюбленные или просто обычные в системе жаргона соединения и сцепления слов. Можно говорить поэтому в некоторых случаях о жаргонной «валентности» слова: не только, например, *симпатяга*, но — чаще — *симпатяга малый*, не только *толкнуть* (*доклад*), но и более естественно (в том же примерно значении) — *толкнуть речу* или *речугу* и т. п.

Взаимодействие жаргонного стиля речи с просторечием создает в живом общении широкую базу для действий всякого рода аналогий, привычных для просторечия ассоциаций, ложной («народной») этимологии и т. д. Интересно

[177] *Guiraud P.* L'argot. Paris, 1956, p. 16.
[178] *Жирмунский В.* Указ. соч., с. 152 и след.

в этом смысле усвоение арготических по происхождению слов *темный* и *темнить* (в буквальном арготическом употреблении: *темный товар* 'ворованный (товар)', *темнить* 'скрывать часть добычи при дележе' и т. п.), которые в просторечии осмысляются через *темный* 'неясный, непонятный' (ср. *дело темное*) и жаргонно-просторечное *темнить* 'скрывать свои мысли, выражаться неясно'.

Эволюцию глагола *темнить* хорошо иллюстрируют следующие примеры:

1. Имманентное арготическое употребление: Главари принуждали их (участников банды) давать клятву в том, что они не «расколются» [179] и не будут «темнить», то есть утаивать добычу от главаря шайки (Н. Волков, Не дрогнет рука. Красноярск, 1958); ср. в «Торгово-бытовом словаре» В. И. Симакова: Темнить. Обманывать, надувать (покупателя) [180].

2. Употребление в арготической сфере речи, но в расширительном значении — 'хитрить', 'работать напоказ, увиливая от настоящего труда' [181]: *Не темнить!* Работать — значит работать, а не держаться за стяжок, надеясь на других и притворно пыжась (А. Клещенко, Распутица кончается в апреле.— Звезда. 1961, № 5); ср. также в «Толковом словаре» Д. Н. Ушакова: Темнить — играть втемную; карточное арго.

3. В речи судебного следователя (Дитятичева), не по отношению к вору или вообще преступнику:

Дитятичев нахмурился.

— Не считаю удачным ваше сравнение,— ответил он с чуть приметной обидой.— Все данные за то, что Тетерин *темнит*, уводит от истины... (В. Тендряков, Суд.— Новый мир. 1961, № 3).

4. В жаргонизированной молодежной речи (в разговоре девушки-колхозницы с приехавшим на работу из города молодым инженером):

— Вот объясните: Тоня, когда за вас замуж шла, боялась?

[179] *Расколоться* в арго значит 'раскрыть тайну, разоблачить шайку', 'начать дачу показаний на допросе', 'предать' и т. п.

[180] Ср. также расширение значения в пределах профессионально-арготического употребления выражения *все в ажуре* (см.: *Скворцов Л. И.* Все в ажуре.— В кн.: Вопросы культуры речи, вып. 3. М., 1961, с. 187 и след.).

[181] Хранится в рукописном отделе Института русского языка АН СССР

— Чего же ей бояться?
— Ну, да, по вам, это — одно только счастье.
— Чего ты *темнишь?*
— Ничего *не темню.* У одной моей сестры свадьбу сыграли, а через полгода ушла она от мужа. Гулял (Д. Гранин, После свадьбы).

5. В публицистической газетной статье обозревателя-международника: 28 августа исполняющий обязанности президента страны Раньери Марзилли сообщил конгрессу, что эта тройка уведомила его «об абсолютной нежелательности возвращения в страну Жоао Гуларта, учитывая соображения национальной безопасности». Противники Гуларта *темнят.* В действительности они руководствуются не интересами безопасности Бразилии, а указкой монополистических кругов США (В. Левин, Положение в Бразилии.— Правда, 1961, 30 авг.); ср.: в ССРЛЯ (т. 15. М.— Л., 1963): «*Темнить*... 4. перен. Разг. Лишать ясности, затемнять смысл» (с примерами из В. Тендрякова и Г. Радова); в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (9-е изд. М., 1972): «*Темнить*... 2. перен. Путать, обманывать (прост.)»; наконец, в 4-томном «Словаре русского языка» АН СССР это значение глагола дается вторым, с пометой «разговорное»: «говорить путано, неясно, затемняя смысл чего-л.» (без примеров). Влияние ложной этимологии (*темнить* — от *затемнять, путать*) в этом толковании очевидно.

Имманентное употребление слова *стиляга* (оценочно-положительное) уступило место оценочно-уничижительному (презрительному) употреблению его в обиходно-разговорной речи и затем в литературном языке, где оно стало символом определенного антиобщественного явления. В дальнейшем социальное «обесценение», нейтрализация этого слова привели к шутливому употреблению его в разговорной речи — применительно к своеобразной (комбинированной) окраске некоторых предметов. Стилягой стали называть автомашины, капот которых раскрашен разными красками (обычно это «Москвич» или «Волга»). Этим же словом по сходному признаку называли самолеты и т. п.

Эволюция от жаргона к сленгу и просторечию — сложный и неоднородный процесс. В ряде случаев в жаргонизированное просторечие и сленг приходят не просто нейтрализованные слова того или иного жаргона, а слова и группы слов, заимствованные из одного жаргона в другой, межжаргонные. Подобно интердиалекту, составляющему в

общем базу просторечия, существует и интержаргон (им, хотя и не всегда, выступает арго), находящий непосредственный выход в сленг. Сама нейтрализация (профессиональная открепленность при сохраняющейся социальной маркированности) происходит именно в пределах интержаргона.

Итак, можно говорить о двух путях вхождения жаргонизмов в общую речь: 1) постепенное усвоение жаргонизма разговорной речью, нейтрализация его во времени, при движении к литературной речи (ср.: *стиляга*, *Бродвей*, а также *темнить*, *голосовать* и др.); 2) усвоение слов или выражений из интержаргона, при котором относительная нейтрализация происходит до их выхода в общую речь (экспрессия и маркированность былой принадлежности жаргону в этом случае сохраняется гораздо дольше), ср. историю таких слов, как *фитиль*, *прокол*, *верняк* и др.

Понятие об интержаргоне (межжаргонной лексике) в неявном или обратимом виде издавна встречается в лингвистической литературе, особенно в конкретных описаниях общественно-языковой судьбы тех или иных социально прикрепленных выражений и слов [182].

Л. В. Успенский в статье «Язык революции» (являющейся, в сущности, развернутой рецензией на книгу А. Мазона о русском языке эпохи гражданской войны и революции) пишет: «Не отмечены у Мазона *ловчить*, *драпать*, интереснейший глагол *опупеть*. Глагол этот представляется мне любопытным по свойствам истории своего пребывания в языке: юнкерский жаргон — жаргон летчиков — довольно общее употребление — жаргон молодежи, в частности комсомола и вузовцев» [183].

Р. О. Шор в рецензии на книгу Вяч. Тонкова «Опыт исследования воровского языка» отмечает: «В некоторых этимологиях не отмечено посредствующее звено — жаргон игроков, деклассированных, бурсаков, через который иностранное слово попадает в „блат“: *понтер* — обычный термин игры в банк, засвидетельствованный уже у русских классиков; слова *кумпол, ставить банки* — как слова бур-

[182] Межжаргонными, или интержаргонными, следует, видимо, признать такие слова, которые встречаются не менее чем в двух «профессиональных» сферах жаргонизированной речи.

[183] *Успенский Л.* Язык революции.– В кн.: Пять искусств. Л., 1928, с. 12. Через юнкерский жаргон прошли *балдеть, шпилить* и др.; см.: *Домрачев А.* Корнеты и сугубцы.– Рус. богатство, 1912, № 12.

сы — засвидетельствованы у Тургенева („Пунин и Бабурин“) и у Помяловского („Очерки бурсы“)» [184].

В. В. Виноградов, исследовавший историю жаргонно-просторечного глагола *стрелять — стрельнуть*, писал:

«*Стрелять* в значении ‘добывать выпрашивая или вымогая’ и теперь свойственное, главным образом, нелитературному просторечию, несомненно арготического происхождения. Среди слов „блатной музыки“ разными исследователями отмечен глагол *стрелять* со значением ‘красть’. Этому русскому арготизму соответствует немецкое воровское schissen с тем же значением. Следовательно, внутренняя форма, лежащая в основе этого арготического употребления, интернациональна для среды деклассированных... (можно отметить, что стрелки были по большей части отставными военными или чиновниками не у дел.— *Л. С.*).

...Как многие слова из арго деклассированных, глагол *стрелять* с соответствующими видоизменениями значения распространился в XIX веке по разным профессиональным диалектам (разрядка наша.— *Л. С.*). Так, из нищенски воровского арго, из арго деклассированных слова *стрелок, стрелять, стрельнуть* попадают в старомосковский жаргон торговцев, например книгопродавцов... *Стрелять* в жаргонном значении впервые отмечено в словаре П. Е. Стояна (Петроград, 1916). В арго нищих и деклассированных слово *стрелять* употреблялось как в Москве, так и в Петербурге и других городах. Возможно, что в Петербург оно перешло из Москвы» [185]. Толковые словари современного русского языка отмечают у глагола *стрелять* значение ‘просить, выпрашивать’ или ‘добывать, доставать, прося’ с пометой «просторечное» (см., например, ССРЛЯ, т. 14; «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, начиная с 9-го изд., и др.).

Современное разговорно-просторечное существительное *отсебятина* является по происхождению профессионализмом, возникшим в речи художников. В. И. Даль считал это слово плодом индивидуального словотворчества К. Брюллова. М. Михельсон повторил эту далевскую версию. «От художников,— отмечает В. В. Виноградов,— слово *отсебятина*

[184] *Р. Ш*[ор]. Рец. на кн. Вяч. Тонкова «Опыт исследования воровского языка».— Рус. язык в советской школе, 1931, № 1, с. 185—186.

[185] *Виноградов В. В.* Из истории русской литературной лексики.— Вестн. МГУ, 1947, № 7, с. 12 и след.

переходит в смежные области искусства — к литераторам и актерам» [186].

Реальность интержаргонного слоя лексики как основного источника или «склада» различных жаргонных и арготических элементов с несомненной ясностью и определенностью выявляется из этих примеров. Роль в формировании этого слоя арготических элементов и актерского жаргона продолжает оставаться значительной вплоть до нашего времени. Именно из интержаргона пришло, например, в просторечие слово *халтура*. Из церковного (или бурсацкого) речевого обихода, где оно значило 'служба по покойнику, отпевание', слово это перешло в арго (в качестве своеобразной метафоры: служба по покойнику — кража в квартире, где находится покойник; легкая нажива, в отличие от налетов, связанных с риском и т. п.; в самом арго — иронически-пренебрежительное; ср. *халтура* и *вор-халтурщик* в словарях В. М. Попова и В. Ф. Трахтенберга). Арготическое употребление этого слова было заимствовано другими жаргонами, стало межжаргонным, ср. *халтура, халтурщик, халтурить* в речи артистов-гастролеров и в музыкантском (лабушском) жаргоне [187].

Описанные здесь «пути» жаргонизма следует рассматривать не как последовательное развитие семантики слова

[186] *Виноградов В. В.* Из истории русской литературной лексики, с. 20.

[187] Иллюстрации употребления этих слов см. в кн.: *Боровой Л.* Путь слова. М., 1963, с. 255 и след. В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера, переведенном и дополненном О. Н. Трубачевым, слово *халтура* сопровождается примечанием: «Это слово из речи духовенства распространилось через театральный жаргон в общенародный язык» (со ссылкой на Р. Якобсона). Думается, что такое категорическое утверждение не вполне объективно отражает сложную судьбу этого слова в русском языке. Интересно, что еще в 20-е годы слова *халтура, халтурить, халтурщик* нередко сопровождались необходимыми пояснениями. Нейтральное (чисто «профессиональное») употребление глагола *халтурить* Л. Боровой иллюстрирует отрывком из письма К. С. Станиславского Л. Гуревич 1919 г.: «Моя жизнь совершенно изменилась. Я стал пролетарием и еще не нуждаюсь, так как *халтурю* (это значит играю на стороне) почти все свободные от театра дни. Пока я еще не пал до того, чтобы хорошо поставить вне театра...» Ср. с этим оценочное употребление слова *халтурщик*: «Дело в том, что эти танцы исполняются не только на сценах наших театров так называемыми никудышными *актерами-халтурщиками*, но они проникают и в школьные вечера, в комсомольские клубы» (Жизнь искусства, 1923, 18 сент.).

в связи с новым употреблением, а, скорее, как распространение со временем в разных социальных группах некогда профессионально маркированного термина. Семантика, связанная с побочным, легким заработком (или прибылью вообще), могла развиваться уже в самом церковном речевом обиходе, в жаргоне певчих, дьяков и т. п. См. об этом в «Словаре к пьесам А. Н. Островского»: «*Халтура.* В обиходе православного духовенства так назывались службы, происходившие на дому у прихожан, по большим праздникам; для того, чтобы успеть обойти большее число домов — и, следовательно, собрать больше денег,— они произносились ускоренно и в сокращенном виде. Отсюда *халтура* — выгода, легкий добавочный заработок, без особой траты сил. П. М. Садовский, играя Подхалюзина („Свои люди — сочтемся"), оговорился, сказав „а чтоб и мне *халтура* была". Островский, тут же присутствующий, сказал: „так всегда и говорите"» [188]. В пьесе А. Н. Островского «Воспитанница» слово *халтура* 'взятка' вложено в уста судейского чиновника-хапуги: «Он теперь уже заранее рассчитывает, сколько доходов будет получать в суде, или *халтуры*, как он говорит».

Новые социальные группы по-своему обогащали этот первичный смысл, приспосабливали его к своим языковым вкусам и навыкам. Ср., например, в жаргоне торговцев: «*Халтурщик.* 1. Торговец плохим товаром» при «2. Взяточник» [189]; *Халтурка* — недоброкачественная работа, недоброкачественная выделка товара [190]. Газета «Красная Нива» писала в 1928 г. (№ 23) в разделе «Новые слова»: «Слово *халтура* — старое, оно пришло с юго-запада, из среды духовенства. На юге *халтурой* называли поминки, даровое угощение. В дальнейшем *халтура* приобрело значение слова „нажива". На языке московских попов *халтура* означала службу в чужом приходе. Слово это перешло затем в актерскую среду. В современном значении *халтура* — недоброкачественная работа. *Халтурщик* — тот, кто занимается *халтурой, халтурничает*». На тот же географический и социальный источник указывал А. М. Селищев: «С Юга и Юго-запада, из среды духовенства, занесено в Москву и в

---

[188] *Ашукин Н. С., Ожегов С. И., Филиппов В. А.* Словарь к пьесам А. Н. Островского. Гранки 1948 г. (не издан). Хранится в рукописном отделе библиотеки ВТО.

[189] *Симаков В. И.* Указ. соч.

[190] Там же.

другие города слово *халтура*» [191]. Об актерской среде как передаточном звене при переходе слова в интержаргон и общее просторечие свидетельствуют сами артисты: «Страстную площадь называли „*халтурной*“. На этой своеобразной *халтурной* бирже организаторы спектаклей ловили актеров, чтобы заменить случайно выбывшего актера или подобрать недостающего в пьесе исполнителя... Слово „*халтура*“ с тех пор пошло в ход и до сих пор прочно держится в актерском лексиконе, обозначая плохо, наскоро состряпанный спектакль» [192]. Слово *халтура* фиксируется в современных толковых словарях, начиная со словаря Д. Н. Ушакова, где оно имеет три значения: «1. Побочный и преимущ. легкий заработок сверх основного, первонач. у певчих, у церковного причта (устар.). 2. Небрежная и недобросовестная работа, обычно без знания дела (разг. пренебр.), 3. перен. Вещь, сделанная таким образом, продукт такой работы (чаще о статье, пьесе, картине, игре актера и т. п.; разг., пренебр.)». В ССРЛЯ слова *халтура* и *халтурить* даются с пометой «разг. и прост.» и входят в ряд однокоренных образований: *халтура*, *халтурный*, *халтурщик* и *халтурщица*.

Другой интересный пример разветвленных социально-групповых речевых связей дает существительное *верняк*. В словарях В. М. Попова и В. Ф. Трахтенберга [193] *верняк* — шулерский прием: игра *на верняк* (Попов) ‘игра с шулерскими приемами’, то же у Трахтенберга — *играть наверняка*. В жаргоне биллиардных игроков *верняк* ‘верный шар’: тот, который легко забить, ср. *забить верняка, подставить верняка* и т. п.: Пижон тотчас бросился на легкие шары и сразу забил три *верняка*, набрав тринадцать очков (Л. Славин, Наследник) [194]. Можно, очевидно, предположить арготическое (незафиксированное) *верняк* ‘верное дело, надежный замысел’ и т. п.

В артистическом жаргоне *верняк* употребляется по отношению к пьесе или роли, обеспечивающей легкий, но

[191] *Селищев А. М.* Язык революционной эпохи. М., 1928, с. 118.

[192] *Смирнова Н. А.* Воспоминания. М., 1947, с. 302.

[193] См.: *Попов В. М.* Словарь воровского и арестантского языка. Киев, 1912; *Трахтенберг В. Ф.* Блатная музыка. Жаргон тюрьмы. СПб., 1908.

[194] В словаре В. И. Даля «*играть наверняка* – шулерски, мошеннически», «*бить наверняка* – делать что-н. безошибочно». Из этого последнего выражения (связанного, по-видимому, с жаргоном биллиардистов) и развилось, очевидно, современное наречие *наверняка*.

сомнительный успех: «Это мое прямое дело!» — какая это ходовая фраза и сколько вреда она принесла театру!.. Прямое дело — это роль, которая натягивается на индивидуальность актера, как перчатка, ничего не добавляя к нашему привычному представлению о нем. Это «*верняк*», а *верняк* в искусстве почти всегда оборачивается полуправдой, ведет к рутине, превращается в штамп» (Сов. культура, 1959, 12 дек); — Ну, сами понимаете — первый театр, пьеса неапробированная. Не то что какой-нибудь *верняк*, обошедший все сцены (В. Овечкин, Пусть это сбудется.— Нева, 1961, № 10).

В жаргонизированной речи молодых научных сотрудников *верняк* — тема, обеспечивающая получение научной степени, безукоризненная в смысле внешней «диссертабельности» и т. п.: Полтавский грозился бросить все к чертовой бабушке. Он не может позволить себе роскошь мучиться два-три года, чтобы получить отрицательные результаты. Ему нужно защитить диссертацию. У него семья, дети. Ему нужна тема — *верняк*. Крылов не возражал ему (Д. Гранин, Иду на грозу). Ср. употребление слова *верняк* в жаргонизированной речи торговых работников: Зашла парочка — ему под шестьдесят, ей нет и тридцати. Это «*верняк*», он купит дамские часики, обязательно золотые (А. Васильев, Вопросов больше нет...— Москва, 1964, № 6).

И наконец, употребление *верняк* в жаргонизированном просторечии, в значении ‘верное, надежное дело’ и т. п.:

— Такое послание наверняка подействует! Сомнений быть не может. Завернуто на всю катушку!

— А на формулировочки мои вы обратили внимание?— спросил старик.— «*Верняк*» (М. Левитин, Конец короля липы. М.—Л., 1962).

В собирательном значении ‘верные люди (кадры)’, ‘надежные студенты’ и т. п.: Тут уж, само собой, приходит «*верняк*», люди «тертые в точных науках» (о студентах.— *Л. С.*) (Юность, 1974, № 11).

Интересно, что современные разговорные *переживать* ‘волноваться, расстраиваться’, *на полном серьезе* ‘серьезно’, *накладка* ‘неполадка, ошибка, просчет’ также пришли из профессионально ограниченного употребления через интержаргонное посредство.

Переживать обычно рассматривается как эллиптическое образование, характерное для разговорной речи и просто-

речия[195]. Между тем есть основания полагать, что очень часто такие «включения» или «стяжения» характерны именно для профессионального просторечия (ср.: *нарушать и нарушитель, усвоить, осознать* и т. п.), где обычность многих словосочетаний и дает начало семантико-синтаксическим преобразованиям, которые затем в профессионально маркированном виде входят в общее употребление. Ср. имманентное использование глагола *переживать* в качестве своеобразного термина (стоящего в ряду с глаголом *сопереживать*, существительными *сопереживание* и *переживание* и т. п.): «*Переживайте*, чувствуйте сильней, глубже, живите!» — говорят они (режиссеры). Или: «Вы *не переживаете*! Надо *переживать*! Постарайтесь почувствовать)» (К. С. Станиславский, Моя жизнь в искусстве. М., 1962, с. 148)[196].

Современное выражение *на полном серьезе* восходит, по-видимому, также к актерскому профессиональному просторечию, где оно употреблялось в вариантах *на серьезе* и *на полном серьезе*, ср.: В общем — хорошее пенье хороших слов *на серьезе* и простоте (В. И. Качалов, О задачах актера при чтении стихов А. Блока.— Картотека ССРЛЯ). Писатель К. Г. Паустовский вкладывает это выражение в уста актера средней руки и не очень высокого вкуса: Бобров утверждал, что самое главное для актера — жест, что нужно добиться, чтобы зрители аплодировали жесту, а не словам, и что единственный благородный жанр в театре — это мелодрама. В разговоре он употреблял слова, свойственные маленьким актерам: „*волнительно*“[197], „*на полном серьезе*“, „*на интиме*“, и думал, что это очень тонко и придает его речи изысканность (К. Паустовский, Дым отечества).

---

[195] См.: *Шмелев Д. Н.* О семантических изменениях в современном русском языке.— В кн.: Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., 1964; *Янко-Триницкая Н. А.* Процессы включения в лексике и словообразовании.— Там же.

[196] Об истории глагола *переживать* в связи с актерским и другими употреблениями см.: *Виноградов В. В.* Историко-этимологические заметки.— В кн.: Этимология. М., 1964, с. 106 и след.

[197] О современном употреблении слов *волнительно* и *волнительный* и об их социальных источниках см. в словаре-справочнике «Правильность русской речи» (с. 35 и след.), а также в заметке В. П. Фелицыной «Волнительный» (Рус. речь, 1968, № 1, с. 106–107).

С середины 50-х годов выражение *на полном серьезе* начинает употребляться журналистами и критиками (в рецензиях и статьях) и обычно с оговорками типа «как говорится» или с выделением «отчуждающими» кавычками, например: Излюбленный прием Остапа Вишни — это лукавый, иронический разговор *«на полном серьезе»* (Г. Рыклин, Всегда молодой. — Лит. газета, 1956, 22 марта).

В одной повести конца 50-х годов осуждение этого выражения вкладывается в уста старого писателя, поучающего начинающего прозаика, молодого человека, недавнего школьника: — Если он (рассказ) написан таким языком, как вы мне его рассказали — как там у вас? *«На полном серьезе»*, так, кажется, у вас говорится,— то я советую вам оставить литературу и попробовать себя в чем-нибудь другом... (И. Гофф, Поэтом можешь ты не быть...— Юность, 1959, № 2).

Начиная с 1960 г. и до наших дней выражение *на полном серьезе* употребляется совершенно нейтрально в очерках и фельетонах, проникает в авторскую речь художественных произведений, например: Один директор детского парка (детского!) *на полном серьезе* утверждал: — Пока парк не будет обнесен крепким забором, никакой работы не ждите (Комс. правда, 1960, 6 янв.); И лишь ученый секретарь НМС Я. Рохлин *на полном серьезе* заявил: если мысли Алаторцева сейчас непонятны современникам, то они будут понятны через 100 лет! (Лит. газета, 1961, 4 марта); Все происходило *на полном серьезе*. Был арендован огромный современный зал с люминесцентным освещением и установкой для кондиционирования воздуха (Неделя, 1961, № 3); — Я возьми, да и скажи Переметову *на полном серьезе*: «А как думает народ?» (Г. Троепольский, В камышах.— Новый мир, 1963, № 4); — Варвара! Без подхалимажу! — отсекает *на полном серьезе* Василий Кузьмич (там же).

Интересно, что нарочитое употребление в жаргонизированной молодежной речи возвращает это выражение к «исходной» профессиональной форме:

— Это что ж, игра, что ли, такая?

— Нет, *на серьезе*. Раз деньги, здесь уж игре конец. При деньгах любая игра — дело. Ну и стал я, так сказать, нажимать на среднее образование и валюту из своих стариков выколачивать,,. (Лит. газета, 1964, 3 февр.).

Межжаргонные слова могут возникать на базе профессионализмов и профессиональных жаргонизмов. Хорошей иллюстрацией этого может служить существительное *прокол*. Это шоферское словечко получило в профессиональной речи разветвленную и обобщенную семантику. Буквально *прокол* — повреждение баллона автомобиля; авария, ср.: В этот момент автомобиль дал жесткий рывок и покатился на обочину, с визгом удерживаемый тормозами.— *Прокол!* — воскликнул Шубников (К. Федин, Необыкновенное лето). Обобщенное значение *прокол* ‘несчастье, беда’ в имманентном употреблении находится, возможно, под влиянием *прокол* талона (компостером ГАИ за нарушение правил езды) [198].

В жаргонизированном просторечии и в обиходно-разговорной речи этимологическая прикрепленность этого слова во многих случаях отчетливо осознается:

— Привет! — с деланной веселостью сказал Володька.

Соня не улыбнулась.

— Ты что, не рада?

Соня молчала. Это было ново. Обида? Не может быть! Неужели и здесь, как говорят шоферы, тоже *прокол*? (Н. Погодин, Янтарное ожерелье. — Юность, 1960, № 1); Как принято говорить среди шоферов, «*прокол*» в их деятельности, казалось, неминуем (Известия, 1962, 16 февр.).

Профессиональный жаргонизм вышел за пределы шоферской речи. Ср. его употребление в сходной функции в жаргонизированной речи актеров: А вот у артистов-гастролеров «*прокол*» означает внезапно сорвавшийся, то есть отмененный спектакль или концерт (Б. Тимофеев, Правильно ли мы говорим? 2-е изд. Л., 1963, с. 99).

В жаргоне газетчиков *прокол* — это пропущенная в газете тема, освещенная в другой газете, ср.: Но с беседой (речь идет об интервью с М. И. Калининым. — *Л. С.*) у меня получился, как говорят журналисты, *прокол*. Отказался дать беседу наотрез (Б. Полевой, В ту тяжелую зиму.— Новый мир, 1970, № 6).

Жаргонно-арготическое употребление этого слова связано с семантикой ‘крах, конец, разоблачение’, ‘неудача в чем-н’. и т. п., например:— Уж ты дело знаешь,— с

[198] Ср. в профессиональной речи текстильщиков: «*Прокол* (на ткани). Может случиться прокол от шпарутков, это получается на медных шпарутках» (*Каринский Н. М.* Очерки языка русских крестьян. М., 1936, с. 164).

уважением заметил тот, кого называли Масленком. — А вдруг твой компаньон сегодня поштопал. Тогда все, *прокол* (А. Адамов, Черная моль. — Юность, 1958 № 6); Появление Валерия одного было встречено громкими возгласами удивления.

— *Прокол,* господа присяжные заседатели! — как можно беззаботнее объяснил он. — Девица закапризничала (А. Адамов. Последний «бизнес»).

По-видимому, именно из межжаргонной сферы проникает это слово в современное просторечие, постепенно нейтрализуясь и утрачивая связь с былой профессиональной прикрепленностью. *Прокол* в обиходно-разговорной речи приобретает значение ‘неудача, досадный срыв, невезение’ и т. п., например:

Шура (с любопытством). Ну что вы на меня уставились?

Березкин. А я же в командировку приехал. На экскурсию. Что ни увижу — полагается разглядеть, запомнить. Только вот не повезло — *прокол!* Отстал от коллектива и растерялся до слез... (Ю. Герман, И. Хейфец, Современная история.— Искусство кино, 1963, № 10). Герой современной повести размышляет, получив резкую отповедь от знакомой девушки: И тут у меня *прокол.* А мне казалось: подумаешь, девчонка с Часового завода! Поманю — побежит... (А. Васильев, Вопросов больше нет...— Москва, 1964, № 6). Ср., наконец, в газетной заметке информационного характера: А между тем почти во всех краевых советах спортивных обществ за последнее время были отмечены крупные недостатки. В «Буревестнике» сняли руководство за жульничество. В «Воднике» — за развал работы. Не слишком ли много «*проколов*» в работе совета спортивного союза? (Сов. спорт, 1966, 30 янв.).

Разговорное существительное *накладка* ‘ошибка, промах’ не отмечается большинством современных толковых словарей. ССРЛЯ выделяет семь значений этого слова: 1. Действие по значению глагола *накласть.* 2. Накладная часть оружия, механизма и т. п. 3. Металлическая пленка, петля, надеваемая на скобу для висячего замка. 4. Устар. Изделие из чужих волос (парик, жгутик и т. п.). 5. Украшение из материи, пришиваемое к женскому платью; нашивка на платье или каком-либо другом сшитом изделии. 6. Спец. Запрещенный способ игры в футболе. 7. В речи актеров, музыкантов — ошибка, промах.

Очевидно, *накладка* ‘промах, ошибка’ является по происхождению сценическим жаргонизмом. *Накладка* — это нарушение одной из важнейших условностей драматического искусства, которая состоит в строгой линейности реплик действующих лиц, их последовательности без «наложений» голосов говорящих, столь естественных в живой речи. *Накладка* в пьесе буквально обозначает ‘перебив, одновременное вступление в текст двух актеров’. Речевое действие без накладок отрабатывается на репетиционных занятиях; в пьесе — это брак, сразу воспринимаемый зрителями как ошибка, «неестественность». Но уже в самой сценической актерской речи это слово получает расширительное употребление: накладкой называют любой недосмотр, неувязку или казус в ходе спектакля (падение мебели, шум за сценой, неполадки с занавесом и т. п.), например: Каждый актер может рассказать о самых нелепых и неловких «*накладках*», которыми сопровождались его первые выходы на сценические подмостки (А. Борисов, Из творческого опыта); И еще одно замечание. Спектакль, на котором мы присутствовали, шел с «*накладками*», как говорят в театральном мире. То один из артистов уронит стул, то под другим развалится табурет. Некоторые исполнители перевирали реплики, перебивали партнеров, то вдруг начинали говорить все сразу... Эти досадные неполадки как-то плохо вяжутся с нашим представлением о театре, великие основатели которого считали сцену святыней (Комс. правда, 1955, 1 февр.).

Накладка в значении ‘брак в работе, ошибка’ стала употребляться в других профессионально-жаргонных сферах, например в речи журналистов: И все-таки ошибка. В редакции это называют «*накладкой*», «ляпом», но никто не говорит «ошибка» (Лит. газета, 1962, 18 янв.).

Употребляясь некоторое время с обязательными кавычками или «оговорками» («так сказать», «как говорят» и т. п.), *накладка* в современной разговорной и письменной речи потеряла всякий намек на буквальное, профессионально-жаргонное значение, ср., например: Конференция прошла организованно. Собрались вовремя, выступали активно. Ораторы не нарушали регламента... Ни одной ошибки, ни одной, как говорят, *накладки*. А секретарь недоволен (Комс. правда, 1959, 9 дек.); Впрочем, от подобных «*накладок*» можно избавиться сравнительно лег-

ко. Гораздо сложнее выправить некоторую однобокость литературного процесса (Лит. газета, 1959, 8 сент); — Нескладно, Яша. Учесть этот опыт на заводе. Есть? — Есть,— сказал Яша Бабенчиков и подмигнул Сергею, но не зло, а сочувственно: дескать, ты уж извини, *накладка* получилась (П. А. Павленко, Степное солнце); А этот штурмбанфюрер велел не у парадного подъезда машину остановить, как обычно, а у калитки, о существовании которой нам не было известно. Получилась *накладка*. В подпольной прессе напечатали на гектографе, что этот фашистский палач не уйдет от возмездия, а население привыкло верить нашей прессе (В. Кожевников, Земные звезды.— Лит. газета, 1964, 31 окт.).

ССРЛЯ дает слово *накладка* в значении ‘промах’ лишь в качестве актерского жаргонизма: «...7. В речи актеров, музыкантов — ошибка, промах» (с цитатой из книги А. Борисова «Из творческого опыта»). Для современной разговорной речи и просторечия эта «специализация» значения полностью преодолена. Ср. в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (9-е изд.): «*Накладка*... 3. Ошибка, промах (прост.). В этом деле без накладок не обходится».

Интересные примеры взаимодействия на межжаргонном уровне дают арго, военный (и морской) жаргон и другие жаргоны и т. п. Старое арготическое *сидор* ‘мешок’ [199] заимствовано в военном (солдатском) жаргоне, где оно значит ‘вещевой мешок’ (Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке; Л. Волынский, Двадцать два года, и др.). Сейчас это слово начинает проникать и в просторечие, ср., например: — Садись... Да *сидоры-то* брось в кузов — целы останутся.— Не,— Настя стала пристраивать сумки на коленях.— Бутылки у меня — побьются (В. Тендряков, Подёнка — век короткий.— Новый мир, 1965, № 5, с. 108); В галантерейном отделе пошли в ход уцененные гибриды («*сидора*» с «авоськой») (Веч. Москва, 1966, 6 марта).

---

[199] В словаре В. М. Попова «*Сидор* – дворник»; ср.: «*Сидор Поликарпыч* – мешок, сумка с продуктами» (рукописные материалы НИИ МВД), в рукописных материалах Крутихина «*Сидор* – мешок; колхозник». Ср. в рукописном «Торгово-бытовом словаре» В. И. Симакова: «*Сидор* с печи. Прозвище простоватому покупателю». В материалах «Донского словаря» А. В. Миртова *сидор* – мешок (приложение «Словарь ростовских беспризорников») (см.: *Миртов А. В.* Материалы к изучению лексики донских казаков. Ростов н/Д., 1929).

Отражение арготического (видоизмененного) употребления находим в следующем литературном примере: — А в ссылке (я) был *Сидор. Сидором* звали. *Сидор* — мешок. Или все равно — колхозник (Г. Троепольский, В камышах). Обычным является употребление слова *сидор* рядом со словом *мешок,* когда оно выступает в роли иронического прозвища, ср.: Наутро мы перезнакомились — сорок разного возраста приписников с чемоданами, *мешками-сидорами* и туристскими рюкзаками (Л. Волынский, Двадцать два года.— Новый мир, 1964, № 1); — С *мешками-то* ни в жисть бы не прорвались. Сидели бы сейчас на полу на этой... на палубе, на своих *сидорах* (И. Торопов, Ну-у, залетные!..— Север, 1973, № 12).

Из речи (или через речь) военных пришли в жаргон слова *сачок* ‘лодырь, бездельник’ (глагол *сачковать*, *саковать*), первоначально означавшее ‘пройдоха, доставала; франт’, а теперь ставшее синонимом к жаргонному же *филон* (глагол *филонить* ‘бездельничать’), *дробь* (отказ от чего-н., отмена чего-н.) и *задробить* (отказать кому в чем-н., запретить, отменить и т. п.), из терминологии морской сигнализации — *пришвартоваться* ‘познакомиться (с девушкой), завести дружбу’ и др.

К военному словоупотреблению восходит жаргонно-просторечное *заход* ‘попытка, очередное действие’ и т. п. (букв. *заход* самолета для бомбометания и затем *заход* — цикл артобстрела). Ср. наречие *сходу* ‘без подготовки’ (из военного термина *с ходу* и т. п.).

Из той же среды пришло и слово *салага, салажонок* ‘новичок, неумелый или молодой, неопытный работник’ (букв. от *салака* ‘мелкая рыбешка, мальки’; ср. в том же значении арготические по происхождению *караси, гольцы* или *огольцы* и т. п.). Ср. также *букварь* (букв. ‘молодой, необученный солдат, новобранец’) или *марафет* (*навести*), *фитиль вставить* и т. п.

В связи с проблемой усвоения жаргона просторечием и должен, по-видимому, решаться вопрос об искусственности или естественности, условности или обычности жаргонной речи как таковой.

Большинство прежних исследователей русской жаргонной речи исходит именно из условности, тайности, искусственного характера жаргонов (В. Стратен, С. Копорский, В. Тонков, отчасти Е. Поливанов и В. Жирмунский). Эволюция от жаргона к сленгу и просторечию сводится в

работах этих авторов к потере условности и «тайности» жаргона в связи с общественным (внеязыковым, внешним к языку) развитием. Вместо старой, профессионально-корпоративной условности появляется новая условность — засекречивающая (чем и объясняется синонимическое богатство жаргона, его лексическая подвижность, «текучесть»). Однако в ряде случаев это рассуждение приводит к противоречию с реальными языковыми фактами. Поэтому выдвигается идея «кризиса» жаргона в определенную эпоху (В. Стратен, В. Жирмунский), наиболее интенсивный этап которого у нас падает на послереволюционные годы. В настоящее время эта идея нас, конечно, не может уже удовлетворять. Теория «сит» (В. Стратен и др.) оказывается следствием той же «тайности» жаргона, поскольку она говорит о постепенной расшифровке, «легализации» элементов, созданных в целях конспирации. В недавних работах, посвященных социальным диалектам и исходящих так или иначе из идеи «тайности» и «искусственности», связанные с этим противоречия совершенно очевидны.

Ст. Стойков, разделяя социальные говоры на профессиональные (говоры) и жаргоны, определяет жаргон в целом как «искаженный, испорченный язык» и говорит о трех видах жаргонов: 1) тайные говоры (условные языки, арго), 2) групповые говоры (сленги) и 3) классовые говоры (например, буржуазии и т. п.). Обращаясь к судьбе «тайных» говоров, в их сегодняшнем состоянии, автор пишет: «В настоящее время тайные говоры постепенно исчезают вместе с исчезновением общественной категории „деклассированных“; они расширили и изменили свою функцию, смешиваясь в значительной степени с групповыми говорами городских „низов“ (разрядка наша.— *Л. С.*) и особенно с говорами молодежи. Тайным говорам, как и профессиональным, свойственна известная специализация лексики, но основная масса их слов (что вообще характерно для жаргона) заменяет общеупотребительные названия общенародного языка. Это связано с основным назначением тайных говоров — удовлетворять обыденные нужды повседневной жизни» [200].

---

[200] *Стойков Ст.* Социальные диалекты.– ВЯ, 1957, № 1, с. 80–81.

Стремясь разграничить профессиональную речь и жаргон, автор говорит о жаргоне как о словаре общеупотребительных названий; при этом удовлетворение обыденных нужд повседневности оказывается основным назначением «тайных» говоров. Спорить с этим (учитывая действительную языковую эволюцию) невозможно, однако во всех этих утверждениях и выводах не остается места для «тайности». Парадоксальность выводов и рассуждений снимается именно отказом от постулируемой идеи тайности жаргона [201].

А вот что говорит Ст. Стойков о групповых говорах: «В отличие от других видов жаргонов, групповые говоры не предназначены для того, чтобы сделать речь их носителей недоступной для посторонних лиц. Они являются скорее своеобразным общественным развлечением... В основе групповых говоров обычно лежат тайные говоры, которые незаметно усваиваются другими социальными группами, часто не осознающими, что они пользуются особым „языком“...» [202]

Нельзя, конечно, ничего возразить против того, что в основе сленга («группового говора») лежит жаргон («тайный говор»). Но каким же образом тайный говор «незаметно» усваивается и, следовательно, так же незаметно становится основой просторечия? Очевидно, основой (группового говора или просторечия) может стать лишь то, что существует реально (хотя, может быть, и потенциально, неявно по отношению к принятым нормам и стилям), что существует в виде системы наряду с обычной, скажем, «общелитературной», составляя ее нижний этаж или подвал.

В чем же состоит истина? Она, по-видимому, заключается в том, что жаргон действительно эволюционирует к сленгу, естественно усваивается им и находит встречные движения, укладываясь, таким образом, в рамки нормальных процессов обычной живой (отнюдь не «тайной» или «искусственной») речи.

---

[201] Элементы «секретности» и «искусственности» жаргонов и арго (остаточные, реликтовые по своему характеру) позволяют современным исследователям считать, например, что «условные языки занимают промежуточное положение между языками искусственными и естественными» (*Бондалетов В. Д.* Условные языки русских ремесленников и торговцев. Рязань, 1974, с. 23).

[202] *Стойков Ст.* Указ. соч., с. 82.

Из отечественных исследователей едва ли не один Д. С. Лихачев активно выступал (вслед за французскими языковедами) против исходного принципа «тайности» арготической и жаргонной речи. В этом следовал за ним (ссылаясь на его работы) известный знаток и собиратель жаргонной речи самоучка филолог В. И. Симаков. В статье «Черты первобытного примитивизма воровской речи» Д. С. Лихачев писал: «...Называть воровскую речь условной и тайной только потому, что она нам непонятна, так же наивно, как и называть иностранцев „немцами" потому только, что они говорят на языке туземцев. Так же наивно предположение, что вор может сохранять конспирацию, разговаривая на своем „блатном языке". Воровская речь может только выдать вора, а не скрыть задуманное им предприятие: на воровском языке принято обычно говорить между своими и по большей части в отсутствии посторонних» [203].

Наблюдения эти подтверждаются данными о том, что в разговорах со следователями арготирующие нередко переходят на «блат», как бы подчеркивая этим доверительность беседы, ведущейся на «своем», общем для обеих сторон языке. Отрывок из современной документальной повести хорошо подтверждает это:

Жизнь шла своим чередом. Я в совершенстве овладел блатным жаргоном и как-то, решив поразить Бодунова фундаментальностью своих знаний, сказал ему примерно такую фразу:

— Вчера, я слышал, одному выключили зажигание, думали — он дубарь, а он похрял. Наверное, теперь останется на всю жизнь крахом. Конечно, кто сделал, свалился, до хавиры бандит недоконал. Не знаете, когда крестить будут?

— Простите, не понял,— с ледяной вежливостью ответил Бодунов.

— Чиркухаете!— сказал я.

— У нас (т. е. в Угрозыске.— *Л. С.*) жаргон запрещен,— произнес Бодунов.— И когда жулики с нами начи-

---

[203] *Лихачев Д. С.* Черты первобытного примитивизма воровской речи.— В кн.: Язык и мышление, вып. 3—4. М., 1935, с. 51. Отрицание «тайности» арго — одно из исходных положений этой статьи. Ср. также: *Лихачев Д. С.* Арготические слова профессиональной речи (1938 г.).— В кн.: Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., 1964.

нают фамильярничать, они переходят на жаргон... (Ю. Герман, Наш друг — Иван Бодунов,— В кн.: Операция «С новым годом!», М. 1964, с. 357).

Во французской лингвистической литературе спор о природе арго возник в начале 20-х годов [204]. И тогда же А. Доза резко возражал против «искусственного» и «условного» характера арго [205]. Он высказал точку зрения, что «тайные языки», как и все языки вообще (кроме, может быть, искусственных языков типа эсперанто), создаются, следуя «темной и коллективной тенденции, которая находит свое выражение бессознательными средствами» [206].

Естественная эволюция арго, превращение его в экспрессивную базу (подоснову) просторечия и обиходно-разговорной речи не оставляет как будто почвы для разговоров об «искусственности», «тайности», «условном» характере арго. Исходя из естественности, спонтанности развития арго по «нормальным» законам языка, А. Доза приходит к выводу, что арго есть активно развивающаяся и подвижная (гипертрофированно продвинутая, «передовая») часть языка [207].

Это положение заслуживает, на наш взгляд, самого серьезного внимания, так как оно проливает свет на очень многие лингвистические вопросы, связанные с исследованием жаргонной лексики, этой своеобразной «кухни» просторечия.

К общей теории национальных литературных языков

Развитые национальные литературные языки отличаются друг от друга не только в отношениях их с другими языками, но и в степени обращенности к своим внутренним ресурсам, к народной речи как источнику пополнения литературно-письменного и литературно-устного общения.

«В истории русского литературного языка,— писал В. В. Виноградов,— не было такого периода, когда литературный язык во всех своих основных стилях был бы совсем оторван от народной почвы» [208]. Вместе с тем в раз-

[204] См. об этом: *Жирмунский В.* Указ. соч., с. 133 и след.
[205] *Dauzat A.* La langue française d'aujourd'hui. Paris, 1923.
[206] *Dauzat A.* Les argots. Paris, 1929.
[207] *Dauzat A.* La vie du language. Paris, 1922, p. 195.
[208] *Виноградов В. В.* Великий русский язык, с. 80.

ные эпохи разговорная речь имела различную степень воздействия на литературный язык и его нормы. Для древнерусского языка разграничение «народное» — «литературное» было связано с противопоставлением (или сопоставлением, сравнением) «разговорное» — «книжное» и базировалось главным образом на жанрово-функциональном разграничении. В дальнейшем проникновение разговорной стихии в литературный язык усиливалось, но вместе с тем наблюдался и обратный процесс — влияние литературного языка на разговорную речь. В настоящее время давняя дихотомия «разговорное» — «литературное» (или «народное» — «литературное») приобретает новую специфику, которая заключается не столько в противопоставлении (или жанровом разграничении) этих сфер, сколько в их взаимовлиянии и взаимообогащении — в новых социальных и идейно-художественных условиях существования и развития русского национального языка. Системы письменно-книжной и устной русской речи, влияя друг на друга, но не сливаясь совершенно одна с другой, находятся в постоянном развитии. В связи с этим глубокая историческая связь литературного и народного языка придает русскому языку образность и красочность, точность в передаче новых понятий или оттенков смысла.

Важное свойство национального русского языка представляет, кроме того, широкое и свободное использование в литературной речи элементов территориальных (старых крестьянских) наречий и говоров. В разные периоды развития общерусского литературного языка место и роль в нем тех или иных диалектных «вкладов» различны.

В Московском государстве литературный язык (официально-деловая речь) формировался на основе среднерусских народных говоров, впитавших элементы севернорусского и южнорусского наречий [209]. При этом севернорусская стихия в государственном языке преобладала. Это влияние продолжалось примерно до середины XVI в., сменившись затем южнорусским влиянием, длившимся около двух веков. Речевая культура и традиции русского севера, лежавшие в основе московской речи, в этот период не претерпели резких изменений. И в Петровское время в пределах литературного языка перевес остается на стороне

[209] В письменной традиции сохранялось наследие Киевской Руси, восходящее к византийским истокам.

севернорусских элементов. Дело в том, что речевая культура русского севера (включая сюда и традиции Новгорода) в целом была выше новых южнорусских влияний. Русский север, в частности Поморье, издавна был одним из самых развитых в культурном и экономическом отношениях краев России. Развитые промыслы, торговля, судостроение, сношения с Норвегией, Голландией, Англией, монастырские хозяйства, рукописные церковные и мирские книги, церковная и народная живопись, деревянная архитектура — все это подготовило деятелей русской культуры, выходцев с севера, к восприятию современной им московской и европейской науки и культуры. Недаром русский север дал стране таких выдающихся деятелей, как В. К. Тредиаковский и в особенности М. В. Ломоносов. Таким образом, к XIX в. русский литературный язык получил необычайное стилевое многообразие, которое обеспечивалось, в частности, и значительной свободой употребления и литературного приспособления самых разных элементов живого народного языка.

Деятельность Тредиаковского, Ломоносова, в более позднее время — Новикова, Фонвизина, Радищева, Крылова, Карамзина подготовила окончательное оформление современной литературной нормы в художественном творчестве Пушкина, осознание ее широкой демократической основы в его исторических и публицистических трудах, в теоретической и художественной мысли России после Пушкина.

Становление литературной нормы со времени Пушкина определялось передовыми деятелями русской культуры в тесном взаимодействии с понятием народности. В общем виде можно сказать, что развитие литературных норм и их осознание говорящими и пишущими (а также и связанная с этим нормализаторская деятельность, кодификация) от Пушкина до наших дней прошли несколько этапов, в каждый из которых происходила — в новых исторических условиях и в ином культурно-художественном наполнении — смена нормативной установки на «разговорность» («народность») установкой на традиционную «литературность» («книжность»).

Действительно, Пушкин начинал свою реформаторскую деятельность именно с настоятельного требования народности языка. При этом народность языка определяется широко и глубоко, а именно всем содержанием национальной русской культуры в ее историческом развитии. Пушкин хорошо

понимал, что народность языка никак нельзя подменять узко понятой простонародностью. Народность глубже и разнообразнее и находится на более высоких, чем простонародность, ступенях культуры. Это «народность» в пределах «литературности», литературно обработанная, литературно освоенная. Именно в этой связи следует понимать пушкинскую «свободу» литературного употребления, выраженную в известных словах о том, что истинный вкус состоит не в безотчетном отрицании, отвержении того или иного слова или оборота, «но в чувстве соразмерности и сообразности».

Естественным было для Пушкина и обращение к русскому фольклору — былинам, сказкам, поверьям. «Изучение старинных песен, сказок и т. п.,— писал он,— необходимо для совершенного знания свойств русского языка». Основой русского национального стиля фольклор был и для Гоголя, называвшего его «сокровищем духа и характера народа». Обращение к фольклору русских писателей, стоявших у истоков формирования русских литературных норм нового периода, совершенно закономерно и вполне объяснимо.

Дело в том, что жанры и стили народной поэзии в принципе были чужды местной, областной исключительности. Исторический народный эпос, былины, сказки, пословицы и поговорки развивались и формировались в целом как общерусский народно-поэтический стиль или язык. Его усиливающееся влияние на письменные стили русского литературного языка к XVIII в. и позднее отражало процессы образования общерусского национального языка в связи с формированием русской нации. Традиции народной речи в своих исторических истоках не только подкрепляли живые демократические основания литературно обработанного языка, но и по-своему усиливали взаимодействие языка русской нации с языковым и духовным опытом других народов и наций. «Если письменной литературой мы присоединились к общему европейскому течению главным образом в XVIII веке, то народной поэзией мы с древнейших времен соединены с самыми разноязычными народами мира»,— писал В. В. Виноградов [210].

Центральное и «смешанное» положение говоров, исторически находящихся у истоков литературного языка, при-

[210] *Виноградов В. В.* Великий русский язык, с. 99.

водило к тому, что диалектно-разговорные приобретения в литературном языке носили двоякий характер: они или не ощущались как таковые (поглощаясь общим понятием «народное» или «разговорное»), или получали достаточно ярко выраженную окраску по местности, происхождению (южнорусизмы или малорусизмы у Гоголя, «уральское», «северное» или «сибирское» у современных авторов и т. п.).

В советскую эпоху соотношение «диалектное» — «литературное», не меняясь качественно, претерпело значительные количественные изменения (в пользу «диалектного») в связи со значительными общественными событиями (революция, гражданская война, мирное строительство, связанное с массовыми переселениями и общей «урбанизацией» населения, Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. и послевоенное строительство), приведшими к активной экономической и политической жизни широчайшие массы рабочего класса и крестьянства. В наши дни сложный и неравномерный в разных частях языковой системы процесс «нивелировки» говоров, их постепенного сближения с литературным языком, взаимовлияние диалектных систем и стилей литературного языка приводят к сложной картине динамического соотношения говоров и литературного языка, которая определяется «шкалой диалектизации» в пределах ареала или индивидуальных навыков человека.

В целом можно сказать, что в отличие, скажем, от французского языка, где можно говорить о преобладающей роли той или иной провинции в политической, литературно-художественной и культурной жизни страны в известные эпохи, для русского языка сколько-нибудь заметного влияния областных территорий на литературно-художественную и общественно-политическую жизнь государства отметить нельзя.

Ни повторяющиеся в разные эпохи «южнославянские влияния», ни перенесение столицы из Москвы в Петербург на 200 лет не могли существенным образом изменить сложившуюся систему литературных норм общенационального русского языка и лишь для каждой эпохи выдвигали набор характерных признаков официальных стилей или социальных показателей принадлежности к «свету», господствующим кругам и т. п.

Иное дело в языке художественной литературы. Принадлежность автора к эпохе и направлению определяет

в целом установку автора (независимо от степени осознанности) на «литературность» или «народность», однако в пределах установки на «народность» можно говорить о широком обращении писателя к родному диалекту или к изученному глубоко языку излюбленной местности, края и т. п. Не случайно еще А. А. Потебня писал о том, что «есть чувства и мысли, которых не вызвать на общелитературном языке... никакому таланту, но которые сравнительно легко вызываются на областном наречии. Есть писатели, которые — сама посредственность, когда выбирают своим органом литературный язык, но которые на родном наречии глубоко художественны и правдивы. Их творения как научные материалы не заменимы никакими изданиями памятников народной поэзии, сборников слов и оборотов, обычаев, поверий и пр.» [211]

Современные литературные нормы русского национального языка характеризуются разветвленностью структуры (с обилием синонимических, стилистически или семантически разграниченных вариантов) и эластичной «крепостью» в употреблении. Постоянная связь с живыми народными истоками приводит к тому, что при общей значительной «описанности» литературных норм кодификаторская и иная регламентаторская деятельность не стесняет и не может стеснить деятельной природы русского языка в его литературно осознанных пределах.

Излишняя детализованная регламентация литературной речи может приводить к определенным трудностям, связанным с поисками адекватных средств выражения для передачи новых понятий, мыслей, оттенков смысла.

«Для заурядного писателя возможность выражать свои мысли с известным изяществом покупается за счет кастрации языка,— писал Ф. Энгельс в письме к К. Марксу 29 ноября 1873 г.— На этом современном, скованном правилами французском языке становится все более невозможным высказывать мысли» [212].

В отличие от «скованного правилами» французского литературного стандарта русский язык всегда характеризовался писателями и общественными деятелями как «органический», полный жизни, творческой свободы.

---

[211] *Потебня А. А.* Из записок по теории словесности. Харьков, 1905, с. 174–175.

[212] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 33. М., 1964, с. 82.

«Он беспределен,— писал о русском языке Н. В. Гоголь,— и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям... Все это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь» (В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенности).

«В русском языке ничего или почти ничего осадочного или кристаллического: все волнуется, дышит, живет»,— отмечал А. С. Хомяков (О старом и новом).

«...главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легкости, с которой все выражается на нем — отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, жизни мышья беготня, крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть»,— говорил А. И. Герцен (Былое и думы).

«...Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен для выражения простых, естественных понятий... В русском языке иногда для выражения разнообразных оттенков одного и того же действия существует до десяти и больше глаголов одного корня, но разных видов...» — подчеркивал В. Г. Белинский (Голос в защиту от «Голоса в защиту русского языка»).

«Слог его (С. Т. Аксакова.— *Л. С.*) мне чрезвычайно нравится. Это настоящая русская речь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая. Ничего нет вычурного и ничего лишнего, ничего напряженного и ничего вялого — свобода и точность выражения одинаково замечательны»,— писал И. С. Тургенев (О «Записках оружейного охотника» С. Т. Аксакова).

«Язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может сказать поэт, мне мил. Язык этот кроме того, а это главное,— есть лучший поэтический регулятор»,— отмечал Л. Н. Толстой (Из письма к Н. Н. Страхову от 25/III 1872 г.).

«...Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстротой поражающей»,— говорил М. Горький (О том, как я учился писать).

«Почему так хорош и художествен язык народной речи? Потому что в народной речи живут и всегда дейст-

вуют законы рождения языка»,— отмечал А. Н. Толстой (Книги для детей).

«Законы рождения языка» живут и действуют и в современной литературной русской речи, и проявляются они в обновлении и совершенствовании языковой структуры, в эволюции и смене литературных норм от эпохи к эпохе и от поколения к поколению. Обновляясь и совершенствуясь, русский национальный язык, обслуживая многосторонние нужды новых поколений говорящих, остается в основе своей русским языком. Накапливая приобретенные многовековым опытом народа богатства и закрепляя новые достижения, литературный русский язык — наряду с другими мировыми языками — вносит свою долю в общечеловеческую культурную, научную и общественную жизнь.

Структура норм любого развивающегося литературного языка в каждый период его существования представляет собой сложную картину движения — переход от прошлого к будущему. Она отражает развитие самого языка: сплетение отживающих элементов с активно действующими или только что порождающимися. Более того, культурный объем «литературности» предполагает включение в него и известной части утерянного в языке, того, что стерлось и перешло в архивный фонд, но потенциально существует в современном литературном языке и, уж во всяком случае, хранится в нем как в сокровищнице материальной и духовной культуры.

Старое и новое, «слабое» и «сильное» в нормах по-разному проявляются на разных языковых уровнях — в произносительной системе, в грамматическом строе, в синтаксисе, в лексике и стилистике.

Одноструктурность национальной нормы, соотносимой, но не совпадающей с нормой литературной, определяет динамизм и многоярусность языковых средств и элементов в пределах литературного употребления.

Л. В. Щерба говорил о своеобразных «концентрах» национального русского языка, лежащих в основе «полной стилистики русского литературного языка»: «В этой стилистике русский литературный язык должен быть представлен в виде концентрических кругов — основного и целого ряда дополнительных, каждый из которых должен заключать в себе обозначения (поскольку они имеются) тех же понятий, что и в основном круге, но кото-

рые имеют данный дополнительный оттенок. Из всего сказанного ясно, что развитой литературный язык представляет собой весьма сложную систему более или менее синонимичных средств выражения, так или иначе соотнесенных друг с другом [213].

Развитие литературного языка и его норм связано не только с процессами расширения его базы (путем взаимодействия и сближения «разговорного» и «книжного», «диалектного» и «литературного» и т. п. или путем заимствований из разных источников), но и с процессами внутреннего упорядочения его структуры, совершенствованием и преобразованием традиционных или создаваемых для нужд общения речевых норм.

Для всякого литературного языка на определенном этапе его развития и сравнительно высокого уровня нормирования (кодификации и научного описания) справедливо высказываемое разными исследователями утверждение о том, что его структура и система его норм претерпевают известное упрощение. «Чем больше люди говорят и пишут на данном языке,— писал, например, Ш. Балли,— тем больше этот язык упрощается, освобождается от пут, которые стесняют повседневное и будничное общение; грамматика упорядочивается, словарь становится более отвлеченным, обиходные понятия обобщаются...» [214] Можно полагать при этом, что в разных сферах литературного языка и литературного общения в целом процессы «упорядочения» протекают по-разному.

Литературно-книжная речь может еще более усложняться, накапливая социально закрепленные или закрепляемые нормы, поддерживая формальную грамматическую или орфоэпическую вариантность дифференциацией семантического и стилистического характера, с развитием и усложнением форм мышления усложняется синтаксис письменной речи и т. п.

Иное дело — разговорно-литературная сфера общения. Процессы словообразовательной, акцентологической и т. п. аналогии, интеграция малозначимых смысловых и стилистических различий приводят к тому, что в пределах разговорных стилей речи происходит действительное упрощение системы, связанное именно с нуждами быто-

[213] *Щерба Л. В.* Современный русский литературный язык.– В кн.: Щерба Л. В. Избр. работы по русскому языку, с. 121.
[214] *Балли Ш.* Указ. соч., с. 345.

вого общения. Весьма наглядно иллюстрируют эти процессы наблюдения над судьбой паронимов современного русского языка, их превращение в дублеты и вытеснение одних из них за счет других в пределах обиходно-разговорной речи наших дней [215].

Взаимодействие сфер «литературного» и «разговорного» в пределах общенационального языка на развитых этапах его существования осложняется разнонаправленными процессами развития этих сфер: дальнейшее усложнение структуры «литературного», накопление в ней закрепляемых традицией элементов противопоставлено «асимметрично» определенному упрощению структуры «разговорного», часто захватывающего те же элементы, которые в сфере «литературного» закрепляются как нормативные. Указанная «асимметричность» определяет изнутри всю сложность и динамику взаимодействия «литературного» и «разговорного», которое никак нельзя свести к простому сближению этих сфер или буквально понятой «демократизации» литературно-книжного языка во времени.

Когда мы говорим о трудностях освоения русского литературного языка, с которыми сталкиваются изучающие его, и о возможных упрощениях, имеющих целью его распространение среди иноязычных народов, то мы и должны иметь в виду принципиальное различие сфер «книжности» («литературности») и «разговорности», определяемое противоречивыми по отношению друг к другу тенденциями развития и функционирования. Необходимое и естественное упрощение в пределах развивающейся в сторону унификации и интеграции разговорно-обиходной речи не может быть механически перенесено на книжно-письменную речь, на многообразные жанры традиционного литературного общения.

Литературный язык, закрепляя культурные традиции, накапливая в сокровищнице памятники духовной культуры народа, является в этом смысле вершиной речевой культуры, мерилом и «точкой отсчета» явлений, осознаваемых в качестве нормативных.

Расширение сферы кодификации, включение в круг осознаваемых говорящими и закрепляемых социально ли-

---

[215] См. об этом в кн.: Русский язык в современном мире, с. 160 и след.

тературных норм — явление, характерное для всех развитых национальных языков. Ш. Балли, имея в виду главным образом французский язык, писал: «Чем больше прогрессирует и облагораживается цивилизация, тем больше подвергается язык обработке и обдуманным изменениям. Ранее этим занимался узкий избранный круг представителей интеллигенции „высшего общества"; тон задавали писатели, академии или двор. Теперь же за это дело берутся все, правильный язык демократизируется; престиж и авторитет перестали быть единственными рычагами живой речи» [216].

В различных общественных условиях по-разному развивается и видоизменяется, проявляя свою двоякую — структурно-языковую и лингвосоциологическую — сущность, литературная норма. В дореволюционной России нормы русского литературного языка опирались на социально ограниченную базу феодально-дворянского словоупотребления, на фоне которого речевые привычки иных сословий (стоящих, как правило, на более низких ступенях общественной иерархии) воспринимались как социальные «жаргоны».

Нормализация, культивирование одних языковых средств в ущерб другим в дореволюционный период могли быть связаны и с попытками сберечь самобытность национального русского языка в духе ложно понятой «народности». «До революции,— писал Л. В. Щерба,— мы главным образом с любовью культивировали в нашем языке все специфически русское, родное — меткие слова и обороты, не переводимые на другие языки, вплоть до отдельных форм, которым не было аналогии в европейских языках, и вплоть до буквы ѣ, в которой для многих, как это ни странно, чуть ли не воплощалась русская народность» [217].

Развитие структуры литературного русского языка и совершенствование и взаимодействие литературных стилей привели к соответствующим объективным сдвигам и дифференциациям в пределах литературной нормы, которые сопровождались борьбой и сменой общественных язы-

---

[216] *Балли Ш.* Указ. соч., с. 395.

[217] *Щерба Л. В.* Литературный язык и пути его развития.– В кн.: Щерба Л. В. Избр. работы по русскому языку, с. 140.

ковых вкусов, оценочных комментариев по поводу «нового» и «старого», «допустимого» и «недопустимого» и т. п.

Городское нелитературное просторечие, «язык улицы» получает определенные права гражданства уже в предреволюционные годы, с начала XX в., в первую очередь в новой демократической и революционной поэзии (Блок, Брюсов, Маяковский и др.); крестьянские поэты и выходцы из крестьянской среды (Есенин) ориентировали художественную речь на территориальные народные говоры и диалекты.

Однако лишь в послеоктябрьский период создаются качественно новые условия для широкого и глубокого проявления демократических тенденций в развитии литературного языка и его норм, поскольку коренные общественные перемены почти разом уничтожили искусственно сдерживающие их начала и сословно-привилегированные критерии их оценок.

Объективное изменение норм современного русского литературного языка со временем находит отражение в сфере кодификации — в нормативных словарях и справочниках. В этом смысле показательны сопоставления нормативных, стилистических и иных помет в четырехтомном «Толковом словаре русского языка» под ред. проф. Д. Н. Ушакова (первом словаре советской эпохи, издание которого было закончено в конце 30-х годов) и в однотомном «Словаре русского языка» под ред. С. И. Ожегова (который был одним из основных авторов-составителей ушаковского словаря), отразившем литературную норму 50—60-х годов.

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией проф. Д. Н. Ушакова (т. 1) все слова с первой частью *едино-* (старославянская по происхождению форма, ср. *одно-*) снабжены пометой «книжное». Действительно, в литературной русской речи 30-х годов XX в. образования *единоборство, единение, единовластие, единогласный, единодушный, единоличный, единомышленник, единообразный, единый* и т. п. традиционно могли восприниматься в качестве книжных (по условиям жанровой прикрепленности, ограничения сферы употребления) на фоне сугубо книжных, отвлеченных слов вроде *единоверие, единобожие, единобрачие, единомыслие, единонаследие,* а также в связи с вариативностью (возможной или фактической — полной или частичной) типа *единичный — оди-*

ночный, единовременный — одновременный, единожды — однажды, единообразие — однообразие и т. п.

В настоящее время такого рода противопоставления в стилистическом отношении практически уравнены; различия образований с *едино-* и *одно-* в большинстве случаев лексикализованы (ср. зоолог. *единорог* и сочетание *однорогое животное*, т. е. с одним рогом; в просторечии возникло и широко закрепилось слово *единый* — название билета для проезда на всех видах городского транспорта и т. п.).

Можно привести другие примеры стилистического «снижения» слов и выражений, происшедшего после выпуска первого словаря советской эпохи (отразившего во многом, подобно другим нормативным словарям, отношения и регламентации предшествующих эпох и вкусы составителей — людей старшего поколения).

Наречие *ныне* в значении 'в настоящее время, теперь' в словаре под ред. Д. Н. Ушакова квалифицируется как «книжное» и «устарелое». В литературном языке наших дней — это обычное и нейтральное значение слова.

В этом же словаре отнесение существительного *овощ* к муж. роду (*овощ*, род. п. *овоща*) расценивается как «областное», т. е. принадлежащее территориальным говорам и нелитературному просторечию (ср. пословицу «всякому овощу свое время»), а отнесение его к жен. роду (*овощь*, род. п. *овощи*) — как литературное (и «редкое»). В современном литературном языке квалификации этих форм практически прямо противоположны.

Развитие и изменение норм в каждую определенную эпоху истории литературного языка определяются особенностями их структуры, внутри которой специфически представлены следующие противопоставления или сопоставления: 1) «правильное» — «неправильное», 2) «книжное» — «разговорное» (или «литературное» — «сниженное»), 3) «старое — «новое». Для всех выделенных групп соотношений или сопоставлений характерно изменение во времени их компонентов (и осознание их говорящими и пишущими в качестве таковых). Так, например, соотношение «правильное» — «неправильное» изменяется от эпохи к эпохе или в пределах сравнительно небольшого периода.

Устойчивость во времени литературного, обработанного в нормативном отношении языка поддерживается, в частности, и тем, что некоторые из существующих эле-

ментов его структуры (на разных уровнях) осознаются как «неправильные», стоящие за пределами литературного языка, независимо от степени распространенности, истинности или ложности тенденций и аналогий, в духе которых они находят «оправдание», и независимо от времени их появления, «стажа».

Соотношение «книжное» — «разговорное» также характеризуется, в частности, тем, что за определенными элементами языка в нормативном плане надолго сохраняются оценки и квалификации именно «книжных» (традиционно литературных). Это явление отражает устойчивость во времени важных, конструирующих элементов стилистической системы русского литературного языка. Устойчивость эта (закрепленная стилистическая окраска) определяет сложную динамику развивающейся стилистической системы: новые стилистические противопоставления (в связи с «угасанием» стилевой окраски в ряде элементов) на фоне или базе сложившихся соотношений традиционно «книжного» и традиционно «разговорного». Активизация (интенсификация) их взаимного проникновения зачастую не затрагивает (или почти не затрагивает) их стилистической «маркированности».

Наконец, соотношение «старого» и «нового» в пределах литературного языка связано, с одной стороны, с объективным развитием и сменой норм в буквальном смысле слова, а с другой стороны, с отражением в языке многообразных процессов развития науки, техники, политики, культуры и т. п., прогресса духовной и материальной жизни современности, процессов формирования элементов общечеловеческой культуры, интернационализации достижений нации и т. п.

Последние годы ознаменовались оживлением интереса языковедов к теоретическим проблемам литературных языков. Проблемы эти носят общий и частный характер, обращены к разным аспектам истории и современного состояния литературных языков. В одних работах упор делается на внутреннюю связь вопросов изучения литературного языка с общими и частными проблемами стилистики[218], в других — с внутренней структурой литературного языка, особенностями ее исторического становле-

[218] Ср.: *Будагов Р. А.* Литературные языки и языковые стили. М., 1967.

ния[219], в трётьих — важнейшим аспектом оказывается нормативный и структурно-сопоставительный[220].

История литературных языков донационального периода противопоставляется их истории в национальный период (время складывания нации, национальной литературы и культуры), что в целом не может вызывать принципиальных возражений: литературные языки национального периода, во-первых, знаменуют собой новый этап в нормативно-структурном отношении, являясь выразителем современной нормы, и, во-вторых, широко взаимодействуют между собой в условиях свободного обмена в научной, общественно-политической, художественной и других областях. Однако абсолютизация этого противопоставления приводит к известным крайностям, при которых развитие национальных языков сводится к «двухфазовости», к теории «двух периодов» и т. п.[221]

Положения Пражской лингвистической школы находят дальнейшее развитие и уточнение в работах современных чехословацких языковедов, особенно у проф. А. Едличка[222]. Большая теоретическая работа в области национальных литературных языков ведется языковедами ПНР, ГДР, СФРЮ и других стран.

Ставшим традиционными положениям Пражского лингвистического кружка противопоставляются положения новой теории литературного языка, развиваемые словацкими языковедами, в частности проф. Я. Горецким[223]. Надо сказать, что в теории литературного языка, развиваемой Я. Горецким, прослеживаются генетические связи с идеями Пражской лингвистической школы (работы Б. Гавранека и др.). Однако в ней отстаиваются и обосно-

[219] См. серию статей Ф. П. Филина в журнале «Вопросы языкознания», в частности: *Филин Ф. П.* О свойствах и границах литературного языка.– ВЯ, 1975, № 6.

[220] См. публикации Международной комиссии по литературным языкам при Международном комитете славистов, в частности: Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. М., 1976.

[221] Критику этих взглядов см. в кн.: *Будагов Р. А.* Что такое развитие и совершенствование языка.

[222] См.: *Jedlička A.* Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha, 1974.

[223] *Horecký J.* O novú teórii spisovnej slovenčiny.— Kultúra slova, 1976, N 8; *Idem.* Východiská k teórii spisovného jazyka.— Kultúra slova, 1976, N 9; *Он же.* Исходные принципы теории литературного языка.– ВЯ, 1977, № 2.

вываются и новые аспекты. Суть их сводится к тому, что в предложенной концепции делается попытка опереться на теоретическую базу, общую для всех языков (автор исходит из того, что на основании специфических ситуаций в отдельных литературных языках трудно построить общую теорию литературного языка). Такой базой предложено считать теорию языковой коммуникации, основывающуюся на общей теории коммуникации.

В нормативном отношении национальный язык распределяется по следующей шкале (по степени убывания нормированности): литературная форма, стандартная и субстандартная. Применительно к русскому языку мы могли бы говорить соответственно об образцовой речи, обиходно-разговорной речи и о сниженной разговорной речи. Вне форм нормативности находится диалектная и наддиалектная (полудиалектная) речь.

В структурно-типологическом отношении эта теория уточняет ряд положений традиционных теорий литературного языка (в частности, дифференциацию стилей и их классификацию). Показательно, что, как и в прежних классификациях языковых стилей, художественный стиль (язык художественной литературы) занимает особое место, находясь вне общей стратификации. Однако нельзя не отметить, что ограничение функций литературного языка одной лишь коммуникативностью обедняет его понимание как сокровищницы культурного наследия, конкретно-исторической категории, снимает вопросы специфичности, национального своеобразия и т. п.

Обобщая теоретические положения, выдвинутые в отечественном языкознании (работы С. П. Обнорского, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, Ф. П. Филина и др.), можно, по-видимому, говорить о теории «народности» (в широком смысле слова) русского литературного языка. И в самих национальных истоках, и во всей дальнейшей истории русский литературный язык широко и органично опирался на традиции народной речи, на общенациональную норму [224].

---

[224] См.: *Обнорский С. П.* Культура русского языка. М.– Л., 1948. Концепция народной основы литературного языка живо прослеживается в трудах по теории литературных языков акад. Л. А. Булаховского (см.: *Булаховский Л. А.* Виникнення і розвиток літературних мов, ч. 1. Киев, 1941; ч. 2. Киев, 1946; ч. 3.

Демократическая природа национального русского языка составляет его внутриструктурную основу; изменения норм во времени всегда или почти всегда связаны с нейтрализацией в общем употреблении элементов, расцениваемых с традиционно нормативных позиций как «сниженные», «разговорные», «нелитературные» и т. п.

В современных условиях, в русском литературном языке советской эпохи это поддерживается и стимулируется общественными условиями и факторами. С классовых антидемократических позиций это может быть квалифицировано как «порча», «снижение» литературного языка и. т. п. (ср. имеющие хождение на Западе теории о «вульгаризации» русского языка при Советах[225]). Однако с объективно-исторических позиций это явление следует рассматривать как постоянное обновление системы литературных норм на базе национальной сокровищницы, иными словами, «возвышение» элементов общенационального языка до уровня образцовых или включаемых в литературное употребление и т. п.

Киев, 1947), а также в ряде современных вузовских курсов (см., например: *Ефимов А. И.* История русского литературного языка. 2-е изд., испр. и доп. М., 1967; *Горшков А. И.* История русского литературного языка. М., 1969, и др.).

[225] См., например, критический разбор несостоятельных методологических предпосылок обзора А. Фесенко и Т. Фесенко «Русский язык при Советах» (Нью-Йорк, 1955) в кн.: *Протченко И. Ф.* Лексика и словообразование русского языка советской эпохи. М., 1975, с. 13 и след.

Глава III

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Язык художественной литературы в своем историческом развитии тесно связан с историей литературного языка. Образование общенациональной нормы проходило при активном содействии художественной литературы — при всей сложности и многообразии процессов ее развития в XVIII—XIX вв.: «Дело в том, что национальная нормализация всех сторон структуры литературного языка сопровождалась социально-исторической оценкой вариантных и вообще сосуществующих способов выражения; отжившее, устарелое, узкопровинциальное или диалектное уступало место живому, общепризнанному, национально оправданному; старое соотносилось с актуальным, современным; принцип исторической оценки и исторического разграничения выступал как мерило при канонизации норм... Живая русская речь в многообразных ее профессиональных, социальных и диалектных проявлениях с 30-х и особенно с 40-х годов XIX в. широким потоком хлынула в художественную литературу и стала пластической массой для лепки образов, национально-типических характеров, а также для построения диалога» [1].

О русском языке в последние годы очень много говорят и спорят. И это вполне естественно и нормально. Общество никогда не было равнодушно к языку, которым оно пользуется. Особенно высокие требования всегда предъявлялись и предъявляются к языку художественной литературы. Писателей наших обвиняют то в обеднении и «дистилляции» литературного языка, то, напротив, в засорении его диалектизмами, жаргонизмами и профессиона-

[1] *Виноградов В. В.* Общие проблемы и задачи изучения языка русской художественной литературы.— Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1957, т. 16, вып. 5, с. 415.

лизмами, разного рода ненужными новообразованиями и т. п. Категорическая требовательность широких читательских масс, проявляющаяся в лингвистических спорах наших дней, по-своему понятна и объяснима.

Конечно, объективные процессы и тенденции развития языка проявляются вопреки деятельности недостаточно грамотных или стилистически глуховатых авторов. Однако совершенно понятно, что общий уровень искусства слова и культуры речи в целом неминуемо снижается под пером таких литераторов. Так что творческая деятельность их не такая уж безобидная.

Именно поэтому озабоченность и тревога за судьбы родного языка не надуманны и весьма актуальны. Дискуссия «Литературной газеты» под знаменательным названием «Язык и время», в которой участвовали писатели, ученые, журналисты, редакторы, педагоги, широкие круги читателей, показала это со всей очевидностью.

Защита и охрана природных богатств и ресурсов стала в нашей стране общегосударственным делом. Бережно охраняются и восстанавливаются памятники материальной культуры. Но, может быть, язык наш (который якобы сам собой правит) и не нуждается вовсе в таком же бережном и хозяйственном подходе? Думается, что ответ на этот вопрос ясен каждому. Литературный, обработанный язык необходимо беречь от засорения вульгаризмами и жаргонизмами, местными словами и речениями, от ненужных иноязычных заимствований, от неточности или даже простой неграмотности, от неумелого и бездумного обращения, ведущего к его оскудению, к омертвению мысли. «Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка,— говорил М. Горький,— есть борьба за орудие культуры» (О языке, 1934).

Уже в самые первые, трудные для молодого пролетарского государства годы Владимир Ильич Ленин остро поставил вопрос о подъеме языковой и общей культуры народа. Он настоятельно заботился о создании краткого словаря русского литературного (образцового) языка учебного типа и назначения. Тогда же он написал известную записку «Об очистке русского языка», где с горечью и гневом говорил о порче письменной, в особенности газетной, речи, о злоупотреблении иностранными словами. Заботливый партийный и бескомпромиссный ленинский подход к нуждам языка, орудия культуры и политической

борьбы, служит образцом для всех, кому дорог родной язык.

Надо сказать, что для лучших наших писателей и ученых-языковедов простое «культивирование» языка ради самого языка никогда не было, да и не могло быть самоцелью. И для писателей, и для ученых, и для общественных деятелей нашей страны подъем речевой культуры неотделим от общего подъема культуры народа, от задач приумножения национальных духовных богатств. «По отношению каждого человека к своему языку,— писал К. Паустовский,— можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку» [2].

Обслуживая общество, являясь орудием общественного развития, язык вместе с тем подчиняется своим внутренним законам развития. Задача языковедов и самой науки языкознания состоит в том, чтобы вскрыть эти законы и внутренние тенденции, показать литературную норму в системе, динамике и постоянном развитии. Скрупулезно изучая структуру языка, его функционирование в разных сферах и условиях общения, ученые-языковеды на основании полученных таким образом объективных данных выводят нормативные рекомендации, которые затем закрепляются в словарях и учебных пособиях, становятся предметом школьного преподавания.

Сама природа объективных норм языка различна. Кроме собственно грамматических, или, условно говоря, структурных, норм существуют нормы стилистические, природа которых несколько иная и в становлении и бытовании которых многое зависит от языкового чутья и художественного вкуса говорящих и пишущих. В становлении стилистических норм большую роль играют наши писатели — мастера художественного слова.

Словесное искусство любого народа является всегда высшим воплощением национальной художественной нормы и непосредственно влияет — разумеется, в своих лучших образцах — на формирование и совершенствование лингвистических вкусов общества. «В сущности „язык“ художественной литературы, развиваясь в историческом „контексте“ литературного языка народа и в тесной связи

[2] *Паустовский К.* Поэзия прозы.— Знамя, 1953, № 9, с. 175.

с ним, в то же время как бы является его концентрированным выражением»,— писал В. В. Виноградов [3].

Споры о языке, сетования по поводу его порчи под пером незадачливых писателей были и в прошлом. И, как правило, эти споры отражали борьбу художественных вкусов и симпатий и нередко очень косвенно были связаны с объективными тенденциями развития литературного языка, системы художественных стилей. А об этом как раз и должна идти речь.

О национально-художественном стиле (национально-художественной норме)

История языка — это история народа, на нем говорящего. И в этом смысле всякий развитой национальный язык представляет собой своеобразный стиль национального выражения. Как узнается индивидуальный «слог» хорошего автора, так же в общем-то узнается и национальный стиль сложившейся литературы. Мы говорим, например, о своеобразии французского или немецкого романа, о стиле русского эпоса, о национальных особенностях публицистики, поэзии, юмора или сатиры. И точно так же можно говорить о специфике национальной живописи и графики, оперной или симфонической музыки. Есть понятие художественных (и образных) стилей, и есть общее понятие «национальный стиль»— по отношению к национальной литературе, национальному складу мышления, национальной культуре и т. д.

Общенациональная языковая норма является категорией исторической. В современных условиях она сохраняется как основа, костяк языкового организма. Она пронизывает и литературный язык и народно-разговорную речь во всех ее разновидностях; она является точкой отсчета, мерилом диалектных, профессиональных, устарелых и иных явлений в пределах единого русского языка. Территориальные, локальные и т. п. диалекты и говоры остаются разновидностями национального русского языка, так же как язык древнерусский, старорусский, язык петровского времени и т. д.— это последовательные этапы развития русского языка (от языка русской народности к языку русской нации, к языку наших дней).

[3] *Виноградов В. В.* Итоги обсуждения вопросов стилистики.— ВЯ, 1955, № 1, с. 60 и след.

Единая норма проходит через сердцевину национального языка и является основой сопоставления или противопоставления на каждом этапе его развития «книжного» и «разговорного», «диалектного» и «литературного», «традиционного» («старого») и «нового», «исконного» и «заимствованного» и т. д. И эта единая норма тесно связана со специфическими чертами национального языка, лежит в основе национального стиля[4].

Знаменитое высказывание И. С. Тургенева о «великом, могучем, правдивом и свободном» русском языке можно, по-видимому, достаточно строго научно интерпретировать и доказать его лингвистическую содержательность как формулу составляющих частей русского национального стиля. И в самом деле. Величие русского языка подтверждается величием русской литературы, на нем созданной, литературы, которая давно уже стала мировой, вошла в сокровищницу общечеловеческой художественной мысли. Ф. Энгельс в статье «Эмигрантская литература», говоря о русском языке, подчеркивал, что он «всемерно заслуживает изучения и сам по себе, как один из самых сильных и самых богатых из живых языков, и ради раскрываемой им литературы...»[5] Несмотря на известные языковые трудности, русская литература читается и переводится во многих странах мира; ее влияние на развитие мирового литературного процесса несомненно, и это подтверждается именами Пушкина, Л. Толстого, Достоевского, Чехова, а в наши дни — Маяковского, Горького, Шолохова, Л. Леонова и многих других писателей.

Могущество и сила русского языка проявляются в особенностях его структуры, скрывающей богатейшие смысловые и выразительные возможности. Об этих свойствах русского языка говорили многие русские и зарубежные писатели. «Сила русского глагола,— отмечал В. Брюсов,— в том, что школьные грамматики называют видами. Возьмем четыре глагола одного корня: *стать, ставить, стоять, становиться.* От них при помощи приставок „пред", „при", „за", „от" и др., флексии „возвратности" и суф-

[4] В близком к этому значении А. И. Горшков употребляет термин «этнический язык» (*Горшков А. И.* Литературный язык и норма. На материале истории русского литературного языка.— В кн.: Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. М., 1976).

[5] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 18, с. 526.

фиксов „многократности“ можно образовать около 300 глаголов, которые в сущности будут, по грамматике, разными „видами“ одного и того же... Ни на один современный язык нельзя перевести всех оттенков значения, какие получаются таким образом, несмотря на все „subjonctifs“ или „conditionnels“ и на все „plusqueparfaits“ или passés définis“. Как, например, передать по-французски разницу между: „я переставлял стулья“, „я перестановлял их“, „я перестанавливал их“, „переставил“, „перестановил“? Или удается ли найти в другом языке слова одного корня, чтобы передать фразу: „Когда настойка настоялась, я настоял, что настало время наставить рабочих, как должно наставлять воронку на бутылку“» [6].

Правдивость русского языка и национального русского стилевого выражения справедливо усматривается в стилистической смелости больших русских писателей, в их правде жизни, идущей наперекор книжной языковой «правильности». Для Л. Н. Толстого русская народная речь была и образцом и «поэтическим регулятором», который не позволяет «сказать лишнее, напыщенное, болезненное». Для передачи внутреннего живого действия мысли Толстому требовалось идущее из глубин суровой трудовой жизни народное слово, по самой своей природе прямое и честное. «Диалектика души», выражаемая великим художником, неизбежно отражалась в его речевом строе.

«Формы мысли не думают за нас,— образно писал А. Г. Горнфельд,— но в умелых руках производят все впечатление действительной мысли». Сравнивая в этом отношении русский язык с некоторыми западноевропейскими, он приходил к следующему общему выводу: «...До сих пор в русском языке неизмеримо меньше условных формул и заученных выражений, говорящих не то, что должен бы сказать произносящий их. Речь русского человека — поскольку это зависит от его языка — индивидуальнее, ближе к личности говорящего. „Кажется, ни на каком европейском языке не пишется так трудно, как на русском“,— замечает один герой Достоевского. Трудно потому, что до сих пор — как и во времена Тредиаковского — приходится создавать формы. Европейцу стоит захотеть — и язык думает и говорит за него; русский сам дол-

[6] *Брюсов В.* Miscellanea. Замечания, мысли о искусстве, о литературе, о самом себе.— Избр. соч. в 2-х т., т. 2. М., 1955, с. 545.

жен говорить за себя. Сознательно он может лгать сколько угодно, но бессознательной лжи, условленной подавляющей массой ходячих форм и выражений, в его речи нет. В этом — великая правдивость русского языка, отмеченная Тургеневым. И это возлагает строгие обязанности на всякого, кому дорог его родной язык: не угашать его духа, не заменять его суровой правды льстивыми условностями, думать до конца и думать честно» [7].

С точки зрения практической стилистики в разных отношениях «ущербна» следующая толстовская фраза: «Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражения так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и так же сидела теперь на лавке, на которую села» («Война и мир», т. 3, ч. 3, XXXI). Между тем растерянность, усталость и оцепенение Наташи, думающей о раненом Андрее, и можно было передать только цепью глаголов с прямым, правдивым, реалистическим названием ее физического и душевного состояния: *сидела неподвижно... так же сидела... на которую села.* Стремясь ухватить жизнь в ее постоянном движении, боясь заковать ее в известные формы обработанной литературной речи, Толстой упорно создавал свой строй речи — шероховатый, упрямый, дорывающийся до правды. Именно эта правда мысли и слова потрясла великого читателя Толстого — Владимира Ильича Ленина, заявлявшего не раз с патриотической русской гордостью: «Язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч» [8].

Что касается свободы русского языка, то она проявляется в богатстве синонимических средств, емкости семантической структуры, незакрепленности синтаксических конструкций, позволяющих различными способами передавать сложнейшие и тончайшие оттенки мыслей и чувств. Лингвистически понимаемая свобода составляет характернейшую черту национального русского языка. Еще К. С. Аксаков в статье «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» и других работах убедительно обосновал положение о том, что «существо нашего языка есть полная свобода слова». Эта полная свобода русского языка, писал Аксаков, «делая доступным ему обороты других языков, давая самобытно ему на них право, кроме

[7] *Горнфельд А. Г.* Муки слова. М.– Л., 1927, с. 81 и след.
[8] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 24, с. 294.

разве индивидуальных так сказать особенностей,— обогащает его бесчисленным разнообразием оборотов и не имеющихся в других языках, необыкновенною их гибкостью, и вместе с тем кладет на всякий оборот отпечаток свободы, элемент, в котором живет и движется язык»[9]. Так же свобода и легкость, проявляющаяся в подвижности словообразовательных морфем, «свободе» ударений, «свободе» порядка слов и т. п., характерны для русского языка и в его современном состоянии.

Язык является детищем всего народа. В его создании и совершенствовании участвуют все слои общества. И вместе с тем роль писателей, мастеров слова, в этом процессе созидания совершенно особая и очень ответственная. По известному определению М. Горького, литературный язык — это народный язык, обработанный мастерами. Обработанный до такого совершенства, когда он становится материалом и инструментом искусства. От его верной и тонкой настройки зависит языковой климат эпохи. Не случайно именно к молодым литераторам России обращал И. С. Тургенев свой страстный призыв беречь русский язык. Ведь если индивидуальные ошибки в речи каждого из нас могут быть простительны и не всегда заметны, то стилистические промахи писателя — по небрежности или нарочитому оригинальничанью, а то и по неграмотности — оборачиваются в конечном счете потерями в стилистической системе литературного языка, которая складывается веками. Л. В. Щерба писал по этому поводу в статье «Литературный язык и пути его развития»: «Всякое неуместное со стилистической точки зрения употребление слов разрушает стилистическую структуру языка, а язык с разрушенной стилистической структурой то же, что совершенно расстроенный музыкальный инструмент, с той только разницей, что инструмент можно немедленно настроить, а стилистическая структура языка создается веками»[10].

Писатель, конечно, вполне свободен в выборе языковых и стилистических средств для своего произведения. Но безгранична ли эта свобода? По-видимому, нет. Справедливо писал по этому поводу В. В. Виноградов, утверждавший, что язык подлинного художественного произведения не может далеко и значительно отступать от основы общенарод-

[9] См.: *Аксаков К. С.* Полн. собр. соч., т. 2, ч. 1. СПб., 1885, с. 280.
[10] *Щерба Л. В.* Избр. работы по русскому языку. М., 1957, с. 139.

ного языка, иначе он перестает быть общепонятным. Общепонятность — один из главных критериев достоинств языка и стиля писателя. «Тем-то он и народный поэт, что всем понятен»,— говорил о Пушкине Ф. М. Достоевский.

Национальный язык и литература любого народа отражают его мировоззрение, психологию и накопленный исторический опыт в формах оригинально-специфических и понятных народу. Здесь, однако, необходимо сделать оговорку. Понятно, что у «народа» (абстрактной категории в некоторых нынешних критических спорах) нет и не могло быть единого «мировоззрения» (также понимаемого схематически-отвлеченно). Народность как воплощение векового опыта трудового народа, сплавленного с его историей и исторически сложившимся характером и своеобразно выраженным взглядом на мир, не только предполагает, но и обусловливает содержательное толкование таких отнюдь не абстрактно-схематических категорий, как «народное мировоззрение», «народный художественный вкус», «народный характер», «народный язык» и т. д.

Стилистика национальной художественной литературы непосредственно связана не только с развитием тех или иных школ, направлений, художественных методов, но даже и со структурными типами литературных произведений. Поэтому национально-специфические черты несут в себе и сами литературные жанры: роман, очерк, рассказ и т. п. И. С. Тургенев заметил, что глубокий смысл лежит в том, что Гоголь назвал «Мертвые души» не романом, а поэмой. Лев Толстой, работая над предисловием к «Войне и миру», писал: «Предполагаемое теперь сочинение ближе всего подходит к роману... но оно не роман, потому что я никак не могу и не умею положить вымышленным мною лицам известные границы — как-то женитьба или смерть, после которых интерес к повествованию бы уничтожился... Мы, русские, вообще не умеем писать романов в том смысле, в котором понимают этот род сочинений в Европе» [11].

Интересно сопоставить с этими словами рассуждение А. Прокофьева (в письме к начинающему поэту) по поводу «малых» стихотворных форм: «О четверостишиях. Мне представляется, что это очень трудная форма, требующая исключительно точного языка, емких образов. Иначе полу-

[11] *Толстой Л. Н.* Набросок предисловия к «Войне и миру».— Полн. собр. худож. произв., т. 13. М.— Л., 1949, с. 53—55.

чится, как у Вас нередко, ложная многозначительность, чуть ли не пародия... Нужной масштабности, подлинной философичности, афористичности в четверостишиях нет. К тому же, это тоже немаловажное обстоятельство, в русской поэзии нет такой поэтической традиции, которая так способствовала формированию, скажем, строф Р. Гамзатова. Для русского стиха такая форма пригодна, может быть, в сатире»[12].

Литературный язык, в сложном взаимодействии с языком народным, закрепляет культурные традиции, накапливая в сокровищнице памятники духовной культуры народа. И в этом смысле он является вершиной речевой культуры, эталоном для оценки явлений, осознаваемых в качестве нормативных.

Развитие и частичное изменение норм русского языка в XIX—XX вв. не приводило к «порче» или распаду системы литературного языка, а, напротив, было связано с дальнейшим укреплением нормативности — в духе извечного взаимодействия и сложного взаимовлияния традиционно-книжной и разговорно-просторечной стихий. В послереволюционный период, в качественно новых общественных условиях, эти процессы проявляются шире и глубже, резче и нагляднее, находя реалистическое отражение в художественной литературе наших дней.

Язык — не дерево с ежегодно опадающими листьями (образ писателя Н. Атарова) и уж, конечно, не черепаха с увеличивающимся по мере роста в размерах, но не меняющимся по сути, раз и навсегда данным панцирем (а это — образ писателя Л. Успенского). Развитие языка всегда идет рядом с развитием мысли. Именно поэтому совершенствование стиля не знает пределов.

Стиль и слог писателя — не самоцель. Совершенствование литературного языка в целом является прямым следствием совершенствования средств выражения писательского замысла. Новые образы, типы, идеи находят в художественной литературе органичное воплощение в новых стилистических формах. Чем выше степень типизации, тем отточеннее и ярче эти формы.

Движение литературных стилей, идущее вместе с развитием языка,— это стремление к органичному слову, к

[12] См.: *Бахтин В.* В поисках слова. Из переписки Александра Прокофьева с начинающими поэтами и молодыми читателями.— Аврора, 1973, № 9.

адекватному словесному отображению чувств, мыслей, новых образов. Органичность слова — это не только общеэстетический критерий оценки языка произведения, но и критерий народности стиля. Психологизм, народность, реализм лежат в основе русского национального художественного стиля, который всегда был чужд формализму по самой своей сути.

Можно полагать, что в происшедшей в последнее десятилетие смене «исповедальной» и «молодежной» прозы прозой «деревенской» (точнее, пожалуй, было бы назвать ее «народной») проявилось движение нашей литературы к подлинной народности и реализму не только в образах, но и в языке: от подобия жизни — к жизненности, а затем и к самой жизни и к животворящему органичному слову. Это слово слито с самой жизнью, с образами и идеями, несущими художественную правду. Мы знаем авторов Мелехова и Щукаря, Петра Громова, Ивана Телегина, Прялиных и Пелагеи, Ивана Африкановича, Захара Дерюгина... И новые авторы приносят с собой новые народные образы, которым со временем суждено стать вторым именем мастера-художника.

Движение стилей слито с движением идей, а при национальном сродстве творчества, при народном взгляде на вещи движение идеи превращается в ее раскрытие с разных сторон — в неповторимом многообразии деталей и оттенков. Национальное сродство творчества — не пустые слова. Это основа национальной традиции, покоящаяся на единстве народного взгляда на вещи, на оригинальной органичности слова и образа, отражающей жизнь народа на новых этапах ее развития.

«Суть дела в том,— писал В. Дементьев,— что поэзия Рубцова довольно определенно связывается с музой Есенина. Отзвуки есенинской лирики, есенинской образности действительно слышны у Рубцова. И все-таки необходимо сделать одно уточнение. „Это не подражание,— справедливо говорил Сидоренко,— а национальное сродство творчества, и тут Есенин в чем-то помог младшему собрату, в чем-то поддержал, утвердил его". В не меньшей степени, чем Есенин, Николая Рубцова в чем-то поддержал, утвердил Александр Блок» [13].

---

[13] *Дементьев В.* Предвечернее Николая Рубцова.— Москва, 1973, № 3.

Новые поколения писателей приходят в литературу, опираясь на опыт предшественников, обращаясь к новому жизненному материалу и стремясь — как к образцу и идеалу — к постоянному художественному новооткрытию органичности слова и образа. И это творческое «преодоление» наследства — как простого повторения, подражания, апологетики — составляет основу новаторства в пределах национальной традиции. Показать это можно на материале разных жанров и на творчестве различных авторов — при общности проблематики и общей, народной идее.

Идея великой народной войны проходит через сердца и думы новых поколений писателей — нашей нынешней литературной смены — и наполняется духовным осмыслением подвига народа. Вот три сцены «возвращения с войны», разные по своему настроению и деталям, но общие памятью народной о войне, психологической струной этой памяти.

В повести московского литератора Сергея Зинина «Живем только два раза» (опубликована в журн. «Волга» в 1969 г., № 2) описана встреча молодого солдата Петра Максимовича с двадцатилетней женой-девочкой Марфой, встреча довольно мирная и счастливая, но полная внутреннего смятения и тревоги:

«...Ждала Марфа Петра Максимовича. А встретила — будто солдат чужой, хотя и знакомый.

Марфа мужа забыла, повадками, лицом в памяти стёрся. И вот сейчас стояла, уткнувшись в мужнину шинель, и лица поднять не могла, а тот гладил ее по спине. И боялись они оба этой минуты: не развеяла ли война что и было? Понимали: если сызнова все начнется, и начнется только потому, что перед богом и людьми повенчаны и побоятся в решительную минуту разойтись, обидеть друг друга, то начнется сейчас или все так расколется — и кусочков не соберешь...»

Вторая сцена — из повести молодого архангельского писателя Владимира Личутина «Иона и Александра» (опубликована в журн. «Север» в 1973 г., № 2). Здесь встреча не такая уж радостная — возвращается с войны искалеченный вражеской миной солдат-сапер Иона Мелешкин. Радость и горе близких людей слиты воедино в этой нерадостной встрече:

«Все расступились, и какого-то постороннего человека свели по трапу на берег. Был он черен, словно только что

достали из земли, на всем лице синие точки — следы взрыва...

Александра пошла навстречу мужу, и ноги не слушались ее. Они дрожали и гнулись к земле, и какой-то тягучий холодок непонятной тоски остудил душу, а потом заставил поторопиться и коснуться головой Ионина груди, от которой пахло карболкой и хозяйственным мылом, и больницей, и ни одного знакомого мужниного запаха не учувствовала тут Александра. Ведь как ни ждешь близкого человека, первая встреча всегда кажется неожиданной, и эта неловкость будет жить в душе еще день или два.

Иона тоже не мог поначалу толком глянуть на жену: верно, что и одного глаза, запеленатого слезой, было маловато для настоящего обзора, да и к тому же бывший солдат еще не мог свыкнуться с настоящим своим положением и оттого страдал...»

Третья сцена — из рассказа Василия Белова «Речные излуки» (из книги «Холмы». М., 1973). В ней речь идет о трагических обстоятельствах возвращения солдата Ивана Громова в родной дом, где его встречает жена Настя с прижитым, как ему уже сообщили, в годы войны ребенком. Рассказ ведется от лица героя: «...Она бух мне в ноги. Я говорю: встань, дура... что, говорю, остолбенела-то? Иван, прости! Бух опять в ноги. Где, говорю, дите, показывай. А вон, говорит, мой позор на лавке, глядеть на ево не хочу и тебе не дам, удушила я ево. Плюнула она на тряпье, гляжу — дите мертвое. Что ж ты, говорю, дура ты такая, натворила?.. Всю жизнь, говорю, ждали с тобой, чтобы парня родила, а ты его... Такого парня сгубила, пойдешь теперь и сама на даровые харчи. Для того я кровь проливал?.. Сел я на лавку и заплакал как маленький. Всю войну прошел, не плакивал, а тут заплакал».

В разной стилевой манере написаны эти сцены, но для всех них характерно стремление к органичному слову, одухотворенному мыслью и настроением, внутренним движением души. «Ох, парень, кабы войны-то больше не было... Мне так другую такую не выдюжить уж...» — горестно заявляет Иван Громов своему попутчику Ивану Даниловичу Гриненко (как оказывается, отцу убитого мальчика).

Умирает от старых ран бывший сапер Иона Мелешкин — через четверть века после войны, так и не расчистив (как ни собирался!) заросшую за военные годы луговинучищенку. Умирает Иона в одночасье, во «второй день»

своего рождения, который он до конца жизни отмечал в память о черном августовском дне сорок третьего проклятого года.

И сегодня умирают на земле убитые войной ветераны, а человеческая память цепко и глубоко несет в себе незаживающие раны. Эта память писательская и человеческая, как резкий низовой ветер, не дает пеплу равнодушия покрыть горячие угли ответственности за то, что было, и за то, что есть и будет. Помнят, слышат и ничего не забывают настоящая литература и настоящее искусство современности. И главный эстетический критерий настоящей литературы — органичность слова, строго выверенная мыслью и жизнью.

Об органичности слова и образа заботится, в частности, писатель Федор Абрамов, когда он говорит о том, что современному русскому литературному языку не хватает «изначального свежего слова, почерпнутого из глубин народной жизни... Мой эстетический критерий — это максимальное слияние со своим героем, попытка полностью проникнуть в его внутренний мир, ход мыслей, и потому я как бы усваиваю его речь и пишу с учетом языка персонажа» [14].

«Народная» проза в наши дни в русской советской литературе представлена такими разными и своеобразными писателями, как В. Астафьев, Ф. Абрамов, В. Белов, Е. Носов, В. Лихоносов, В. Распутин, В. Личутин, В. Шукшин и многие другие. Новые публикации приносят новые имена. И это хорошо и знаменательно. Подлинные произведения искусства всегда идут в русле национальной традиции, уходят своими корнями в фольклор — мысль и язык народа.

Обращение к фольклору русских писателей, стоявших у истоков формирования литературных норм нового времени, совершенно естественно и закономерно. «Изучение старинных песен, сказок и т. п.,— писал Пушкин,— необходимо для совершенного знания свойств русского языка» [15]. Основой национального художественного стиля русский фольклор был также и для Гоголя, который называл его «сокровищем духа и характера народа» и видел в нем способ немногим или даже намеком сказать о многом.

[14] *Абрамов Ф.* Язык, на котором говорит время.– Лит. газета, 1972, 22 нояб.

[15] *Пушкин А. С.* Опровержение на критики.– Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. 7. М., 1958, с. 166.

«*Слыхали вы* о Змее Змеевиче? *Ежели слыхали, так вы знаете,* каков он и видом и делом, а если нет, так я расскажу о нем сказку, как он, скинувшись молодым молодцом, удалым удальцом, хаживал к княгине-красавице. Правда, что княгиня была красавица, черноброва, да уж некстати спесива; честным людям, бывало, слова не кинет, а простым к ней доступу не было; только с Змеем Змеевичем ши-ши-ши! О чем? Кто их ведает! А супруг ее, князь-княжевич Иван-королевич, по обычаю царскому, дворянскому, занимался охотой; и уж охота была, правду сказать, *не нашим чета*! Не только собаки да ястреба да сокола верой-правдой ему служили, но и лисицы, и зайцы, и всякие звери, и птицы свою дань приносили; кто чем мастерил, тот тем ему и служил: лисица хитростью, заяц прыткостью, орел крылом, ворон клёвом.

Словом, князь-княжевич Иван-королевич с своею охотою был неодолим...»

Можно сопоставить этот сказочный отрывок из собрания А. Н. Афанасьева[16] с отрывками из гоголевских «Мертвых душ», обратив внимание на приемы прямого обращения к читателю и слушателю («слыхали вы», «ежели слыхали, так вы знаете...», «о чем? — кто их ведает», «охота... не нашим чета», «известного рода», «словом...»), а также на детализацию в описании и общую его тональность: Покой был *известного рода*, ибо гостиница была тоже *известного рода*, то есть *именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах*, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленною комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего (т. 1, гл. I); *Какие бывают эти общие залы — всякий проезжающий знает очень хорошо*: *те же стены*, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих... *тот же* закопченный *потолок; та же* копченая *люстра* со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на мор-

[16] Народные русские сказки, т. 2. М., 1957, с. 106.

ском берегу, *те же картины* во всю стену, писанные масляными красками, *словом все то же, что и везде*... (там же); ...Чичиков понесся наконец по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже *пошли писать, по нашему обычаю*, чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по снурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих шитых узорами утиральников. Несколько мужиков, *по обыкновению*, зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья. *Словом, виды известные* (там же, гл. II).

Обращение к опыту читателя и слушателя, надежда на его живое сопереживание — характерная черта национального художественного стиля, ярко проявляющаяся в языке. Связь народной речи с фольклором в передаче писателя может быть сложной и непрямой, но она так или иначе угадывается в складе сказовой манеры и в неизбежных ассоциациях повествования с привычными сюжетами национальных сказок, баек и потешек. Разве не извечный сказочный «суп из топора» (или «щи из топора»), сваренный сметливым русским солдатом в доме скуповатой хозяйки, явственно проступает в нынешней байке деревенского расторопного мужичка Авинера Козонкова из «Плотницких рассказов» Василия Белова? Ср: «...Помню, пошли бурлачить, подрядились втроем... По девяносто рублей с благовещенья до кузьмы. Подрядчик свой, местный, холера. Работать велит и после солнышка. А я один раз сел и говорю, что после солнышка только на выб...ков работают. Топор за ремень — и пошел в избу. Руки вымыл, нет Степки. Чую, топоры стукают. Ну, думаю, я тебя проучу, работника, ишь выслуживается. У меня был товарищ из местных, такой долбило, все, бывало, кур воровал. Подлезет в сумерки, схватит да как даст, из иной и яйцо выскочит. Вот, был пивной праздник, надо гулять идти. А в части харчей худо было, хозяйка скупая, все ножик под стол совала, чтобы мы, значит, меньше ели. Я, помню, еще до праздника слышу — ходит она на повети. Вот и говорю: „А что, ребята, стоит только *топору влепиться* —

и скотина в доме не будет копиться!“ Знаю, что слышала, только все равно кормит худо. Был, значит, у нее поросенок. Ушла один раз на работу и попросила меня, чтобы этого поросенка накормить. Я пойло на землю вылил, а в хлев-то зашел с хорошим колом. До того я довозил этого поросенка, он от меня на стены и начал кидаться. Приходит хозяйка. „Покормил, Авинер, животинку-то?“ „Добро, — говорю, — поел“. Вечером пошла она в хлев, а поросенок-то от нее на стены. Я говорю: это, наверно, у него бешенство, надо колоть. Поохала, да пришлось резать. *До того были шти хорошие...*» (гл. VII).

Традиции русской литературы в современной прозе

Не надо думать, однако, что органичность языковая и стилевая обязательно строится на средствах «разговорной» стихии — с использованием специфической лексики, интонации, манеры «сказа» и т. п. Такое понимание ограничивает и неправомерно сужает стилевые средства развитой художественной прозы.

«Литературность» по преимуществу лежит в основе такого интересного произведения последнего времени, как роман «Судьба» Петра Проскурина. И здесь есть свои находки и достижения идейно-художественного плана. Они также связаны с органичностью слова и мысли, слова и образа, как и в случаях обращения к собственно народной тематике и живому народному языку.

Но, может быть, не случайно такие авторы, как В. Астафьев или В. Белов, оказываются сильнее в конкретно-изобразительных вещах (романах и повестях), чем в рассудительно-философических этюдах и зарисовках (ср., например, «Случайные этюды» В. Белова). Ограниченность, узость «местного» материала в таких этюдах зачастую оборачивается общей ограниченностью иного плана — в тональности повествования, языке, общей идее. Описания местности или чувств, связанных с сугубо личными эмоциональными настроениями автора или близких ему людей, не всегда поднимаются до высокой художественной типизации. Родимый «угор» или знакомый «омут» — в отличие от знаменитых поэтических «трех берез» — не становятся символом всей страны, Отчизны, России. Правда, здесь необходимо сделать одно уточнение.

В последние годы некоторые наши прозаики из числа пишущих народным языком и обращающихся к историческому прошлому народа дружно обвинялись критиками в бездумном восхвалении и даже поэтизации патриархальности, в антиисторическом взгляде на прогресс. Настоящий художник, обостренно ощущая связь свою с народом теперь и в прошлом, имеет право на чувство тоски, на боязнь утраты во времени самобытных народных черт и свойств. Бескорыстная привязанность к прошлому своего народа и отечества не может быть предметом нечестных подозрений. Без такой привязанности не было бы самого понятия истории народа, духовной связи потомков со своими предшественниками. Понятно, что нельзя жить только прошлым, но, глядя вперед, надо уметь обернуться назад, пронести в будущее завещанный нам коллективный опыт народа. Сопоставление двух художественных отрывков должно пояснить эту мысль. Если не подходить к ним предвзято, как к нарочитому «воспеванию» одиозной патриархальщины, то можно увидеть в произведениях, разделенных столетием, сходное чувство нерасторжимости с родным прошлым, боязнь утраты незримых связей; и можно понять, что в самой этой постоянной боязни есть залог крепости таких связей теперь и в будущем.

Отрывок первый — из Гоголя, из авторского вступления к повести «Старосветские помещики»: «Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими... Я отсюда вижу низенький домик... Все это для меня имеет неизъяснимую прелесть; может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние... Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик,— и ничего более. Грустно! мне заранее грустно...»

Отрывок второй — из произведения нашего современника Василия Белова (этюд «На родине»):

«И вот опять родные места встретили меня сдержанным шепотом ольшаника. Забелела чешуей драночных крыш старая моя деревня, вот и дом с потрескавшимися углами...

Старый наш дом заколочен. Я ставлю поклажу на крыльцо соседки и ступаю в солнечное поле, размышляя о прошлом. Тихая моя родина, ты все так же не даешь мне стареть и врачуешь душу своей зеленой тишиной! Но будет ли предел тишине?.. Я сажусь у теплого стога, курю и думаю, что вот отмашет время еще какие-то полстолетия, и березы понадобятся одним лишь песням, а песни тоже ведь умирают, как и люди. И мне чудится в шелесте берез укор вечных свидетельниц человеческого горя и радости... Может быть, так оно и надо? Исчезают деревни, а взамен рождаются веселые, шумные города?.. Я смотрю в небо, но серебряное туловище реактивного самолета уже исчезает за горизонтом.

Как мне понять, что это? Или мои слезы, а может быть, выпала в полдень скупая соленая роса?..»

Живой человеческий голос каждого отрывка одинаково трогает наше сердце.

Органично возникает в «Судьбе» П. Проскурина — как неминуемая память о прошлом — в сознании смертельно раненного солдата Корнилова картина двухлетней осады Смоленска в 1609—1611 гг. и гибели отважного русского воина Белавина, потомка славного племени кривичей и любимца воеводы Шеина: «...жесток и кровав враг и не пощадит никого. Так вот же тебе, сказал Белавин, до конца не отдам я тебе, проклятый супостат, Смоленска, и клочка целого ты его не получишь, не осквернить тебе и божьего храма». Ночью, подземным ходом он идет в Мономахов собор, последний оплот осажденных, и взрывает пороховой погреб. «...В дверь теперь бухали чем-то тяжелым; Белавин, напрягаясь, прислушался и ясно различил чужую речь. И еще до него донесся слабый гул набата; очевидно, забравшись на звонницу, последние защитники Смоленска били во все колокола, оповещая Русскую землю окрест о великой беде и порухе. И перед глазами Белавина словно раздвинулись мрачные вековые своды, и во всей своей красе и силе встала Русская земля, несмотря на знойные пожарища, истерзанных и поруганных ее жен и детей, и Днепр, замутненный кровью, и небо, затянутое гарью. В дрогнувшем сердце опять затеп-

лился слабый, все более крепший огонь, и Белавин шагнул в глубину подвала, чувствуя, что силы совсем оставляют его, закричал от смертной тоски и рухнул вперед лицом вниз, не выпуская факела. Огненно раскололась ночь над Днепром, над поверженным городом, и сквозь рассевшиеся стены и купол Мономахова собора высоко в небо ударил дивный, невиданный огонь, и каменья от древних стен разлетелись далеко вокруг, и звезды померкли, и испуганные вопли людей смешались с криками ночных птиц...»

В журнальном варианте романа «Судьба» эта тонко стилизованная сцена составляет чуть более трех страниц. И тем не менее она дала повод иным критикам обвинить автора в «неоправданно длинном» отступлении![17] Такого рода несправедливые упреки проистекают из нежелания понять смысл этой сцены — одной из центральных во второй книге романа. Это не только символ связи поколений и единства истории народа, но и выражение чисто человеческой трагедии: гибнет солдат-учитель, солдат-ученый, и с его смертью гибнут, не родившись, его труды по отечественной истории, живые образцы которых проходят перед нами. Понятна и другая ассоциация в канве эпического произведения: в трудные для родины годы память народная неизбежно обращается к героическому прошлому, и общая судьба поверяется мужеством великих предков. Так или иначе, умирающий учитель истории — сам уже часть истории народа, и об этом писатель говорит: «...Встретившись с глазами Корнилова, почувствовал (Захар Дерюгин.— *Л. С.*), как ознобом охватило его под гимнастеркой. Это уже был не рядовой Корнилов, а нечто такое, что больше не подвластно ни приказам, ни обязанностям, не подсудно ни человеку, ни государству...» Это он убивает, и его убивают, это его судьба в судьбе его народа.

Критика в целом высоко (и вполне справедливо) оценила новый роман П. Проскурина. Вместе с тем она ничего или почти ничего не сказала о языке и стиле романа. А между тем автор творчески продолжает традиции русской эпической прозы, обнаруживая элементы национального сродства творчества и в большом и в малом: и в создании народных характеров, и в изображении жизни общества в известный период, и в стилистических приемах,

[17] См.: *Бровман Г.* Судьбы людские.— Новый мир, 1973, № 5.

передающих движение души, диалектику чувств национальной психологии.

Книга «Песня берез» проскуринского романа «Судьба» начинается обширным авторским отступлением, живо напоминающим (но отнюдь не повторяющим!) толстовские отступления в эпопее «Война и мир». Вот это отступление-вступление: «У каждого человека, у каждого события есть особые рубежи в развитии и становлении; бывает так, что живет человек в душевном и физическом равновесии, молодо и полновесно себя чувствует, но вот случается даже мелочь порой, в сосуд падает последняя капля, и весь устойчивый, длившийся очень долго порядок нарушается; одни процессы, те, что до этого дремали и о которых вовсе не подозревали, активизируются, выходят на поверхность, и, наоборот, то, что было явным до последнего момента, главным, затихает и скрывается, и скоро никто уже не помнит о бурных силах, привлекавших когда-то внимание и восхищение; вдруг все видят, что вот этот определенный человек немолод и что все восхождение у него уже позади... Есть такие переломные этапы и в народных движениях, в войнах и революциях...»

«Сходство» с Л. Толстым проявляется и в усложненных конструкциях-периодах, и даже в способах синтаксических построений, и в известной лексической приверженности. У П. Проскурина (начало романа): «...Она *почувствовала* в ногах горячее и живое движение... ее сразу отпустили и боль и страх; она лишь *чувствовала* усилившуюся слабость... И когда под утро хозяин избы, молодой, высокий мужик, вышел надергать корове и овцам сена и наткнулся на нее, она уже *ничего не чувствовала*, и лишь сладко пахло холодной кровью». У Л. Н. Толстого (Война и мир, т. IV, ч. I, X): «...Пьер бессознательно *чувствовал*, что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем другой, но твердый французский порядок. Он *чувствовал* это по виду... шедших солдат... он *чувствовал* это по виду какого-то важного французского чиновника... Он это *чувствовал* по веселым звукам полковой музыки... *и в особенности он чувствовал и понимал* это по тому списку, который, перекликая пленных, прочел нынче утром приезжавший французский офицер».

Так что же это: эпигонство и пустое подражание? Конечно же нет. Сходство художественных и собственно языковых решений объясняется (и определяется) сходст-

вом задач в пределах национальной эпической традиции, развитием этой традиции в новых общественных условиях жизни народа. Если в романе Проскурина в целом в стилистике преобладает установка на «литературность», то в повествовании в рассказах Астафьева «Царь-рыба» совершенно очевидна авторская установка на сниженное просторечие (причем в его литературно и эстетически не обработанных формах — полужаргонной и жаргонной речи, элементов арго и т. п.). Именно это последнее обстоятельство вызвало дружную критику языка «Царя-рыбы», несмотря на общую высокую оценку идейно-художественных достоинств произведения[18]. Поскольку речь в критических работах идет в плане общих формулировок, необходимо остановиться на этом несколько подробнее.

То, что критиками и литературоведами определяется как стилистические неточности, языковые «переборы» (Ф. Бучнева), «слова-уродцы» и «слова-паразиты» (Ф. Кузнецов), относится главным образом к свободному употреблению в авторской речи и в репликах персонажей таких слов и выражений, как *шаврались* (Наш современник, 1976, № 4, с. 15; в дальнейшем указываем номер журнала и страницу), *надыбать*, *срубать* (№ 4, с. 30), *одыбаться* (№ 4, с. 32), *днями* (в значении ‘на днях’, № 4, с. 41), *зырить*, *шмонать*, *уныкать* (№ 4, с. 45), *базланить* (№ 4, с. 47), *упехтываться* (№ 5, с. 23), *пурхаться* (№ 5, с. 25, 28), *замзгнуть* (№ 5, с. 88); *залупаться* (№ 4, с. 43), *дубак* (№ 4, с. 37), *нарастотур* (№ 4, с. 47), *по рогам* (№ 4, с. 52), *на тырлах* (ср. *на цырлах* ‘на цыпочках’, № 4, с. 52), *трахамудрия* (№ 4, с. 76), *шариться* (№ 5, с. 73), *не бу бо* (№ 5, с. 72), *катить бочку* (№ 4, с. 46), *шобла* (№ 4, с. 43) и др.

Интересно отметить, что, отправляясь «от автора», эти слова получают известную оценку и квалификацию, которая, правда, не выходит за пределы простых указаний и констатаций. Это, по-видимому, и дает основание критикам говорить о том, что Астафьев писал свою «Царь-рыбу» как бы от лица своих героев и их языком (при этом мы до-

[18] См.: *Кузнецов Ф.* Жизнь находит уста.— Лит. Россия, 1976, 27 авг.; *Бучнева Ф.* Жить сообща.— Молодая гвардия, 1977, № 8. Ср. также полемику В. Курбатова с Б. Можаевым (см.: *Курбатов В.* Чувство первосотворения.— Север, 1976, № 12; *Можаев Б.* Момент непонятности и чувство слова.— Лит. газета, 1976, № 23).

бавили бы: не «поднимая» народное словоупотребление до литературного уровня, а как бы нарочито «опускаясь» в стихию однозначно воспринимаемой народной речи). Ср. в авторском употреблении и комментировании и в диалогах персонажей: *Урками* начальник рыбного участка называл бригадников, волохающих на тундряных озерах немысленно тяжелую работу... (№ 4, с. 9); Зовут они себя *хануриками*, и слово это звуком ли, боком ли каким подходило к ним (№ 4, с. 25); Я заверил друзей-*хануриков*, что со своей нахальной снастью они ничего... не выудят (№ 4, с. 30); ср.: — Сохатый — *дубак*!.. -Ы-ы, *ханурики*! (о собаках, № 4, с 37); — Дальше,— сказал Коля,— ни один местный *ханыга* летом не забирался (№ 4, с 30); Здесь самые что ни на есть джунгли, только сибирские, и называются они точно и метко — *шарагой*, вертенником и просто *дурниной* (№ 4, с. 26); «Солнцедар» и вовсе вредный — его наезжие пижоны да бичи «*менингитником*» зовут (№ 4, с. 50); И под гул одобрения принес из кустов «*огнетушитель*» — большую бутылку с дешевым вином, *лихо именуемым* «*Порхвей*» (№ 4, с. 61); «*Ваших нет*!» — как говорили картежники в боганидинском бараке (№ 4, с. 44); ...Вертлявый парень от «*колотухи*», от коллективной работы стало быть, все увиливал (№ 5, с. 31); (Чушанские *браконьеры*) слово это хулительным не считают, даже наоборот, охотно им пользуются, заменив привычное «рыбак». Должно быть, в чужом, инородном слове чудится людям какая-то таинственность, и разжигает она в душе позыв на дела тоже таинственные и фартовые, и вообще развивает сметку, углубляет умственность и характер (№ 4, с. 40).

Идейно-художественные просчеты в такого рода «объективированных» описаниях выступают достаточно определенно и зримо. Кроме того, на наш взгляд, они прямо ведут к известным языковым, собственно изобразительным потерям. Сюда можно было бы отнести, например, приверженность к определенным словам, например к глаголу *пластать* и его производным: напластал беремя черемши (№ 4, с. 37); нервы в клочья испластал (№ 4, с. 48); отпластывал вместе с кожей пласт сала (№ 4, с. 60); (собаки) не пластаются в этот час (№ 5, с. 28); пластали рыбу и трепались резальщицы (№ 5, с. 41); рвать ее (сеть), пластать противную (№ 5, с. 44), пластать оструцим ножиком мясо (№ 5, с. 65); без толку не пластали

каменья (№ 5, с. 81); пластал их (зайцев), запасал мясо Розке (№ 5, с. 32); Герцев выпластал пушняк вблизи становища (№ 6, с. 43); И вот пластался (Аким) в нем (в лесу), ворочал сушняк, возил его на обмысок (№ 6, с. 66).

Авторская установка на объективацию изображаемого приводит к тому, что в пейзажных и близких к ним описаниях преобладает внешняя перечислительность (при которой элементы психологизма «приглушены» или вообще отсутствуют). Ср. нарочитые повторения в перечислениях трав, деревьев, рыб, насекомых и т. п., например: «Плавал» — значит ловил наплавной сетью муксуна, сига, омуля, селедку, чира, пелядь (№ 5, с. 43); Пасутся... словно птицы на ягодных лядинках, косяки муксуна, чира, пеляди, омуля (там же); Гладкой... мордой они тычутся в песок, выбирая мормыша, личинок поденки, жучка-плавунца, осыпавшихся на дно комаров, тлю, мохнатых ягодных бабочек и *всякую козявку*, жужелицу, гусеницу, блошку, мошку, сбитую на воду ветром и холодом (там же); Марьин корень дурманом исходил по склонам берегов, лабазник в пойме речки набух крупкой, цвел молочай, дрема, вех, бедренец и *всякий разный дудник*... (№ 5, с. 68); По обмыскам... росла непролазная смородина, зеленый дедюльник, пучки-борщевники... Цвели последним накалом жарки... зато марьины коренья были в самой поре; кукушкины слезки, венерины башмачки, грушанка — сердечная травка цвели повсюду, и по логам, где долго лежал снег, приморились ветреницы, хохлатки. На смену им шла живучая трава-криводенка, вострился сгармошенными листьями кукольник... Доцветала брусника, седьмичник, заячья капуста и вонючий болотный болиголов... Идти сделалось легче. Чернолесье, тальники, шипица, боярышник, таволожник и *всякая шарага* оробели, остановились перед плотной стеной тайги (№ 4, с. 29). См. сходный перечень (или список) в № 4 (с. 31, 44), № 5, (с. 24, 82), № 6 (с. 76). Простой этот перечень практически не дает ощущения картины, а нарочитые концовки «всякий разный» и т. п. лишь подчеркивают эту перечислительность. Больше того, не будучи никак «представленными» автором, названия растений и трав проходят мимо сознания читателя, незнакомого с их местными вариациями (*грушанка*, *криводенка*, *хохлатка*, *седьмичник* и т. п.).

Потери такого художественного приема особенно отчетливо выступают при сопоставлении с психологически

и изобразительно полным использованием его в русской литературе, например, у Л. Н. Толстого:

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики (Хаджи-Мурат).

В этом описании обращают на себя внимание элементы, создающие зримую изобразительность: детальное описание цвета и запаха, «поведения» того или иного цветка, их формы и т. п., а также завершенность представленного разнотравья.

Семантико-стилистические неточности и «провалы» могут быть показаны на следующих двух примерах. Оба они связаны с описаниями от автора, с внутренним монологом. В первой сцене изображаются мысли автора в сцене у ночного костра («Капля»): И я замер. Там на фронте цепенел у орудия боец с натянутым ремнем, ожидая голоса команды, который сам по себе был не только человечьим слабым голосом, но и страшной силой, повелевающей придуманным им оружием и огнем, в древности обожествленным, а затем обращенным в погибельный смерч. Когда-то *поднявшее человека с четверенек*, взнявшее до самого разумного из разумных существ, *слово* это сделалось его же карающей десницей — «Огонь!» — не было и нет для меня среди известных мне слов слова ужасней и притягательней! (№ 4, с. 34).

Философичность и общая выразительность этого отрывка для нас несомненны. Однако если в одной из фраз мы в целом принимаем переход голоса и команды в страшную силу огня, то в другой фразе нас невольно останавливает несоответствие смысла и текста: ведь все-таки сам огонь, а не слово, его обозначающее, сыграл такую большую роль в истории человека, став и спасением и погибелью для него.

Вторая сцена из заключительной части повествования («Нет мне ответа») рисует картины, открывающиеся автору из иллюминатора самолета, пролетающего над родными местами: Но, пока еще не заслонило корпусом самолета то, что впереди и внизу, я поворачиваюсь направо, отыскиваю взглядом косую ниточку распадка Каракульной речки, вдетую в острую иглу залива, пытаюсь увидеть избушку бакенщика, в которой ныне обитают городские дачники, насадившие вместо картошек петрушку, укропчик, корень ревень, турецкие ромашки, петуньи и гладиолусы (№ 6, с. 76).

Конечно, ничего этого с борта самолета увидеть нельзя; перечислительность здесь противоречит изобразительности. Стилистическая необработанность текста, во многих случаях объясняемая как авторская установка, приводит к сближению в пределах одной фразы или соседних фраз элементов разного порядка, несовместимость которых — в силу разных причин художественно-эстетического и иного свойства — совершенно очевидна.

Ср. в рассказе «Капля»: *братан, продрыхать, долдоним, обшастал* и т. п. и рядом с ними *коих, старомодно именуется блаженством, как рекли в старину* и др. Или в рассказе «Рыбак Грохотало»: *обалдеть, бузнулся, рыпаться, тартают* и т. п. и в непосредственной близости от них — *благодарение, африканцы вот тоже предостерегающе изрекли* и др. Ср. также в начале рассказа: «При взгляде на этого окладистого, всегда почему-то насупленного мужика *вспоминался старый добрый британский классик:* „Увы, лицо джентльмена не было овеяно дыханием интеллекта...“». И через несколько предложений: «...возражал он, а точнее — *гупчал* (*гупчать*, по-здешнему, — это все равно, что стучать в пустую бочку)». Обращение к «старому доброму британскому классику» предполагает знание его имени и вместе с тем ничего не добавляет к изобразительности, строящейся автором на иных, местных («сибирских») органических основаниях [19].

Несовместимость «книжного» и «разговорного» (особенно в их крайних, полярных проявлениях) выступает не только в лексических элементах, но и в стилеобразующих

[19] Ср. эпиграф из Уолтера Мэккина к рассказу «Сон о белых горах» и ссылку на не названного по имени певца «пиратов, *флибустьеров* и *прочей шоблы*», которого вспоминает автор, глядя на командора Утробина (рассказ «У Золотой карги»).

приемах построения текста: в двух эпиграфах, предпосланных всему повествованию, национально-самобытные стихи Николая Рубцова странно соседствуют с малооригинальным высказыванием Халдора Шепли.

Органическое единство слова и мысли в повествовании, к которому стремится автор, перебивается чисто книжными, сугубо беллетристическими ассоциациями. Это приводит к прямому цитированию (без указания источника) библейского текста в заключительных строках книги:

> Всему час и время всякой вещи под небом:
> Время рождать, и время умирать; время насаждать, и время вырывать насаженное...
> Время убивать, и время лечить; время разрушать, и время строить;
> Время плакать, и время смеяться; время стенать, и время скакать...

Редакция известного текста (Книги Ветхого завета, Книга Экклезиаста или проповедника, гл. 3) в данном случае вызывает ряд сомнений. Общему «антонимическому» противопоставлению в каждой из фраз противоречат как будто такие «противоположения», как *рождать* и *умирать, убивать* и *лечить, плакать* и *стенать* в одном ряду и т. п. Объяснение этому следует искать или в цитировании по памяти, или в неточностях принятой редакции. Сравнение с одним из установившихся переводов (Библия. 7-е изд. СПб., 1904, с. 766) не оставляет в этом смысле никаких сомнений:

> Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
> время *рождаться,* и время *умирать;* время насаждать, и время вырывать посаженное;
> время *убивать,* и время *врачевать;* время разрушать, и время строить;
> время плакать, и время смеяться; время *сетовать,* и время *плясать*...

Антонимические противоположения пар *рождаться — умирать, убивать — врачевать, плакать — смеяться, сетовать — плясать* и т. п. в этом тексте одинаково и рельефны и последовательны. Потери собственно языковые и эстетические в данном случае приводят и к потерям культурно-традиционного плана.

Трудно согласиться, в силу сказанного выше, с попытками безоговорочно принять эстетику речестроя этого про-

изведения Астафьева, опираясь на понятие «культура просторечия». Культура и стихия — вещи разные и принципиально несоотносимые. Тем не менее автор статьи «Чувство первосотворения» В. Курбатов прямо говорит об этих понятиях как вполне синонимичных: «Его (В. Астафьева.— *Л. С.*) стихия — просторечие: радостная, животворная культура, которой Астафьев отдается открыто, празднично, которой нарадоваться не может и в которой спасается от унифицированной литературной речи. Просторечная культура усваивалась им с детства, когда еще и в голову не приходило, что она просторечна» [20].

Если оставить в стороне излюбленный рядом авторов тезис об «унификации» литературной речи, а также гневные упреки анонимным лингвистам, исследующим «силу грамматических конструкций» на «организованной бессмыслице» и т. п., то можно сказать в целом, что противоречия в исходных положениях автора статьи приводят к противоречивым суждениям в ее основной части.

Действительно, с одной стороны, автор решительно утверждает, что «нет для писателя словесного сора!», а с другой стороны, в итоге своих рассуждений вынужден все-таки признать, что прав писатель Б. Можаев, упрекавший В. Астафьева в сознательном обращении к... косноязычию. Слово, уместное в живой разговорной речи, оказывается враждебным литературному употреблению: оно непластично, «неопрятно» (Б. Можаев), неясно и в смысловом отношении замутнено. Получается так, что Астафьев «нагибается за каждым отжившим словом, за каждой обмолвкой», «поднимает порою сор», но при этом властная требовательность таланта «влечет его искать продолжения и углубления высоких традиций просторечной культуры». Парадоксальное и по сути своей пустое понятие «просторечная культура» не имеет и не может иметь ни высоких, ни каких-либо иных традиций. И в этом смысле вряд ли можно говорить о художественных победах и достижениях. Ведь одно дело такие слова, как *зимогорить, скрадывать* (*зверя*) и т. п., и совсем другое — *одыбаться, шмонать, разблюдовка, трахамудрия* и *ё-ка-лэ-мэ-нэ*.

Интересно отметить, что при новом издании книги автор внес некоторые поправки в текст: *шлялись* (вм. *шаврались*), *поймать* (вм. *надыбать*), *упрятал* (вм. *уныкал*)

[20] *Курбатов В.* Указ. соч., с. 121.

и т. п.; снят глагол *шмонать* и др. (см. Роман-газету за 1977 г., № 5).

Уроки общественных дискуссий о языке

Надо сказать, что с вопросами обогащения современного литературного русского языка (в том числе и языка художественной литературы) были связаны многие недавние дискуссии в нашей периодической печати.

В статье «Законы языка, тайны слова» [21] Ф. П. Филин, опираясь на материал современной русской советской прозы, справедливо подчеркивает мысль о том, что сама по себе концентрация внелитературных элементов (в том числе диалектизмов) в художественном повествовании не может считаться недостатком, все дело в эстетической значимости этих элементов, мотивированности их ввода в текст. «К сожалению,— замечает Ф. П. Филин,— очень часто даже у признанного писателя стремление расцветить речь местными словами приводит не к расширению художественной выразительности, но лишь к уменьшению возможностей контакта с читателем». В качестве примера приводится рассказ В. Астафьева «На Енисее», опубликованный в «Литературной газете» (это был отрывок из повествования «Царь-рыба»).

В диалоге Ф. П. Филина и писателя В. Гусева «Гармония и стихия» [22] был продолжен разговор о путях обогащения литературного языка, о праве автора на отступления от нормы, о противоречиях лингвистического и художественного подхода к слову (В. Гусев) и о синтезе такого подхода (Ф. П. Филин) и др.

В статье Ф. П. Филина «Язык художественной литературы и читатель» [23] подведены итоги и дана общая оценка прошедшей дискуссии.

Важно отметить и подчеркнуть при этом два общих вывода. Первый из них состоит в том, что главной линией развития русского художественного языка было и остается использование «неистощимых соединений слов» (А. С. Пушкин) и их художественных переосмыслений. Слова с обычными, непереносными значениями в общем контексте художественного произведения получают особое звучание.

[21] Лит. газета, 1976, 28 апр.
[22] Лит. газета, 1976, 15 дек.
[23] Рус. речь, 1977, № 4.

Но мы даже не всегда это и замечаем: так органически входят они в образный контекст и соответствуют строю и духу русского литературного языка.

Второй вывод связан с отношением писателя к литературным нормам. Писатель, считаясь с нормами литературного языка, ориентируясь и отталкиваясь от них в своем творчестве, вовсе не ограничивает тем самым свободу языкотворчества. Все дело в функциональной оправданности того или иного приема, в чувстве меры и вкуса. Чувство речевой (и художественной) меры определяется только самим писателем, однако никто не в праве нарушать безнаказанно законы литературного языка. Именно это определяет особенную меру ответственности писателей, художников слова, за судьбы русского языка, повышение речевой культуры общества.

«Народное» и «литературное» начала взаимодействуют между собой в живом литературно-художественном процессе. Система литературных норм и актуальных средств выражения, сохраняя живую национальную основу, видоизменяется от эпохи к эпохе, от поколения к поколению и в целом проходит через последовательные смены этапов тяготения к «разговорности» и этапов тяготения к «книжности» (по принципу отталкивания или преодоления, как это можно наблюдать и в нашей литературе и в языковых спорах общественности в последние несколько десятилетий).

Живой народный язык современности и накопленные традиции письма, совершенствуемого под пером новых поколений писателей, — в их сложном соотношении и взаимодействии — лежат в основе указанной смены языковой ориентации. Это механизм, который изнутри предопределяет характер языковых споров и дискуссий.

Литературный язык — это язык обработанный, отшлифованный вековым употреблением, богатый письменными традициями. Поэтому одно из главных достоинств его — сложность и многообразие системы выразительных средств, их освоенное богатство для выражения тончайших оттенков мыслей и чувств. Русский литературный язык обладает этим важным достоинством.

Вместе с тем в советскую эпоху происходит постоянное расширение нормативности русского речевого употребления. Расширение нормативности в пределах многонационального Советского государства поддерживается постоянно и глубоко вливающимися в русское языковое общение

народностями и нациями, привносящими в это общение свои национальные элементы как в сфере бытовых и производственных отношений, так и в области литературно-художественной деятельности. Многоязычная советская художественная литература, в лучших своих достижениях известная через русские переводы, становится общим достоянием культуры советского народа и советского социалистического общества. Деятели литературы и культуры союзных республик подчеркивают при этом выдающуюся объединительную миссию русского языка, литературы и всей русской культуры. «Русская культура и прежде всего русский язык,— говорит Ч. Айтматов,— послужили и служат нашему общему прогрессу и являются необходимым и безусловным фактором дальнейшего совершенствования национальных культур» [24].

Советская литература в период зрелого социализма выступает как единая социалистическая литература. Национальные наши литературы развиваются в тесной взаимосвязи с русской литературой, имеющей неоспоримые мировые завоевания. Факты последнего десятилетия, как отмечает литературная критика, свидетельствуют о том, что национальная языковая культура в широком смысле слова не является главным признаком или критерием в определении взаимосвязей и сближении литератур, появлении новых литературных общностей. Многие видные писатели создают свои произведения на русском языке: Ч. Айтматов, М. Ибрагимбеков, Ч. Гусейнов, О. Сулейменов, Ю. Рытхэу и др. От этого национальная специфика их творчества, определенная глубоким проникновением в национальные характеры героев, не исчезает, а интернациональная направленность (и по содержанию и по форме) усиливается [25].

В докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик» Генеральный Секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев отметил: «Быстрый рост межнациональных связей и сотрудничества ведет к повышению значения русского языка, который стал языком взаимного общения всех наций и народностей Советского Союза.

---

[24] Лит. Россия, 1972, 1 дек.

[25] См.: *Новиков В.* Могучая поступь истории (Литература зрелого социализма).— Лит. Россия, 1977, 7 окт.

И всех нас... конечно, радует, что русский язык стал одним из общепризнанных мировых языков!» [26]

Современный русский литературный язык — могучее орудие взаимосвязи, общения и дальнейшего сплочения всех советских народов. В современном мире он является признанным представителем многонационального социалистического государства. Изучение русского языка в зарубежных странах стало объективной закономерностью: русский язык — это язык передовой нации и революционной общественной мысли, язык советской социалистической культуры, язык мира и дружбы, язык Ленина. Изучая русский язык, миллионы людей во всех странах не только практически знакомятся с нашими достижениями в экономической, социально-политической и культурной жизни, но и воочию убеждаются в торжестве ленинской национальной политики. Именно поэтому забота о сохранении русского литературного языка, его дальнейшем творческом развитии и распространении в современном мире становится у нас задачей большого значения.

Обновляясь и совершенствуясь во времени, русский литературный язык советской эпохи обслуживает многосторонние нужды все новых и новых поколений говорящих и пишущих, но при этом в основе своей остается национальным русским языком и сохраняет постоянную животворную связь с народными речевыми истоками.

Художественные достижения любого национального языка как части национальной культуры по своим источникам и началам принадлежат народу, их создавшему. Но как явление общечеловеческой цивилизации они принадлежат всему миру. То же самое — в области общественных идей. Сформулированное впервые на русском языке великое учение В. И. Ленина стало мировым достоянием, ибо, продолжая учение К. Маркса, было общечеловеческим по своей сути, по своим идеям.

Писатель и норма

Отточенность стиля и слога писателя есть результат сознательного отношения к слову, вдумчивого изучения его различных смысловых оттенков. Конечно, в художественной, поэтической речи есть своя точность, значительно от-

[26] *Брежнев Л. И.* О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик. М., Политиздат, 1973, с. 22.

личающаяся от точности общей грамматики. Язык произведений искусства оценивается прежде всего с позиций самого искусства. Верно передать мысль и чувство, реалистически воссоздать язык и образ, духовный мир героя — вот о чем прежде всего заботятся художники слова в работе над своими произведениями. Подлинная правда жизни повестей и романов Герцена заставила Тургенева произнести знаменитую теперь фразу: «Язык его, до безумия неправильный, приводит меня в восторг» (письмо к П. Анненкову от 18 октября 1870 г.). Но ведь именно Тургенев не раз обращался к молодым писателям России со страстными призывами беречь великий русский язык, умело обращаться с этим великим национальным достоянием и наследием.

Среди языковедов в последние годы широкое хождение имеют слова Л. В. Щербы (сказанные в свое время и по особому поводу) о том, что «когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то начинает он чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от нее» (статья «Спорные вопросы русской грамматики», 1939) [27]. К сожалению, мы не всегда задумываемся над смыслом этих справедливых в общем-то слов. Ведь в них речь идет не столько о праве писателя на ошибку, сколько о требовании четкого понимания, осознания им традиционной литературной нормы. Как и во многих других случаях, обязанности здесь определяют и права, лежат в основе прав на отступления от литературных норм, на писательскую игру словом. Прелесть таких отступлений, их эстетические свойства выступают лишь на фоне известного, общелитературного. А иначе с чем же было бы их сравнивать и как оценивать?

В свое время К. А. Федин приводил примеры «обворожительных неточностей» из романа А. Толстого «Хождение по мукам»: «Что говорить о прогулке Даши с Телегиным по аллее в воскресенье, когда в вершинах сосен кричит, „посвистывает водяным голосом“ иволга!.. Крик иволги похож на бульканье льющейся из бутылки воды. *Водяной голос* — это неточность. Но на таких неточностях стоит искусство» (Писатель. Искусство. Время) [28].

[27] РЯШ, 1939, № 1, с. 10.

[28] Цит. по: *Виноградов В. В.* Вопросы поэтики и стилистики в литературно-критических трудах К. А. Федина.— В кн.: Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963, с. 235 и след.; ср.: *Вомперский В. П.* К. А. Федин о культу-

Необычность писательского слова, внешне противоречащая прописным грамматическим истинам, на деле часто оказывается точностью искусства, точностью свежего взгляда на примелькавшиеся вещи. Необычный, но такой памятный всем и образно зримый «розовый конь» С. Есенина «в весенней гулкой рани» — это, может быть, освещенный утренней румяной зарей белоснежный красавец скакун. А знаменитые «желтые дожди» К. Симонова («Жди меня») — это бесконечные падающие с мутного неба водяные струйки, сливающиеся в прозрачную стену на рыжем фоне осеннего леса и вонзающиеся в мокрую желтую глину... Все это примеры поэтической образности, художественной точности слова, над которой не властны предписания практической грамматики и риторики.

Нельзя думать, однако, что художник вполне свободен от законов языка, от требований грамматики и орфоэпии. В большинстве случаев свободу так называемых поэтических вольностей мы преувеличиваем. Да и всегда ли можно провести четкую грань между такого рода вольностью и обыкновенной смысловой, грамматической или произносительной ошибкой? Думается, что не всегда.

В стихах хорошего русского советского поэта Николая Рыленкова есть такие строки: «Пускай угрюмые догматики Ворчат, я к этому привык. Я до сих пор еще грамматике Нет-нет и покажу язык...» Сказано это, конечно, больше для парадокса или для красного словца, и принимать это утверждение всерьез не стоит. Ведь у того же Рыленкова мы находим такие откровенные признания и призывы: «Я пил полынь и мед — не пресное питье — И знаю цену слов, где время отстоялось», или еще: «Все береги: родную речь, Где слово с корнем жизни связано...»

Известны крылатые слова Пушкина (из «Евгения Онегина»): «Без грамматической ошибки Я русской речи не люблю». Конечно же, это сказано в шутку[29]. Потому что в пору своей творческой зрелости поэт признавался: «Вот уже 16 лет, как я печатаю, и критики заметили в моих

ре русской речи.– Вестн. МГУ, филология, журналистика, 1963, № 5, с. 39 и след.

[29] Можно думать, правда, что здесь речь идет, скорее, не о собственно грамматической (в нашем нынешнем понимании), а о семантической «ошибке» – игре словом, своеобразном его применении, поскольку именно это и есть «улыбка» живой речи, вопреки педантизму учено-книжных предписаний.

стихах 5 грамматических ошибок (и справедливо): 1) *остановлял взор* на отдаленные громады, 2) *на теме гор* (темени), 3) *воил* вместо *выл*, 4) *был отказан* вместо *ему отказали*, 5) *игумену* вместо *игумну*. Я всегда был им искренно благодарен и всегда поправлял замеченное место» (статья «Опровержение на критики»). Нас и сейчас не перестает удивлять и восхищать пушкинское отношение к справедливой языковой критике. Но ведь не зря же говорили в старину, что грамматика владеет даже королями.

Поэт, художник-писатель показывают возможности языка — и не только изобразительные, эстетические, но и собственно грамматические, смысловые, стилистические и т. п. Они умело и осознанно «взрывают» традиционную литературную норму, когда она противоречит новому содержанию. Старое и новое в языке очень часто драматически сталкиваются и разрешают свой конфликт именно в творчестве писателя-мастера. Показательно в этом смысле признание И. С. Тургенева по поводу его спора с М. Погодиным о слове «обыденный» (его старое литературное, книжное значение было 'построенный или совершенный в один день'). «Как-то напал на меня М. Погодин,— рассказывает Тургенев. — Вы, новые писатели, по-русски не знаете... В каком смысле, например, употребляете вы слово „обыденный"? Вот что я ему ответил: я употребляю его в том смысле, в котором оно значит: обыкновенный, тривиальный, привычный... Одним словом, в том смысле, для которого у нас по-русски нет другого выражения, хотя знаю, что оно значит: сделанный в один день. Да, вообще, какое мне дело до того, что значило слово прежде, если оно, употребленное иначе, верно передает мою мысль» [30]. Время, как известно, решило спор в пользу Тургенева. Интересно, что если в первом издании «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля (1863—1866) категорически говорилось: «В последнее время многие с чьей-либо легкой руки стали писать *обыденный* вместо *обиходный*, искаженье крайне ошибочное», то во втором, посмертном издании словаря (1880—1882) сказано уже более примирительно: «Ныне в обычае писать *обыденный* вместо *обиходный*».

---

[30] Цит. по: *Луканина А.* Мое знакомство с И. С. Тургеневым.— В кн.: И. С. Тургенев в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1969, с. 210–211.

Обогащение разветвленной и многосложной образно-стилистической системы литературного языка происходит постоянно — и в устном общении, и особенно под пером хороших и чутких к слову писателей. И никакие словари подчас не способны угнаться за живым развитием языка.

Чтобы проиллюстрировать эту достаточно в общем-то ясную мысль, обычно обращаются к тем словам и выражениям, которые известны разговорной речи, встречаются в публицистике, в языке научной и художественной литературы, но не получили отражения в словарях. Такого рода слов и выражений немало, и идут они обычно из профессиональной речи и из арго, из диалектов и просторечия, являются заимствованиями из других языков или оказываются результатом индивидуального словотворчества.

Однако, как это на первый взгляд ни парадоксально, менее очевидны, но в сущности своей более показательны для языка глубинные процессы, происходящие в пределах литературных слов и оборотов — ведь здесь-то как раз мы имеем дело не с простым (часто механическим) пополнением словаря и фразеологии, а с тонкими приращениями смысла и в конечном счете с совершенствованием языка как орудия мысли, средства общения, эстетического воздействия. Приведем лишь один пример.

В толковых словарях современного русского литературного языка слово «судьба» имеет обыкновенно три-четыре значения. Во-первых, *судьба* — это «стечение жизненных обстоятельств» (например: предсказано судьбой, не судьба кому-нибудь и т. п.). Во-вторых, *судьба* — это «доля, участь», а также «будущее» (будущая доля), например: знать что-нибудь о судьбе пропавшей экспедиции; принять участие в чьей-то судьбе; решить чью-нибудь судьбу и т. п. В-третьих, *судьба* — это «история существования» (например: у этой книги интересная судьба).

А вот в романе Петра Проскурина «Судьба», где это слово вынесено в заголовок и как бы символизирует весь его замысел оно встречается более 20 раз, и мы не всегда сможем отнести его значение (или оттенок значения) к уже зафиксированным словарями смыслам. Оно может значить у писателя и одно, и другое, и третье: ‘судьбина’, ‘доля’, ‘жизненные обстоятельства’, прошлое и будущее людей, страны и даже просто человеческие жизни, например: сотни человеческих *судеб* прошли через его жизнь;

почувствовал и свою вину за *судьбу* дочери, на него рухнул первый удар *судьбы*, *судьба* тяжелого мужицкого счастья и др. В работах по стилистике это явление называют контекстным значением, т. е. осмыслением слова в контексте, в конкретном и живом языковом окружении.

На такого рода примерах мы видим, как расширяется и видоизменяется значение слова и как это, в свою очередь, ведет к расширению его сочетаемости — возможностей смысловой и синтаксической связи с другими словами. Слово живет полнокровной жизнью, данной ему писателем, переливается семантическими оттенками, помогает осмысливать жизненный материал, т. е. становится в буквальном смысле средством художественного и языкового мышления. И для самого писателя и для вдумчивого, внимательного читателя.

Язык наш — это не только и не столько «оболочка» мысли, но в известном смысле и сама мысль. В языке, в его истории и современном состоянии каждый народ выражает себя, при этом «выражает себя всего полнее и вернее» (И. И. Срезневский). Писателей, ученых, педагогов, всех, кому дороги судьбы родного языка, острое понимание этого делает чуткими и нетерпимыми к тому, что в языке оказывается сорным, наносным, что затуманивает, притупляет живую творческую мысль. Высока ответственность мастера-художника перед читателями, перед литературой и языком — и в конечном счете перед будущим национальной культуры.

Методу социалистического реализма, впитавшему лучшие черты многовековой отечественной литературы, органически присущи такие языковые черты, как тонкая и свободная индивидуализация стиля авторского повествования и многообразие форм речевой характеристики персонажей. В этих чертах находят отражение стилистическое богатство и внутреннее единство национального русского языка. Задача писателя и журналиста, каждого говорящего и пишущего — умело и бережно обращаться с этим великим богатством.

К сожалению, это бывает не всегда. Ведь если есть, как мы сказали, нарочитая художественная «корявость» слога, то есть еще и стилистическая глухота, и простая языковая неграмотность, а подчас и фактическая ошибка. И когда мы видим в историческом повествовании современного

детского писателя[31], как один из «тиунов» пристукнул «бердышом» — в живописной в общем-то сцене из жизни Киевской Руси,— то плохо верим автору: *бердыши* (боевые топоры) появились у нас несколькими веками позднее (впервые слово *бердыш* зафиксировано в «Лексиконе» Ф. Поликарпова в 1704 г.). Конечно, это ошибка фактическая, а не языковая, но от этого не уменьшается ее неуместность в повести из истории нашей страны[32].

Примеры стилевой манерности, граничащей с языковой неграмотностью, находим в книге молодого автора Л. И. Парфенова «Добро для добрых», выпущенной издательством «Советская Россия» в 1970 г.: Васька, пренебрегши ступеньками, вылетел с террасы... (с. 95); Было неудобно. Над ним, на фоне звездной белеси (?!) раскачивались черные ветви (с. 6); Потом они сидели в глухой аллее. Сквозь густые кроны лип проступали лимфатически (!) бледные звезды (с. 36); Легкий влажный ветерок доносил из глубины лугов преувеличенно (!) душистый запах свежескошенной травы (с. 19); Белая краска (столика.— *Л. С.*) давно сползла с него, весь он был обшарпанный, зазубренный, хотя и не мог похвастаться (?!) возрастом (с. 7); Живя среди этих вещей, допустить в реальности, а не в мечтах возможность какого-нибудь из ряда вон выходящего случая, который произошел бы с тобой, казалось смешной бессмыслицей (с. 8); Эти картины, навеянные виденными когда-то фильмами, представлялись Ваське реальностью, которая его ожидает (с. 17); Ему не хотелось об этом думать. Мысль не оригинальная. Но силлогизмы один за другим возникали в мозгу и выстраивались в логическую цепь (с. 93); То же случилось и с душой Варягина. Она как бы промерзла на всю глубину, а сокровенные чувства, мысли (души? — *Л. С.*), вырвавшиеся на поверхность (души? — *Л. С.*), немедленно растекались (по душе? — *Л. С.*) и застывали (с. 116).

В последние годы телевидение и кинематограф активно обращаются к инсценированию художественных произведений. Здесь также не обходится без накладок, и поэтому

---

[31] Речь идет о повести-сказке В. Губарева «Преданье старины глубокой» (М., 1970).

[32] О других подобных ошибках и неточностях той же книги см.: *Сумникова Т. А.* Преданье старины глубокой?— Рус. речь, 1971, № 2, с. 53 и след.

нелишне, на наш взгляд, еще раз напомнить о необходимости бережного воплощения литературного слова на большом и малом экранах.

В интересном в целом телевизионном спектакле «Плотницкие рассказы» по известной повести Василия Белова вологодский плотник, пожилой человек Олеша Смолин, то нормально по-северному «окает», а то вдруг странно «акает» («а ты вазьмешь», «драва рубить», «саха») и даже по-рязански «якает» («из-за яво»), что уже совсем не пристало мужику-северянину (не рязанцу!). Эта фальшивинка в сценах из народной жизни вредит и телефильму и литературному произведению.

И не надо думать, что актера до спектакля следовало обучить всем деталям точного «вологодского диалекта». Дело ведь не в буквальном копировании говора, не в фотографической точности. Такая точность, оборачиваясь языковым натурализмом, к подлинному искусству никакого отношения не имеет. Актеру в этом случае необходимо было услышать и достоверно передать всю мелодику, интонацию речестроя, которая в целом (дело ведь не в отдельных словечках!) и создает характерный и неповторимый рисунок северного, вологодского «говорка». Эта интонация, кстати сказать, легко улавливается и «вычитывается» из самого текста повести. Достаточно раскрыть любую страницу «Плотницких рассказов» и прочесть, даже не вслух, а про себя, несколько строк, чтобы убедиться в этом:

«... До Питера ехали двенадцать ден. Ехали и по ночам, лошадей накормим — и опять в путь. Иду за роспусками, да сам себя ругаю: почто, думаю, мне дураку было те два с половиной блина лопать? Сидел бы сейчас в теплой беседе да кудели у девок из прялок дергал. Про Таньку как вспомню, так сердчишко-то и лягнет под шубой. А полоз вот скрипит, лошади фыркают, кругом темный лес. По елкам красный месяц колобом катится, волчица перекликается со своим серым хахалем. Мне и жаль самого себя, и плакать противно, слезы перерос, до крепости не дорос». Ясно, что дело тут не в диалектных формах («ден» вместо «дней» и т. п.) и не в лексических диалектизмах («беседа» — посиделки, вечорка, «роспуски» — сани), а в самом строе народной речи, в системе образных средств («месяц колобом катится») и народно-поэтических формулах живой беседы («слезы перерос, до крепости не дорос»).

Пример своеобразного «натурализма наоборот» — буквализма — находим в недавней кинематографической инсценировке одного из ранних рассказов А. П. Чехова — «Цветы запоздалые». В одной из сцен этого кинофильма героиня, княжна (!) Маруся Приклонская, смущенно просит у своего слуги Никифора денег взаймы: « — Голубчик, Никифор, миленький... *Займите мне* (курсив здесь и далее наш.— *Л. С.*) завтра пять рублей. В последний раз... можно? — Можно-с...— отвечает Никифор.— У меня только и есть пять. Возьмите-с, а там бог пошлет...— Я отдам, голубчик. Ты *займи*...» А в самом конце фильма уже и брат Маруси, Егорушка Приклонский, приходит к доктору Топоркову с просьбой: « — *Займите мне* пять рублей». Если обратиться к тексту рассказа Чехова, то этой последней реплики Егорушки мы в нем вообще не найдем: она целиком «сконструирована» сценаристами по модели предыдущего диалога Маруси и Никифора. А тот диалог действительно взят целиком из чеховского рассказа.

Думается, однако, что в обоих этих случаях можно и нужно было обойтись без полуграмотного южнорусизма «займи мне» (вместо литературного «дай взаймы, в долг»). Этот авторский южнорусизм явно по ошибке вложен молодым Чеховым в уста начитанной молодой дворянки и ее брата, отставного гусара (« — *Займи мне рубль*»,— просит он сестру). Вспомним, что рассказ этот относится к 1882 г. и подписан был еще псевдонимом: «А. Чехонте». В том, что это именно южнорусизм, сомневаться не приходится. О нем писали русские филологи уже с середины XIX в. Например, в работе К. Зеленецкого «О русском языке в Новороссийском крае» (1855) приводится однокоренной глагол *нанять* с примером-иллюстрацией: «— Нанял ли ты свой дом? — вместо: отдал ли в наймы». В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля (2-е изд. СПб., 1880) в статье «заимать» читаем: «*Занимать* — займовать, брать взаймы, в долг. Когда занял — знаю, когда отдал — не знаю. Не шутка занять, а шутка отдать. Сколько ни занимать, а быть платить»... И далее: «В Новороссии говорят *занимать* вместо *ссужать*: *займите мне сто рублей*»...

В чеховском рассказе, как в этом нетрудно убедиться, выражение *займи мне* не несет никакой функциональной стилистической нагрузки: это и не провинциализм и не характерологическое средство. В реальной жизни княжна

Маруся и ее непутевый брат Егорушка могли сказать только: «дай (дайте) мне взаймы», а не «займи(те) мне». Никто, наверное, не упрекнул бы авторов сценария кинофильма за «поправки» текста Антоши Чехонте, от удвоенной ошибки которого по их воле страдает теперь Антон Павлович Чехов.

Художественная литература — сокровищница языковой культуры

Необходимую предпосылку правильного владения языком и стилем отечественные языковеды всегда видели в сознательном отношении к слову, к тончайшим его элементам, выражающим разные оттенки смысла. Об этом писали И. И. Срезневский и А. А Потебня, В. И. Чернышев, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов и др.

Л. В. Щерба считал, например, что сравнительные достоинства отдельных литературных языков определяются несколькими факторами, среди которых исследователь выделял в особенности три. Первое — это словарное богатство; наличие разнообразных средств выражения как для общих, так и для частных понятий. Второе — богатство синонимики, так как именно синонимические ряды образуют систему оттенков одного и того же понятия. Третье — это степень внутренней сложности средств выражения, или, говоря иначе, это богатство готовых возможностей выражать разнообразные оттенки мысли и чувства[33]. Каждый из этих факторов есть результат многовекового развития литературного языка, созданный трудами ряда поколений и закрепленный в лучших образцах письменного и устного творчества.

Совокупность этих факторов определяет такие черты развитого литературного языка, как сложность и «отзывчивость» его выразительных средств, гибкость, способность выражать все, что нужно для выполнения его важнейшей функции — быть орудием мышления, воздействия и взаимопонимания.

Таким образом, в основе всякого развитого литературного языка лежит накопленное веками сокровище фраз, словосочетаний, комбинаций, фразеологизмов, изречений,

[33] См.: *Щерба Л. В.* Современный русский литературный язык.— В кн.: Щерба Л. В. Избр. работы по русскому языку. М., 1957, с. 121 и след.

пословиц и поговорок. Но эта сокровищница оказывается гораздо большим сокровищем, чем обыкновенно думают, отмечал Л. В. Щерба. Обычно ее понимают как сумму накопленной народом мудрости. Между тем в самом языковом материале, унаследованном от старших поколений, заложены в виде возможностей, потенций и линии речевого поведения будущих поколений, живых наследников этого сокровища. Именно поэтому, говорил Щерба, «правила употребления слов выводятся из всей совокупности читаемого в данном коллективе материала, т. е. из всей актуальной литературы» [34].

Языковая сокровищница содержит богатый запас материалов для выражения новых мыслей и чувств; она вечно живой источник искусства слова, и отказ от нее означал бы не что иное, как необходимость начинать накопление с самого начала.

Наша современная языковая сокровищница, строго говоря, начинается в XIX в. (вспомним ленинское определение: «от Пушкина до Горького...»), но начинается она, конечно же, не с нуля, не с пустого места. Ведь основоположник русского литературного языка нового времени А. С. Пушкин был прямо связан своим творчеством с XVIII в., а в то время, как известно, жива еще была сокровищница древнерусской литературы, накопление которой, в свою очередь, началось еще в IX в. на базе мировой культуры и письменности того времени.

Суть всякого развитого литературного языка состоит в его стабильности, традиционности. При этом живая устойчивость национальных литературных норм вовсе не обозначает омертвения языка, его окостенения в выработанных раз и навсегда формах, а, напротив, предполагает его дальнейшую творческую обработку.

Знание стилистических богатств русского языка и глубокое понимание его внутреннего единства предопределяют пути подлинного новаторства мастера-художника в пределах живой национальной традиции. Сокровищница литературного языка, создаваемая всей совокупностью читаемой литературы прошлого и настоящего,— это не какая-то неприступная и раз навсегда созданная святыня, это именно живая традиция, требующая постоянного творческого развития и обогащения.

---

[34] *Щерба Л. В.* Литературный язык и пути его развития, с. 132.

Писатель-мастер обогащает палитру отработанного литературного языка, используя для этого народные формы речи, профессионализмы, неологизмы, оправданные и необходимые (лишь самые необходимые!) заимствования и многое другое. Что-то при этом, естественно, остается чисто авторским изобретением и приобретением, а что-то становится сразу или может со временем стать общенародным. Язык умело и умно распоряжается своими и чужими богатствами.

Например, презрительное «торшерство» Е. Евтушенко — это собственное изобретение поэта. Но это творчество, так сказать, в пределах строя и духа языка, в границах национальных языковых возможностей. Вместе с тем (и это очень важно) это не простые слова на случай, а эмоциональные и смысловые центры поэтического повествования, слова-символы, оценочность и программность которых для нас очевидны. У того же Евтушенко: «Неужто шли по грудь в грязище МАЗы Не ради духа и его торжеств, А только ради «мини» или «макси» И наших озабоченных торшерств?» («Уроки Братска»).

А рядом с этими новообразованиями мы встречаем в литературе наших дней такие слова, как *суметы* (сугробы), *осек* (полевая изгородь), *жальники* (могильные холмы), *заделье* (работа, занятие), *шаркунец* (колокольчик у коровы), *потащиха* (сильный ветер) и многие другие в поэтических и прозаических строках В. Белова, В. Шукшина, Н. Рубцова, С. Викулова, О. Фокиной, В. Коротаева и др., почерпнутые из незамутненных рек, ручьев и озер народной русской речи.

Примечательным языковым явлением русской советской литературы наших дней следует признать свободное и широкое обращение молодых писателей к диалектной стихии русской речи с достаточно точным и подробным воплощением ее локальных особенностей.

В повести молодого прозаика Гария Немченко «Зимние вечера такие долгие...» (М., 1974) народная диалектная речь представлена в неторопливых рассказах кубанской жительницы Анны Панкратьевны:

Станем было жалковать, а потом кто-нибудь говорит: ой, бабы, да хватит — чего нам к людям за горем идти, если дома свои плачут?

Да сидим, а за окном ненастует, да по земле потащиха, кругом хурта, не дай бог где в степи одному,— а у нас тихо

да теплочко, да только бодылки от подсолнуха в печке потрескивают — то ли не радость?

Тут и поговорим, тут и попоем, и поплачем... (с. 164).

А в следующих, например, фразах повести «Белая горница» (Архангельск, 1973) писателя Владимира Личутина мы легко определяем неторопливый поморский говорок: Получилось так, что Аким Селиверстов, к утру добравшись до Койды, узнал, что фельдшера там нет, нет его и в Мезени, потому как в дальних заканинских деревнях появилась испанка и оба фельдшера срочно, еще неделю назад, выехали к морю. И к тому же упала на Зимний Берег редкая для этих мест пурга, навалила снегов по лошадиную холку и надолго перемела и без того ненадежный зимник. Две недели пришлось Акиму высидеть в Койде, а потом с пустыми руками и горькими мыслями возвращаться в Вазицу (с. 63).

Интересно, что в повествовательной манере и Владимира Личутина и Гария Немченко, ориентированной на народную речь (в разных ее истоках), характерными оказываются свободные конструкции присоединения, такие типичные для русского национального повествовательного стиля, придающие ему черты эпичности в равной степени и в авторской речи и в речи персонажей (так строили фразы Гоголь, Достоевский, Л. Толстой, А. Н. Толстой).

Героиня повести Г. Немченко рассказывает, например, о послевоенной встрече девочки с армейским писарем, который по просьбе ее отца вместо похоронки отправил в семью документ о том, что он не погиб, а пропал без вести (чтобы не надломилась в горе его жена с шестью малолетними детьми). И вот конец этой горестной встречи: Ну дочка угостила его, сама поплакала, посидели они, а она потом говорит: все правильно отец рассудил, пусть земля ему будет пухом, и вам, дядечка, большое спасибо, что вы так сделали, только давайте маме про то не говорить, что он убитый,— она его до сих пор ждет! (с. 176).

Внешняя усложненность такого рода фраз подчинена свободному дыханию устной речи, по-разговорному емка и жизненна. Ее кажущаяся «книжность» в сочетании с народным речестроем дает новое качество языку повествовательной прозы наших дней. Например, в заключительной части исторической повести В. Личутина «Белая горница» (журнальный вариант) читаем: Оглянулась Марья

кругом, потерянно оглянулась, поставила лампу на заскобленный стол, и стало ей вдруг до невыносимости жалко себя, заревела она, приглушая душевный крик, а то „не дай бог, девка пробудится"... (Север, 1972, № 8, с. 48). Думается, напрасно автор в отдельном издании согласился с последовательным разделением этой и подобной ей фраз на несколько предложений, при котором сбивается свободное дыхание развернутого периода.

Достаточно сопоставить с журнальным текстом одну из многочисленных книжных «правок» повести. Журнальный вариант (1972): А Мишка Кремь еще утром, опасаясь подвоха, осторожно подъехал к избе: мало ли что мог устроить Афанасий Мишуков, вдруг дома засада навострила на него свои пушки. Но никто его не встретил, окна были молчаливы, а ввоз закидан суметами снега, и свежих следов не было видно, будто все вымерли в доме (с. 46). Книжный вариант (1973): Мишка Кремь еще утром, опасаясь подвоха, осторожно подъехал к избе: мало ли что мог устроить Афанасий Мишуков. Вдруг засада навострила на него свои пушки. Но никто его не встретил, окна были молчаливы, ввоз закидан суметами снега (с. 75). По-видимому, нет нужды доказывать художественные и чисто языковые потери такого рода правки и необоснованных сокращений.

Языковая художественная сокровищница пополняется из различных источников. При умелом использовании может стать поэтическим, функционально оправданным, казалось бы, самый что ни на есть прозаический материал, например деловая, «протокольная» речь. Именно протокольные слова и обороты создают стилевой обертон повествования Андрея Платонова в «Сокровенном человеке», вводят читателя в атмосферу трагической повседневности: «Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки.— Естество свое берет!— заключил Пухов по этому вопросу...»; ср.: «закурил — для ликвидации жажды», начальник станции смотрел «какими-то отвлеченными глазами» и т. п.

В повести Н. Евдокимова «Необходимый человек», написанной под несомненным стилистическим влиянием Платонова, главный герой Фролов, возвращаясь после войны на родину, «двигался в неизвестном направлении». Впрочем, он все-таки «двигался к определенной цели.

Цель эта была женского пола, звалась Настей...» и т. п. Обращение к такому необычному материалу и приему требует от автора особенного мастерства и тонкого стилистического чутья. Иначе мы будем иметь дело с обычными «прозаизмами», а то и с автопародиями, как это произошло в ряде мест неплохого в общем-то романа «Прощальный снегопад» Б. Романова (Север, 1975, № 3). Вот как пишет, например, автор о своем герое и его жене: «Но никакого высшего образования (!) у него не было (бы?), и никаких бы должностей у него не было, если бы не жена. Он мог мерить (?) ее самою высшею (?!) мерой: она была предана ему так же, как он сам (!) был предан своей работе», и дальше: «Она (жена) берегла то, что он и сам берег: цельность (!) жизни. Кроме того (?), она родила ему сына, когда он (?) странствовал в лесах первой военной зимою» (с. 53—54). Двусмысленной комичности последней фразы автор как будто бы совсем не замечает.

Обогащение языковой сокровищницы надо уметь отличать от ее засорения и обеднения. А засоряет ее прежде всего то «новое», что не приносит дополнительных оттенков мысли, что оказывается простым дублетом к тому, что уже есть в языке.

Постоянный и неустанный труд писателя над словом требует глубоких знаний огромных возможностей родного языка, умения вскрыть и показать людям его нетронутые богатства. Язык в его истории, современном состоянии, в памятниках письменности и в произведениях художественной литературы связывает каждого из нас с прошлым, настоящим и будущим своего народа. Именно поэтому писатель в своем языкотворчестве (да и в творчестве вообще) не должен вступать в противоречие со сложившимися закономерностями и живыми тенденциями развития родного языка; оберегая литературную сокровищницу, накопленную веками, писатель, по справедливому замечанию В. В. Виноградова, «не может безнаказанно, без глубоких на то оснований, нарушать нормы общенациональной речи» [35].

Задача писателя и журналиста, ученого и публициста состоит в умелом и бережном обращении с богатствами

---

[35] *Виноградов В. В.* Заметки о языке советских художественных произведений.– В кн.: Вопросы культуры речи, вып. 1. М., 1955, с. 66.

литературного языка, чтобы сложную симфонию мелодий и линий, полутонов и оттенков не подменять незатейливой, хотя, может быть, и трогательной в своей простоте, мелодией волынки, гудка или жалейки. Всему свое место и свое время.

О точном, умелом и честном обращении с родным словом заботились многие поколения русских писателей. Наша советская социалистическая эпоха, советская литература и культура наполняют эти требования новым содержанием, неизмеримо усиливают их. Забота о языке становится у нас поистине общенародным делом.

В давней своей статье «Язык литературы» К. А. Федин писал: «Мало говорить, что такой-то писатель небрежен к языку. Надо показать на опыте своего дела правильное обращение со словом. Напиши книгу, безупречную по языку. Это будет действенным участием в борьбе за культуру художественной речи».

Нашим молодым литераторам есть у кого поучиться, кого взять в этом смысле за образец: перед ними опыт старших мастеров слова, книги Михаила Пришвина и Алексея Толстого, Бориса Шергина и Константина Паустовского, Александра Фадеева и Константина Федина, Леонида Леонова и Михаила Шолохова — гордость русской советской литературы и культуры.

Успехи научного описания и изучения структуры современного русского литературного языка и его норм ничуть не уменьшают, а в известной мере даже стимулируют необходимость активного вмешательства общественности — писателей, журналистов, педагогов, широких кругов советской интеллигенции — в вопросы языкового развития, повышения речевой культуры, совершенствования новых общественных функций русского языка как средства межнационального общения народов СССР и как международного, мирового языка современности.

Эпопея Л. Толстого «Война и мир» как воплощение национальной художественной нормы

Национально-художественная норма — как национальная языковая характерность, своеобычность — принадлежит тому или иному языку и, в сущности, неповторима за пределами национальных форм речи и национального образного мышления. Эта норма непосредственно и орга-

нично связана с народными формами речи, закрепленными в многообразных жанрах устного поэтического творчества — фольклоре.

Национально-художественная норма не существует отвлеченно: она воплощена в произведениях национальных художников слова, властителей дум и чаяний народа. Национально-художественная норма русской прозы воплотилась в произведениях Пушкина, Гоголя, Толстого, Тургенева, Достоевского и других писателей, получивших мировое признание.

Она нашла свое яркое выражение в языке и стиле, в самой композиции эпопеи Л. Толстого «Война и мир», в авторском отношении к повествованию, в специфически национальном складе его мышления. Величие, могущество, свобода и правдивость русского языка составляют основу толстовской повествовательной манеры. «В смысле правдивости,— писал И. Бунин о Льве Толстом,— удивителен был даже язык его произведений, выделяющийся во всей русской литературе отсутствием всяких беллетристических красот, готовых стилистических приемов, условностей, поражающий смелостью, нужностью, точной находчивостью (разрядка наша.— *Л. С.*) каждого слова» [36].

Выше говорилось о том, какие затруднения испытывал Л. Н. Толстой, определяя жанровую специфику начатого им эпического произведения о войне 1812 г. Западноевропейская традиция романа ощущалась Толстым как совершенно чуждая национальной русской прозаической традиции. По этому поводу он писал в 1864 г.: «Я бесчисленное количество раз начинал и бросал писать ту историю из 12-го года... То мне казался ничтожным прием, которым я начинал, то хотелось захватить все, что я знаю и чувствую из того времени... то, и чаще всего простой, пошлый литературный язык и литературные приемы романа казались мне столь несообразными с величественным, глубоким содержанием... что я бросал начатое... Я боялся писать не тем языком, которым пишут все, что мое писанье не подойдет ни под какую форму, ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории... Мы, русские, вообще не умеем писать романов в

[36] *Бунин И. А.* Освобождение Толстого.— Собр. соч. в 9-ти т., т. 9. М., 1967, с. 91.

том смысле, в котором понимают этот род сочинений в Европе. Я не знаю ни одного художественного русского романа, ежели не называть такими подражания иностранным. Русская художественная мысль не укладывается в эту рамку и ищет для себя новой...» [37]

Эпопея «Война и мир» явилась новым словом в мировом эпическом творчестве. Неповторимое своеобразие русской художественной мысли, которое никак не укладывалось в принятые тогда в Европе жанровые формы повести или романа, живо ощущалось современниками Толстого. И. С. Тургенев, говоря о жанровом своеобразии «Войны и мира», назвал эту книгу произведением оригинальным и многосторонним, заключающим в себе «вместе эпопею, исторический роман и очерк нравов» [38].

Сам Л. Н. Толстой неоднократно обращался к жанровой характеристике своего эпического произведения. В 1868 г. он писал в связи с этим:

«Что такое „Война и мир“? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. „Война и мир“ есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось...

История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Начиная от „Мертвых душ“ Гоголя и до „Мертвого дома“ Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести» [39].

Широкое введение автором публицистических и философских глав в роман не только предельно раздвигает границы повествования, но и одновременно объединяет в одно целое исторический, философский роман и психологический «очерк нравов».

Многоплановость исторического романа-эпопеи обусловила богатство и многообразие языковых и стилистических средств. В. В. Виноградов в обширной статье,

[37] *Толстой Л. Н.* Набросок предисловия к «Войне и миру», с. 53–55.

[38] Л. Н. Толстой в русской критике. 2-е изд. М., 1952, с. 296.

[39] *Толстой Л. Н.* Несколько слов по поводу книги «Война и мир».– Полн. собр. худож. произв., т. 7. М.– Л., 1932, с. 301.

посвященной языку Толстого, справедливо писал о том, что в «Войне и мире» представлена сложная система взаимодействия и смешения литературного повествовательного стиля со сферами военного и официально-делового языка, а также со сферой научно-философской и журнально-публицистической речи [40].

Эпопея Толстого — это подлинная энциклопедия жизни России начала XIX в. Национальное своеобразие этой жизни по-разному выявляется в различных кругах общества; в самом повествовании черты национального русского характера предстают либо «объективизированно», либо в специальных авторских рассуждениях и отступлениях [41]. В целом следует сказать, что Толстой не только создает в «Войне и мире» разнообразные типы русских солдат, крестьян, горожан, но и раскрывает лучшие черты национального русского характера в тяжелую годину военных испытаний и трудностей: патриотический подъем, стремление к самопожертвованию, спокойная уверенность в своих силах и вера в конечную победу над сильным врагом.

И с самого начала повествования, по верному замечанию исследователей языка и стиля Толстого, «сильное и отрезвляющее народное слово противопоставлено дворянской и купеческой болтовне» [42]. Обращение к народному крестьянскому языку, типизированное и постоянное изображение его на страницах романа знаменуют глубинную народность стиля великого национального писателя.

К традиционным приемам литературно-языковой художественной школы, разработанным Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Лев Толстой добавил новые приемы психологического анализа и выражения душевной жизни — при широкой и свободной ориентации на разговорную речь, просторечие, крестьянский язык, на стили устной народной словесности, на живое ораторское слово [43].

---

[40] См.: *Виноградов В. В.* О языке Толстого (50–60-е годы.) – Лит. наследство, № 35–36. М., 1939.

[41] Текст «Войны и мира» цит. по: *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч., т. 9–12. М., 1937.

[42] *Чичерин А. В.* О языке и стиле романа-эпопеи «Война и мир». Львов, 1957, с. 11.

[43] См.: *Виноградов В. В.* О языке Толстого (50—60-е годы); ср.: *Бахтызин А. М.* Литературно-языковой стандарт и толстовская

Эстетико-художественные и нормативно-литературные задачи и проблемы решались Толстым с позиций широко понимаемой народности и с опорой на глубоко понятый им национальный характер и способ мышления народа, выражаемый в специфической и вместе с тем органически связанной с ними стилистико-речевой манере.

В описаниях и сценах, связанных с Платоном Каратаевым, следует прежде всего усматривать не прямую идеализацию Толстым крестьянского начала, а, скорее, поиск русским дворянином Пьером Безуховым (а вместе с ним и автором) путей к истинной народности, постижению народного, национального духа:

...Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого...

...Главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность (заметим, что «быстрота и верность интонации», как это будет показано дальше,— те характерные черты, которые присущи в целом авторскому повествованию,— служат ключом к пониманию существа национально-художественной нормы русской прозы.— *Л. С.*)...

...Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными (словами.— *Л. С.*) и пословицами, которые, Пьеру казалось, он сам выдумывал...

...Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большею частию неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати.

...Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла, как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал (т. 4, ч. 1, XIII).

То же ощущение части целого характерно для поисков подлинной народности автора и его любимых персонажей, ср.: ...когда (Николай.— *Л. С.*) научился говорить

стилистика.— В кн.: Русское языкознание, вып. 2. Алма-Ата, 1973, с. 3 и след.

его (Лужина.— *Л. С.*) речью... когда почувствовал себя сроднившимся с ним, только тогда стал он смело управлять им... (Эпилог, ч. 1, VII); Он (Николай.— *Л. С.*) часто говаривал с досадой о какой-нибудь неудаче или беспорядке: «с нашим русским народом», и воображал себе, что он терпеть не может мужика. Но он всеми силами души любил этот наш русский народ и его быт и потому только понял и усвоил себе тот единственный путь и прием хозяйства, которые приносили хорошие результаты (там же).

Национально-типичное, не замыкаясь национальными рамками, перерастает у Толстого в европейское и общемировое. В авторском рассуждении: Война 1812-го года, кроме своего, дорогого русскому сердцу народного значения, должна была иметь другое — европейское (т. 4, ч. 4, XI). В размышлениях Пьера в заключительных главах романа:

Ему казалось в эту минуту, что он был призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру.

...— Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать то же самое. Ведь как все просто (Эпилог, ч. 1, XVI).

Сила и слабость Толстого, историческая ограниченность его философского мировосприятия выступают здесь во всей своей беззащитной притягательности.

В. В. Виноградов, изучавший язык и стиль Толстого периода «Войны и мира», писал: «Толстой не подчиняет строй своей речи ни узким и однообразным логико-грамматическим, ни интонационно-мелодическим нормам и навыкам, как, например, Гончаров или Тургенев» [44].

В создание исторического романа-эпопеи был вложен титанический труд автора по собиранию, кропотливому изучению и отбору материалов, художественной типизации жизненных явлений, неустанная работа над словом, художественной выразительностью речи.

Сам Толстой воплощал в этой работе свой эстетический идеал, свое представление о существе народного языка — в его противопоставлении так называемому «литературному», т. е. беллетризованному, неживому: «...Язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выра-

[44] *Виноградов В. В.* О языке Толстого (50–60-е годы).

жения всего, что только может сказать поэт,— мне мил. Язык этот, кроме того,— и это главное — есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит, а наш литературный язык без костей; так набалован, что хочешь мели — все похоже на литературу» (Письмо Н. Н. Страхову, 1872 г.).

Язык подлинно народный противопоставлен, в понимании Толстого, литературному дурному слогу, как по преимуществу содержательное явление — чисто формальному, внутренне бессодержательному. «Язык,— писал он одному из своих корреспондентов, единомышленнику и биографу,— надо бы по всем отделам держать в чистоте — не то, чтобы он был однообразен, а, напротив,— чтобы не было того однообразного литературного языка, всегда прикрывающего пустоту» (Письмо к П. И. Бирюкову, 1885).

В многочисленных воспоминаниях о Толстом, в свидетельствах его друзей и современников содержатся удивительно однонаправленные высказывания писателя о языке литературы в его отношениях к народному языку и о свойствах этого последнего. Восхищаясь богатством и выразительностью русских фольклорных произведений, Толстой отмечал: «Один из замечательнейших признаков гибкости русского языка заметен в изменении повторяемого стиха (рефрена) в песнях...» (Дневник, 1853).

В воспоминаниях А. М. Горького приводится мнение Толстого о языке Тургенева: «...Тургенев был хороший писатель, у него простой, честный язык, настоящий русский» (Издалека).

Наконец, характерные оценки живого языка в противоположность нарочитому, искусственному содержатся в письмах Толстого к друзьям, к молодым писателям. Так, в письме к С. Г. Семенову (1902) он отмечал: «...Это не наш искусственный язык, а сплошной живой язык с вновь образовывающимися словами и формами речи».

Естественность живого языка, в котором слова и формы образуются по законам национальных норм и в духе народного мышления, является творческим началом для художника. А. Б. Гольденвейзер приводит в своих воспоминаниях слова Толстого: «Я думаю, что каждый большой художник должен создавать и свои формы» (Вблизи Толстого).

Задачам изобразительно-характеристическим подчинена у Толстого так называемая «литературность», на узкой социальной и эстетической базе понимаемая многими его современниками «правильность». «Я люблю то, что называется неправильностью, что есть характерность»,— подчеркивал он в письме к Ф. Ф. Тищенко в 1886 г.

Художник Толстой не принимал замкнутой логической схемы книжного языка и стремился к непосредственному отражению как бы на глазах импровизируемой речи — к изображению живого произносимого слова и живой пульсирующей мысли.

Логическая и грамматическая «правильность» не могла быть основой реалистического показа ни живых диалогов, ни внутренних монологов с их недоговоренностью, живой «необработанностью», скачками и переходами — всем тем, что Н. Г. Чернышевский назвал изображением «диалектики души» и что было художественным достижением именно Льва Толстого.

Проблемы реалистического изображения речи персонажей волновали в то время многих писателей и критиков. Пафос протеста против антиреалистической (и, следовательно, антихудожественной) «правильности» монологов содержится в известном письме русского критика В. В. Стасова Толстому:

«Мне кажется, что в „разговорах" действующих лиц ничего нет труднее „монологов". Здесь авторы фальшат и выдумывают более, чем во всех других своих писаниях,— и именно фальшат условностью, литературностью и, так сказать, академичностью. Почти ни у кого и нигде нет тут настоящей правды, случайности, неправильности, отрывочности, незаконченности и всяких скачков. Почти все авторы (в том числе и Тургенев, и Достоевский, и Гоголь, и Пушкин, и Грибоедов) пишут монологи совершенно правильные, последовательные, вытянутые в ниточку и в струнку, вылощенные и архилогические и последовательные... А разве мы так думаем сами с собой? Совсем не так.

Я нашел до сих пор одно-единственное исключение: это граф Лев Толстой. Он один дает в романах и драмах настоящие монологи, именно со всей неправильностью, случайностью, недоговоренностью и прыжками. Но как странно! У этого Льва Толстого, достигшего в монологах большего, чем весь свет, иногда встречаются (хотя ред-

ко) тоже неудовлетворительные монологи, немножко правильные и выработанные»[45].

Анализируя особенности внутренней речи у Толстого (в «Войне и мире»), В. В. Виноградов выделяет следующие ее характерные черты: 1) своеобразный синтаксический строй (с отрывочными, фрагментарными или, напротив, нерасчлененными периодами); 2) символика и психологизм жеста; 3) индивидуальная алогичность внутренней речи; 4) семантическая конденсация реальной речи, ведущая нередко к известной ее «затемненности», и 5) сюжетно-семантический динамизм. В особенностях толстовского внутреннего монолога исследователь справедливо усматривает один из важнейших источников известного стилевого приема А. П. Чехова, получившего название «подводного» течения — изображения не всегда ясного движения души, внутреннего настроения, подспудного хода мысли и т. п.[46]

Л. Толстой был самым смелым новатором в создании сложного диалектического образа. Он решительно отличался в этом от большинства западноевропейских романистов, в частности от Стендаля, которому он считал себя многим обязанным. В психологизме прозы Стендаля (ср., например, «Красное и черное») не вскрываются глубинные связи внутреннего индивидуального и внешнего социального, в нем нет жизненной сложности и противоречивости цельного образа.

Грамматические смещения, неточности и неправильности у Толстого художественно оправданы и различны по своим функциям. Ср., например, фразу в сцене лирического разговора Наташи с Пьером Безуховым: Так странно для Наташи показался этот его кроткий, нежный, задушевный голос (т. 2, ч. 5, гл. XXII). Исследователи обоснованно указывают на известную нарочитость такого рода нарушений грамматической нормы. В черновиках Толстого эта же фраза была построена иначе, более, что ли, литературно: «Так странен вдруг для Наташи показался этот его кроткий, нежный, нянюшкин тон с ней...»[47] В окончательном варианте Толстой не только заменил «нянюшкин» на «задушевный» (голос), но и придал фразе нарочитую «корявость»; эта грамматиче-

[45] Л. Толстой и В. В. Стасов. Переписка. Л., 1929, с. 265.
[46] См.: *Виноградов В. В.* О языке Толстого (50—60-е годы), гл. 6.
[47] *Чичерин А. В.* Указ. соч., с. 38.

ская неправильность (точнее ее было бы квалифицировать как нормативное «смещение» в духе языка) усиливает естественный тон, живую интонацию неожиданности, первозданного словоизъявления чувства, которыми проникнута вся эта сцена.

«Смещенность», или (с нормативных позиций) «корявость», толстовского слога художественна именно потому, что она всегда функционально оправдана. За этой чисто внешней «корявостью» всегда ощущается рождение мысли, биение живого чувства, облеченного в народный речевой строй и склад.

Толстой не боится повторения слов или конструкций в пределах большого периода; это неподготовленное повторение уточняет и проясняет ход рассуждений, рельефнее выставляет нужное, служит опорой — своеобразным контрапунктом и «интегратором» мысли и чувства автора. В большинстве случаев лишь специальный лингвистический взгляд и анализ способны выявить этот авторский прием. В самом же повествовании он настолько естествен и органичен, что не только не кажется нарочитым, но практически и малозаметен — именно в силу своей естественности и характерности в пределах национально-художественной нормы: Его (старого князя Николая Андреевича. — *Л. С.*) сердило то, что приезд этих гостей поднимал в его душе нерешенный, постоянно заглушаемый *вопрос, — вопрос* (здесь и далее курсив наш. — *Л. С.*), насчет которого старый князь всегда сам себя обманывал. *Вопрос* состоял в том, решится ли он когда-либо расстаться с княжной Марьей и отдать ее мужу. Князь никогда прямо не решался задавать себе этот *вопрос*... (т. 1, ч. 3, IV).

Ср. необходимое «усиление» в собственной оправдательно-утвердительной внутренней фразе князя Андрея, переданное многократным повторением слова «хочу»: — Ну, а потом... — отвечает сам себе князь Андрей, — я не знаю, что будет потом, *не хочу* и не могу знать; но ежели *хочу* этого, *хочу* славы, *хочу* быть известным людям, *хочу* быть любимым ими, то ведь я не виноват, что я *хочу* этого, что одного этого *я хочу*, для одного этого я живу. Да, для одного этого!.. (т. 1, ч. 3, XII); Вернувшись домой, князь Андрей *стал вспоминать* свою петербургскую жизнь за эти четыре месяца, как будто что-то новое. Он *вспоминал* свои хлопоты, искательства... *вспомнил* о заседаниях

комитета... *вспомнил*, как в этих заседаниях старательно и продолжительно обсуживалось все касающееся формы... и как старательно... обходилось все, что касалось сущности дела. Он *вспомнил* о своей законодательной работе... и ему стало совестно за себя. Потом он живо представил себе Богучарово... *вспомнил* мужиков. Дрона-старосту и... ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такою праздною работою (т. 2, ч. 3, XVIII).

Ср. в известной сцене охоты многократное повторение существительного *голос* в специальном, охотничьем значении ‘звук трубы’ (или ‘лай гончих собак’): Вслед за лаем собак послышался *голос* по волку, поданный в басистый рог Данилы... слышно было, как заревели с заливом голоса гончих, с тем особенным подвыванием, которое служило признаком гона по волку. Доезжачие уже не порскали, а улюлюкали, и из-за всех *голосов* выступал *голос* Данилы, то басистый, то пронзительно-тонкий. *Голос* Данилы, казалось, наполнял весь лес, выходил из-за леса и звучал далеко в поле (т. 2, ч. 4, IV). «Звучащие» существительные и глаголы этого отрывка создают для читателя непосредственный эффект присутствия, живого участия в изображаемых событиях.

Исследователи стиля Толстого отмечали обилие в его романе предложных конструкций, справедливо усматривая в этом художественном и лингвистическом предпочтении отпечаток аналитизма мысли художника. Об этом писал, в частности, В. В. Виноградов в уже цитированной статье; он же указывал на синтаксические «подхваты», повторения опорных синтаксических пунктов, нарушающих прямой ход и динамическую последовательность письменного изложения.

Указанные особенности стиля осложняются анафористическим построением сложных периодов. Все это вместе взятое служит органической передаче сложной диалектической мысли, являющейся основой авторского повествования. Постижение особенностей национально-художественной нормы лежит в основе ее воплощения на страницах романа-эпопеи Льва Толстого.

Ср. сопоставительно-противительные конструкции с авторскими уточнениями, отвлечениями, попутными замечаниями и разъяснениями или без них: *Но когда* событие принимало свои настоящие, исторические размеры, когда оказалось недостаточным только словами выражать свою

ненависть к французам, *когда* нельзя было даже сражением выразить эту ненависть, *когда* уверенность в себе оказалась бесполезною по отношению к одному вопросу Москвы, *когда* все население, как один человек, бросая свои имущества, потекло вон из Москвы... *тогда* роль, выбранная Растопчиным, оказалась вдруг бессмысленною (т. 3, ч. 3, XXIV); *Понятно*, что таким представлялось дело современникам. *Понятно*, что Наполеону *казалось*, что причиной войны были интриги Англии... *понятно*, что членам английской палаты *казалось*... что принцу Ольденбургскому *казалось*... легитимистам того времени то, что... а дипломатам того времени то, что все произошло от того, что... *но для нас* — потомков, созерцающих во всем его объеме громадность совершившегося события и вникающих в его простой и страшный смысл, причины эти представляются недостаточными (т. 3, ч. 1, I).

Как видно уже из этих двух примеров, подобные конструкции служат лингвистической базой передачи разоблачительно-исследовательской мысли художника, срывающего «все и всяческие маски», раскрывающего затемненное официально-сглаженной формой подлинное жизненное содержание. Художественность служит идейности; лингвистический «скальпель» автора точно и тонко выполняет свою роль инструмента выражаемой сложной мысли.

Многие конструкции с повторами или уточнениями в силу той же лингвистической необходимости имеют характер оксюморона: мысль не только проясняется, но и прямо переходит в противоположное по смыслу утверждение, ср.: *Несмотря* на афишки Растопчина, *или независимо* от них *или вследствие их*, самые противоречащие и странные новости передавались по городу (т. 3, ч. 3, XII); *Несмотря* на свое горе, или *может быть именно вследствие* своего горя, она (Соня.— *Л. С.*) на себя взяла все трудные заботы... и целые дни была занята (там же).

Если в сцене охоты звуковые повторы (существительное *голос*) создают слуховой образ, то в сцене на Бородинском поле повторы слов *дым* и *туман* служат созданию яркого зрительного образа:

Над Колочею, в Бородине и по обеим сторонам его... стоял *туман,* который тает, расплывается и просвечивает при выходе яркого солнца и волшебно окрашивает и очерчивает все виднеющееся сквозь него. К этому *туману* присоединялся *дым* выстрелов, и по этому *туману* и *дыму*

везде блестели молнии утреннего света... Сквозь *туман* этот виднелась белая церковь, кое-где крыши изб Бородина, кое-где сплошные массы солдат... И все это двигалось или казалось движущимся, потому что *туман* и *дым* тянулись по всему этому пространству... Зарождались беспрестанно... пушечные клубы *дымов*, которые, распухая, разрастаясь, клубясь, сливаясь, виднелись по всему этому пространству.

Эти *дымы* выстрелов и, странно сказать, звуки их производили главную красоту зрелища (т. 3, ч. 2, XXX).

Конструкции с повторениями сопровождаются нередко у Толстого вставными уточняющими фразами (как правило, эти уточнения также диалектичны: они носят оксюморонный характер), ср., например: Он (Ростов.— *Л. С.*) знал, что, обещав Соне, высказать свои чувства княжне Марье было бы то, что он называл подлостью. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже (*и не то что знал, а в глубине души чувствовал*), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств... делает что-то очень, очень важное... (т. 4, ч. 1, VI); Она (графиня Марья.— *Л. С.*) смотрела на него (на мужа. — *Л. С.*) *и не то что думала о другом, а чувствовала* о другом (Эпилог, ч. 1, XV).

Ср. также отрицательные конструкции-сравнения: И в то время как князь Андрей (*не с тем* брюзгливым выражением лица и манерами, которые он напускал на себя в гостиных, *а с тем* оживленным лицом, которое у него было, когда он разговаривал с Пьером) входил к отцу, старик сидел... (т. 1, ч. 1, XXIII); Сделалось передвижение в рядах солдат, и заметно было, что все торопились и торопились *не так*, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, *но так*, как торопятся, чтоб окончить необходимое, но неприятное и непостижимое дело (т. 4, ч. 1, XI); Наташа смеялась при всяком слове, которое он (Ростов.— *Л. С.*) говорил и которое она говорила, *не потому*, чтобы было смешно то, что они говорили, *но потому*, что ей было весело... (т. 2, ч. 1, I).

Конструкции с повторами уточняют и утверждают мысль, состояние, ощущение и т. п., показывая их живую динамику и естественную диффузию и «расчлененность», например: Она (Наташа.— *Л. С.*) *не знала*, для чего это должно было, *но она знала*, что свидание (с князем Андреем.— *Л. С.*) будет мучительно, и тем более она *была убеждена*, что оно было необходимо (т. 3, ч. 3, XXXI).

Ср. прием психологического углубления в мир персонажа, в основе которого лежит анафорический повтор: Он (Кутузов.— *Л. С.*) отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что *все*, что ему сказал Долохов, и *все*, что он мог сказать ему, он давно, давно знает, что *все* это уже прискучило ему и что *все* это совсем не то, что нужно (т. 1, ч. 2, II).

Исследователи языка и стиля Толстого единодушны в своем выводе о том, что в основе стилевого единства романа-эпопеи «Война и мир» лежит осложненность синтаксических форм речи. Это, конечно, справедливо, но, как мы видели на примерах, абсолютизировать эту «сложность» нельзя. Дело в том, что чисто внешняя усложненность фраз и периодов внутренне «проста» и расчленена в соответствии с элементами сложного и противоречивого объекта изображения. При этом не диффузный «поток сознания», а именно художественное изображение мысли в ее движении и завершении, аналитизм лежит в основе художественно-эстетического идеала великого писателя-реалиста [48].

Категория времени — и в философском и в лингвистическом смысле — играет важную роль в композиции романа. Собственно, весь роман Толстого есть рассказ о времени и происходящих в нем событиях русской жизни. Функциональное значение времени в канве толстовской эпопеи выступает по-разному: более открыто, «внешне», или менее открыто, как бы подспудно.

В первом случае — это привычные «начины» хронологического характера, составляющие внешнюю и зримую черту повествования. Большинство частей (а внутри них — глав) всех четырех томов «Войны и мира», включая и «Эпилог», начинаются с весьма точных указаний на время года, месяц и день, а иногда даже и на время суток, например:

[48] Г. Я. Солганик отмечает широкое использование Толстым периодов, играющих значительную роль в структуре художественного целого. В качестве примеров он приводит период в начале «Анны Карениной» и период в начале рассказа «Два гусара»: «В 1800-х годах, *в те времена*, когда не было еще ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света... *в те наивные времена*, когда... когда... когда... когда... *в наивные времена* масонских лож... во времена Милорадовичей... в губернском городе К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы» (*Солганик Г. Я.* Синтаксическая стилистика. Сложное синтаксическое целое. М., 1973, с. 199 и след.). Последний период содержит около 200 слов, но он не выглядит громоздким или неудобочитаемым именно в силу четкой композиции и структуры.

Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер (т. 1, ч. 1, I); В ноябре месяце 1805 года князь Василий должен был ехать на ревизию... (т. 1, ч. 3, II); В начале 1806 года Николай Ростов вернулся в отпуск (т. 2, ч. 1, I); Тринадцатого июня, в два часа ночи... (т. 3, ч. 1, IV); Князь Андрей приехал в главную квартиру армии в конце июня (т 3, ч. 1, IX); В 3-м часу еще никто не заснул, как явился вахмистр... (т. 3, ч. 1, XIV); 15-го числа, утром, на третий день после этого... (т. 3, ч. 1, XXII); 17-го августа Ростов и Ильин... поехали кататься верхами... (т. 3. ч. 2, XIII); 25-го утром Пьер выезжал из Можайска (т. 3, ч. 2, XX); 30-го числа Пьер вернулся в Москву (т. 3, ч. 3, X); Ростовы до 1-го сентября, т. е. до кануна вступления неприятеля в Москву, оставались в городе (т. 3, ч. 3, XII); 31-го августа, в субботу, в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном (т. 3, ч. 3, XIII); Пьер проснулся 3-го сентября поздно (т, 3, ч. 3, XXXIII); 8-го сентября в сарай к пленным вошел очень важный офицер... (т. 4, ч. 1, X); 6-го октября, рано утром, Пьер вышел из балагана... (т. 4, ч. 2, XI); 22-го числа, в полдень Пьер шел в гору по грязной скользкой дороге... (т. 4, ч. 3, XIII); Был канун зимнего Николина дня, 5-е декабря 1820 года (Эпилог, ч. 1, IX) и др.

Подробно, час за часом описаны Толстым события Бородинского сражения; хроникально, день за днем ведется рассказ о вступлении французских войск в Москву. В этих композиционно значимых «начинах» указание на время придает повествованию зримую документальность и достоверность; «дискретность» эпического повествования лежит в основе реализма художника.

Такого рода «начины» относятся к традиционным чертам национальной русской литературно-художественной нормы и национального стиля. Элементы этого приема усматриваются в произведениях разных жанров и у различных русских писателей, например у Гоголя: Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сече (Тарас Бульба, III); А на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым кошевым... (там же, IV); Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги (там же, VIII); Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно страшное происшествие (Нос, I); Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам... (Мертвые души, т. 1, гл. II);

Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе N для визитов... (там же, гл. IX); На другой день все обделалось, как нельзя лучше (там же, т. 2, гл. IV) и т. п. Ср. у Некрасова: Вчерашний день, часу в шестом,— зашел я на Сенную... (Вчерашний день...); В каком году — рассчитывай. В какой земле — угадывай... (Кому на Руси жить хорошо).

Источник этой традиции справедливо, видимо, усматривать в русском летописном своде. Например, в «Повести временных лет» вполне обычен хроникальный начин «в лето (такое-то)», т. е. «в таком-то году»: В лето 6415. Иде Олег на грекы...; В лето 6473. Иде Святослав на козары; В лето 6481. Нача княжити Ярополк. Во всех подобных случаях главным действующим лицом повествования, его внутренней пружиной и стержнем выступает Время — вечно идущее поступательное движение истории и связанных с нею событий.

Что касается глубинного, подспудного движения времени, то оно у Толстого прямо связано с новаторским и своеобразным использованием языковых выразительных средств — свободным и «сложным» построением фразы: «Осложнение синтаксиса,— отмечал А. В. Чичерин,— постоянно связано (у Толстого.— *Л. С.*) с обращением к прошлому, входящему в состав настоящего времени, изображаемого действия. Через весь роман тянутся нити, которые связывают между собой его части... и это делает еще более осязаемым движение времени» [49].

Синтаксическая сложность отражает объективную, реальную сложность мысли и образа у Толстого. Ср. описание сложного положения любого командующего войсками — а в данном случае Кутузова — в реальной и противоречивой обстановке, далекой от логического и абстрактного осмысления и оценки его действий, производимых кабинетными «учеными военными», которых так не любил Толстой: Главнокомандующий никогда не бывает в тех условиях начала какого-нибудь события, в которых мы всегда рассматриваем событие. Главнокомандующий всегда находится в середине движущегося ряда событий и так, что никогда, ни в какую минуту он не бывает в состоянии обдумать все значение совершающегося события... (т. 3, ч. 3, II).

---

[49] *Чичерин А. В.* Указ. соч., с. 50.

И вслед за этим дается подробное и конкретное описание положения главнокомандующего — от действий подчиненных ему генералов, адъютантов и интендантов до интриг высокопоставленных соперников, жалоб обойденных наградой офицеров, просьб жителей, противоречивых сведений о противнике и физической усталости самого Кутузова, которому необходимы отдых и сон.

Стихийная диалектика Толстого лежит в основе его художественного охвата и осмысления событий исторического масштаба, изображения действий и движений народных масс. Его идейное новаторство прямо и органически смыкалось с новаторством поэтической формы, демонстрируя богатейшие возможности национальных речевых и стилистических средств. «Диалектика души» находила выражение и в специфически народных языковых формах. Ср. описание душевного состояния Пьера Безухова после мучительной сцены казни, когда «мир завалился в его глазах» и когда он чувствовал, что не в силах вернуть себе веру в жизнь: Вокруг него в темноте стояли люди: верно что-то их очень занимало в нем. Ему рассказывали что-то, расспрашивали о чем-то, потом повели куда-то, и он наконец очутился в углу балагана рядом с какими-то людьми, переговаривавшимися с разных сторон, смеявшимися (т. 4, ч. 1, XII). Полная отрешенность Пьера в этот момент от реальных внешних событий трагически точно выражается многочисленным повторением неопределенных местоимений, прилагательных и наречий, несущих в этом случае основную смысловую и чисто изобразительную функцию.

Диалектическое единство сложного, противоречивого чувства передается писателем в соответствующих содержанию конструкциях с внутренним противопоставлением взаимоисключающих посылок: В тот день, как приехать князю Василию, князь Николай Андреич был особенно недоволен и не в духе. Оттого ли он был не в духе, что приезжал князь Василий, или оттого, что был особенно недоволен приездом князя Василья, что был не в духе; но он был не в духе, и Тихон еще утром отсоветовал архитектору входить с докладом к князю (т. 1, ч. 3, III); ср. также: Наташа смеялась при всяком слове, которое он (Ростов.— *Л. С.*) говорил и которое она говорила, не потому, чтобы было смешно то, что они говорили, но потому, что ей было весело и она не в силах была удержать своей радости, выражавшейся смехом (т. 2, ч. 1, I); Старый князь знал

очень хорошо, что он мучает свою дочь, что жизнь ее очень тяжела; но знал тоже, что он не может не мучить ее и что она заслуживает этого (т. 3, ч. 1, VIII).

Исследователи отмечали, что строение речи (в синтаксическом отношении) у Толстого в «Войне и мире» в целом несравненно сложнее не только языка Пушкина, но и Тургенева, и Писемского, и Гончарова [50].

Углубление принципа многоплановости повествования (идущего в русской художественной традиции от Пушкина) справедливо усматривается в обилии вставных пояснений, уточнений и комментариев — авторских или персонажей, например: Багратион знал, что по расстоянию почти 10-ти верст, отделявшему один фланг от другого, ежели не убьют того, кого пошлют (что было очень вероятно), и ежели он даже и найдет главнокомандующего, что было весьма трудно, посланный не успеет вернуться раньше вечера (т. 1, ч. 3, XVII); Князь Андрей, не вступая в разговор, наблюдал все движения Сперанского, этого человека, недавно ничтожного семинариста и теперь в руках своих,— этих белых, пухлых руках, имевшего судьбу России, как думал Болконский (т. 2, ч. 3, V); Правда, все в темном, мрачном свете представлялось князю Андрею — особенно после того, как оставили Смоленск (который по его понятиям можно и должно было защищать)... (т. 3, ч. 2, V); К двери подошла девушка сказать, что Алпатыч пришел спросить приказания об отъезде. (Это было еще до разговора Алпатыча с Дроном) (т. 3, ч. 2, X); Страшный вид поля сражения... в соединении с тяжестью головы... и с сознанием бессильности своей прежде сильной руки, произвели неожиданное впечатление на Наполеона, который обыкновенно любил рассматривать убитых и раненых, испытывая тем свою душевную силу (как он думал) (т. 3, ч. 2, XXXVIII); В начале августа дело Элен совершенно определилось, и она написала своему мужу (который ее очень любил, как она думала) письмо... (т. 3, ч. 3, VII) и др.

Характерной чертой национального русского литературно-художественного стиля является широкое и свободное употребление повторов-возвратов, при которых происходит спиральное развертывание фразы с опорой на слова или конструкции, обрамляющие и как бы «подхватывающие»

---

[50] *Чичерин А. В.* Указ. соч., с. 21.

повествование. Повторы типичны для разговорной русской речи (или ее отражения на письме); они встречаются в произведениях русских писателей, предшественников Толстого.

А. М. Пешковский, рассматривая повторы-подхваты в ряду вставных конструкций и слов («именительный представления»), приводил пример из Пушкина: «*Мысль,* что честь его была замарана и не омыта по его собственной воле, *эта мысль* меня не покидала...»[51]

См. также у Гоголя: Между тем Пирогов, *куря трубку* в кругу своих товарищей, потому что уже так провидение устроило, что где офицеры, там и трубки, *куря трубку* в кругу своих товарищей, намекал значительно и с приятною улыбкою об интрижке с хорошенькою немкою... (Невский проспект); «*После кампании* двенадцатого года, сударь ты мой» — так начал почтмейстер, несмотря на то, что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро,— «*после кампании* двенадцатого года, вместе с ранеными прислан был капитан Копейкин» (Мертвые души, т. 1, гл. X); *Достаточно* было тому, который попал на замечание со стороны остроумия, *достаточно* было ему только пошевелиться... чтобы подпасть вдруг под гнев (там же, гл. XI); Чичиков в качестве поверенного *прежде расположивши всех* (без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка, все же хоть по бутылке мадеры придется влить во всякую глотку),— *итак, расположивши всех*, кого следует, объяснил он, что вот какое между прочим обстоятельство... (там же, гл. XI) и т. п.

Существо такого рода конструкций состоит в том, что они как бы предполагают чтение вслух (а не глазами, про себя); они идут от сказа и возвращаются к нему, лежат в в основе беседы автора с читателем и придают повествованию органическую «разговорность». Чисто синтаксически эти повторы-подхваты служат аналитической расчлененности мысли в сложных по внешнему виду периодах в романе-эпопее «Война и мир», например: *На узкой плотине* Аугеста, на которой столько лет мирно сиживал в колпаке старичок-мельник с удочками, в то время как внук его, засучив рукава рубашки, перебирал в лейке серебряную

[51] *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956, с. 406.

трепещущую рыбу; *на этой плотине*, по которой столько лет мирно проезжали на своих парных возах, нагруженных пшеницей, в мохнатых шапках и синих куртках моравы и уезжали по той же плотине, запыленные мукой, с белыми возами — *на этой узкой плотине* теперь между фурами и пушками, под лошадьми и между колес толпились обезображенные страхом смерти люди... (т. 1, ч. 3, XVIII).

Едва ли не самый обширный период (в 106 слов) представлен в рассуждении Толстого о том, как после вступления в Москву «гениальный Наполеон» (по определению официальных историков и стратегов) погубил свою армию: *...глупее и пагубнее того*, что сделал Наполеон, т. е. оставаться до октября в Москве, предоставляя войскам грабить город, потом колеблясь оставить гарнизон, выйти из Москвы, подойти к Кутузову, не начать сражения, пойти вправо, дойти до Малого Ярославца, опять не испытав случайности пробиться, пойти не по той дороге, по которой пошел Кутузов, а пойти назад на Можайск по разоренной Смоленской дороге — *глупее этого, пагубнее для войны* ничего нельзя было придумать, как то и показали последствия (т. 4, ч. 2, VIII). По нашим наблюдениям, этот стилистический прием используется Толстым в «Войне и мире» более 20 раз. Располагаясь в ряду других приемов, ведущих к ритмическому и смысловому упорядочению фразы, он демонстрирует богатый арсенал художественных средств, используемых писателем для адекватного отображения «дорывающейся до правды» аналитической мысли [52].

Обращение к опыту читателя и слушателя, надежда на его живое сопереживание и понимание — характерная черта национального художественного стиля, ярко проявляющаяся в языке — в своеобразных «указаниях» на обычай, в обобщениях в пределах национально-специфических или психологически осознаваемых черт и т. п.

Прием отсылки к общеизвестному или общепринятому и характерному служит экономной и точной типизации, когда немногими словами, намеком воссоздается большая картина. Примеры из «Мертвых душ» Гоголя («покой из-

[52] Подробнее о грамматической природе этого явления и его роли в языке художественной литературы см.: *Скворцов Л. И.* Конструкции с повторами-возвратами и их пунктуационное оформление.— В кн.: Современная русская пунктуация. М., 1979.

вёстного рода», «всякий приезжий знает хорошо», «по нашему обычаю», «виды известные» и т. п.) приводились выше. В романе «Война и мир» такого рода отсылки к национальному опыту читателя различны по своему назначению и масштабам, однако в функциональном отношении они выполняют все ту же роль доверительной беседы, объединяющей говорящего и слушающего [53], например: Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам кажется, что мы насквозь видим (т. 1, ч. 1, XXV).

Что касается чисто нормативных явлений, то среди них следует различать особенности, связанные, во-первых, с влиянием французского языка, во-вторых, с системой литературных норм изображаемой эпохи и, наконец, в-третьих, отражающие языковые вкусы автора и вариативность в пределах национальной традиции.

Первая группа особенностей нормы в «Войне и мире» подробно рассмотрена в уже цитированной статье В. В. Виноградова, который вполне справедливо говорил об известном французско-русском «двуязычии» романа-эпопеи. При этом многочисленные галлицизмы (и в авторской речи и в речи персонажей), безусловно, соответствуют стилю изображаемой эпохи — литературной речи европеизированного стародворянского круга. Оставляя в стороне ломаную, или макароническую, французско-русскую речь, следует отметить такие разряды, как обособленное употребление деепричастий: совмещение причастных и союзно-относительных конструкций, особое употребление причастий и предлогов (под влиянием французских avec, dans, en) и т. п., например: Сперанский... *сделал* сильное *впечатление* на князя Андрея (т. 2, ч. 3, VI); Но он (Ростов.— *Л. С.*) *не сказал своих мыслей...* (т. 3, ч. 2, XII); ...а Марья Генриховна до слез покраснела и тем сделалась еще привлекательнее *на глазах* всех офицеров (т. 3, ч. 2, XIII); ср.: умереть *в глазах* государя (т. 1, ч. 3, X); ...неприятель *берет* свои *меры* (т. 4, ч. 2, VII); ...строгие *меры взяты...* (т. 4, ч. 2, IX); За военными событиями *следилось* жадно... (т. 3, ч. 2, VI); ...*приложив* к ним права лиц, которые он распределял по параграфам, *ему стало удивительно*, как

[53] Следует отметить, что ту же функцию в пределах национальной нормы несет фольклорная традиция (пословицы, поговорки, имена сказочных или былинных персонажей и т. п.), см. об этом выше.

он мог так долго заниматься такою праздною работой (т. 2, ч. 3, XVIII); *Глядя* на знамя, *ему* все *думалось*... (т. 1, ч. 3, XV); Нынче, *увидав* ее мельком, *она ему показалась* еще лучше (т. 2, ч. 1, I); ...*делаем* прекрасные *разговоры*... (в письме Жюли, т. 3, ч. 2, II); ...женитьба на ней (княжне Марье.— *Л. С.*) *сделала* бы *счастье* графини — его (Николая.— *Л. С.*) матери... (т. 3, ч. 2, XIV) [54].

Вторую группу явлений составляют нормы, так сказать, исторические, отражающие языковой обычай прошлых эпох. Вот некоторые наиболее характерные примеры: И Анатоль и Долохов, когда бывали *в деньгах* (ср. *при деньгах*), давали ему (Балаге.— *Л. С.*) по тысяче и по две рублей (т. 2, ч. 5, XVI); (Наполеон.— *Л. С.*) стал ходить с ним (адъютантом.— *Л. С.*) взад и вперед по берегу, отдавая ему приказания и изредка недовольно взглядывая на тонувших улан, *развлекавших* его внимание (т. 3, ч. 1, II); Жалобные стоны с разных сторон, мучительная боль бедра, живота и спины *развлекали* его (т. 3, ч. 2, XXXVII); Пьер решил *сам с собою* (ср. *про себя*) не бывать больше у Ростовых (т. 3, ч. 1, XX); В *настоящей* (ср. *современной*) русской литературе от гимназиста до ученого историка нет человека, который бы не бросил своего камушка в Александра... (Эпилог, ч. 1, I); Как бы мы ни представляли себе человека *исключенным от* влияний внешнего мира... (ср. *отключенный от*... или *исключенный из*...); Богословие стояло *на страже за* старый взгляд... (Эпилог, ч. 2, XII); Богословие стоит *на страже за* старый взгляд... (там же; ср. стоять на страже чего-н.); ...стратегический пункт... был известен австрийскому генералу Вейротеру, *руководившему войска*... (т. 1, ч. 3, IX; ср. *руководивший войсками*); *Минуты три* все было уже готово... (т. 2, ч. 1, IV; ср. *минуты в три* или *минуты через три*); *Навстречу немца-доктора* из Москвы... была выслана подстава на большую дорогу... (т. 2, ч. 1, VIII).

Третья группа нормативных явлений прямо смыкается с современной эпохой и демонстрирует некоторые особенности вариантных и некоторых других средств в языке и стиле Толстого, например: Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими име-

[54] Ср.: *Семенов Л. Н.* Фразеологические галлицизмы в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (к проблеме калькирования).— В кн.: Проблемы языка и стиля Л. Н. Толстого. Материалы XII Толстовских чтений. Тула, 1974, с. 127 и след.

ниями, что составляло *бо́льшую половину* его состояния, и один уехал в Петербург (т. 2, ч. 1, VI), ср.: Механизм жизни, распоряжение дня такое, чтобы везде поспеть вовремя, отнимали *бо́льшую долю* самой энергии жизни (т. 2, ч. 3, VI); ...с *тысячью человеками*... (т. 4, ч. 3, XVII); ... за этими *1000-ю верст* (т. 4, ч. 2, XIX); от *флеш* (т. 3, ч. 2, XXXIII); Конвой *гусаров* и *улан*... (т. 3, ч. 1, V); Ростов... увидел этих синих французских *драгун*, преследующих наших *улан* (т. 3, ч. 1, XV); Офицеров, в числе которых был Пьер, было человек 30, *солдатов человек* 300 (т. 4, ч. 2, XIII); ...*человек* пятнадцать *солдат*... (т. 4, ч. 4, VII); — Что ж, это ни на что не похоже! *Половина* людей *разбежалась* (т. 3, ч. 3, XXI); *Большая часть* лиц французских солдат *были изуродованы* отмороженными носами и щеками (т. 4, ч. 4, VI); *Одна часть* солдат *разбрелись*, по колено в снегу, в березовый лес... *другая часть возилась* около центра полковых повозок... *третья часть рассыпалась* в деревне... (т. 4, ч. 4, VII); ...*половина пленных*, с которыми не знали что делать... *гибли* от холода и голода... (т. 4, ч. 4, X); Через полтора часа времени *большинство игроков* уже шутя *смотрели* на свою собственную игру (т. 2, ч. 1, XIV); *Большая часть* из них *были в забытьи* и *не обратили внимания* на вошедших (т. 2, ч. 2, XVII); Это были *два, прятавшиеся* в лесу, *француза* (т. 4, ч. 4, IX); *Два пьяные мужика* шли за ними (т. 3, ч. 2, XIV); ...*два свистящие звука* жестянок... (т. 3, ч. 3, XXVI) [ср.: ...в одно и то же время раздались *один ружейный* и *два орудийных выстрела* (т. 3, ч. 3, XXVI); ...лежат в основе эти *два старые неизбежные положения* (Эпилог, ч. 2, I)]; По *дешевой цене* (т. 3, ч. 2, XVIII); в тот *период времени* (т. 2. ч. 2, VIII); *период времени* (в авторской речи; т. 4, ч. 4, XIX; Эпилог, ч. 2, X); В этот 20-летний *период времени* (Эпилог, ч. 2, I); Борис *был высокий белокурый юноша*... (т. 1, ч. 1, VIII); Шедшая *мимо его* пехота остановилась... (т. 1, ч. 3, XV); ...князь Андрей *любовался на* радостный *блеск* ее глаз и улыбки... *любовался* в особенности *на ее робкую грацию* (т. 2, ч. 3, XVII); *Противно* своей привычке опаздывать... (т. 2, ч. 3, XX; ср. *вопреки*).

В заключение можно привести индивидуальные авторские случаи словоупотребления, более или менее ярко демонстрирующие отношение Толстого к языку: убежденное пренебрежение к внешней правильности (как он говорил, «пошлости») ради точности и выразительности, живой, в ду-

хе языка «корявости» или алогичности и т. п. Элементы формы — как и во многих других случаях — находятся в подчинении содержанию, а не укладывают мысль и образ в уже готовые эталоны (как это происходит в тех случаях, когда язык «мыслит» за писателя; ср. сетования на это старых французских писателей), например: На нем (полковом командире.— *Л. С.*) был новый... мундир и густые золотые эполеты, которые как будто *не книзу, а кверху поднимали* его тучные плечи (т. 1, ч. 2, I); Полки *вступали и выступали из городов* с музыкой... (т. 1, ч. 3, VII); Ночь была темная, звездная; дорога чернела *между* белевшим *снегом*... (т. 1, ч. 2, IX) [ср.: Алпатыч... заметил, что *между народом* происходило волнение... (т. 3, ч. 2, IX)]; (Девочки.— *Л. С.*), придерживая подолы, весело и быстро *бежали* по траве луга своими загорелыми босыми *ножонками* (т. 3, ч. 2, V); ... вдруг из соседней комнаты *послышался бег* к двери нескольких мужских и женских *ног* (т. 1, ч. 1, VIII); Наташа блестящими, оживленными *глазами* продолжала упорно и внимательно *глядеть* на Пьера... (т. 4, ч. 4, XVII); Наташа поняла, что Петя разумел, *за что* поссорились отец с матерью (т. 3, ч. 3, XVI); (Армия.— *Л. С.*) ...не разбирала продовольствия, а *грабила* его... (т. 4, ч. 2, XVIII); Князь Андрей... твердо решил никогда *не служить* более *в* военной *службе*... (т. 2, ч. 2, VIII); ...Пьер *почувствовал* новое, неиспытанное *чувство* радости и крепости жизни (т. 4, ч. 2, XII); ...они предпринимали *то то, то* другое средство (т. 2, ч. 2, VIII); Багратион *оглянул* свою свиту своими большими... *глазами*, и невольно... детское лицо Ростова первое *бросилось* ему *в глаза* (т. 1, ч. 3, XVII); Он (князь Андрей.— *Л. С.*) не только *не думал* тех прежних *мыслей*... (т. 3, ч. 1, VIII); Берг... сидел возле своей жены, объясняя ей, что всегда можно и должно иметь знакомства людей, которые выше *себя* (т. е. «тебя», «нас».— *Л. С.*), потому что тогда только есть приятность от знакомств (т. 2, ч. 3, XX); Два года тому назад... один польский небогатый помещик заставил Анатоля жениться на *своей* (т. е. «на его») дочери (т. 2, ч. 5, XI); Она (собака.— *Л. С.*)... теперь... была ничья и не имела никакого *названия* (т. е. «клички», «имени») (т. 4, ч. 2, XI).

Художественное значение романа Толстого «Война и мир» было понятно уже его современникам. С момента первой публикации, первых переводов романа на западноевропейские языки началось его триумфальное шествие в

мировой литературе современности. «В этом романе столько красот первоклассных, такая жизненность, и правда, и свежесть, что нельзя не сознаться, что с появлением „Войны и мира“ Толстой встал на первое место между всеми нашими современными писателями»,— писал И. С. Тургенев [55].

К началу XX в. мировое значение художественного творчества Льва Толстого стало несомненным. Оно отмечается в ряде специальных статей В. И. Ленина: «Лев Толстой, как зеркало русской революции» (1908), «Л. Н. Толстой» (1910), «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» (1910), «Толстой и пролетарская борьба» (1910), «Л. Н. Толстой и его эпоха» (1911). В этих работах Ленин точно проанализировал и четко сформулировал слабые и сильные стороны в творчестве великого национального и великого мирового писателя, замечательного мыслителя. Для Ленина «Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России» [56].

Эпоха после 1861 г. и до 1905 г. замечательно рельефно отразилась как в художественных произведениях Толстого, так и в его учении. Толстой стоял на точке зрения патриархального, наивного крестьянина; вместе с тем в его произведениях содержится беспощадная критика, «самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок» [57].

Слабость Толстого состоит в том, что «он рассуждает отвлеченно, он допускает только точку зрения „вечных“ начал нравственности, вечных истин религии, не сознавая того, что эта точка зрения есть лишь идеологическое отражение старого („переворотившегося“) строя, строя крепостного...» [58]

Сила Толстого в том, что это действительно великий художник, который «дал художественные произведения, которые всегда будут ценимы и читаемы массами, когда они создадут себе человеческие условия жизни...» [59]

---

[55] *Тургенев И. С.* Письмо И. П. Борисову от 27 февр. 1868 г.— Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т., т. 7. М.– Л., 1964, с. 76.
[56] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 17, с. 210.
[57] Там же, с. 209.
[58] Там же, т. 20, с. 101.
[59] Там же, с. 20.

Ленин особенно подчеркивал мировое значение творчества Толстого. С силой гениального художника Толстой в своих произведениях дал такие изображения помещичьего и крестьянского быта, «которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы» [60]. Лев Толстой дал «не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы» [61], он «дал ряд самых замечательных художественных произведений, ставящих его в число великих писателей всего мира...» [62]

В статьях Ленина о Толстом особенно и много раз подчеркивается, что это «великий художник», «гениальный художник», создавший «гениальные художественные произведения». Художественная ценность литературных произведений Толстого заключается в том, что «в его наследстве есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему» [63]. Эта художественная ценность великого национального писателя-реалиста и мыслителя органично перерастает в ценность мирового, общечеловеческого характера. Ленин писал об этом в статье «Л. Н. Толстой»: «...Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества» [64].

Традиции Л. Н. Толстого широко и многообразно проявляются в современной художественной литературе — и зарубежной и отечественной, советской. Английский писатель Дж. Голсуорси называл Толстого одним из своих главных учителей. В романе-эпопее Голсуорси «Сага о Форсайтах» с несомненностью прослеживаются стилистические и композиционные приемы, разработанные в русской литературе Л. Толстым. Отдельные части и главы «Саги» начинаются с таких же «хронологических» указаний, которые так характерны для «Войны и мира», на-

[60] Там же, с. 39.
[61] Там же, т. 17, с. 209.
[62] Там же, т. 20, с. 38.
[63] Там же, с. 23.
[64] Там же, с. 19.

пример: Пятнадцатого июня 1886 года случайный наблюдатель, попавший около четырех часов дня в дом старого Джолиона Форсайта на Стэнхоп-Гейт, мог бы увидеть лучшую пору цветения Форсайтов (с. 6) [65]; На следующий день, в пять часов, старый Джолион сидел один, куря сигару... (с. 20); В конце июля старый Джолион увез внучку в горы... (с. 206); Свадьба Сомса и Аннет состоялась в Париже в последний день января 1901 года... (с. 500) и др.

Стилистическое влияние Толстого прослеживается в характерных анафорических повторах и усилениях, заметных даже в переводе, например: Он уже забыл время своего сватовства... Он уже забыл тот день, когда... он увенчал свои старания успехом. Если Сомс и помнил что-нибудь... И, разумеется, он не помнил выражения ее лица... (с. 46).

Конструкции *уже забыл... уже забыл* в оригинале соответствует повтор конструкции «He had forgotten», а конструкции *помнил... не помнил* — английское «If he remembered... He certainly did not remember».

Гл. VI первой части книги «В петле» романа «Сага о Форсайтах» содержит живописно-философское описание старого дуба на верхней лужайке в Робин-Хилле, живо напоминающее две встречи Андрея Болконского с огромным старым дубом по дороге в рязанские имения и его размышления об этих встречах (т. 2, ч. 3), ср.: Глядя на этот громадный ствол, корявый и кое-где поросший мхом, но еще не дуплистый, он (молодой Джолион.— *Л. С.*) размышлял о том, как течет время. Это дерево, может быть, видело всю историю Англии. Оно росло здесь, он почти не сомневался в этом, по крайней мере со времен Елизаветы. Его собственные пятьдесят лет казались пустяком в сравнении с возрастом дерева. Когда этому дому позади его, которым он теперь владеет, будет не двенадцать, а триста лет, дерево по-прежнему будет стоять здесь, громадное, дуплистое... (с. 330).

Несомненное и сильное творческое влияние Толстого прослеживается в произведениях Михаила Шолохова: повесть «Казаки», роман-эпопея «Война и мир»— прямые предшественники «Тихого Дона» в пределах национальной художественной традиции. Внешне это проявляется в

---

[65] Цит. по: *Голсуорси Дж.* Сага о Форсайтах. Пер. с англ., под ред. М. Лорие, т. 1. М., 1956.

той же системе обычных «начинов» глав и частей «Тихого Дона», указывающих на хронологию событий, их движение во времени, например: За два дня до Троицы хуторские делили луг (кн. 1, ч. 1, гл. 8); В марте 1914 года в ростепельный веселый день пришла Наталья к свекору (кн. 1, ч. 3, гл. 1); В ночь на 4 ноября Григорий Мелехов пришел в Нижне-Яблоневский... (кн. 1, ч. 3, гл. 24); 16 января вечером Бунчук и Анна приехали в Воронеж (кн. 2, ч. 5, гл. 17) и др.

Влияние Л. Толстого на Шолохова не ограничивается чисто стилистическими или композиционными приемами. Оно распространяется на художественное мировоззрение выдающегося советского писателя, на реализм и народность его произведений, характер индивидуализации и типизации [66]. Мастерство изображения сложной жизни в переломные и бурные эпохи, показ людей и национальных характеров, мира природы, движения человеческой души, наконец, смелость и широта эпического повествования — вот то, что объединяет двух великих русских писателей, ярких выразителей национально-художественной нормы.

Творческое художественное наследие Л. Н. Толстого в советской литературе проявилось в таких разноплановых произведениях, как «Хождение по мукам» А. Н. Толстого, «Даурия» К. Седых, «Судьба» П. Проскурина и др. Кроме указанных выше совпадений лексических и синтаксических приемов в романе «Судьба» Проскурина и в эпических произведениях Л. Толстого (прежде всего в «Войне и мире») можно отметить также толстовский психологизм в описаниях картин природы (например, динамическое изображение летней грозы в гл. 6, кн. 1, военной оккупационной осени в гл. 12, кн. 2 и др.), широкое обращение автора к фольклорным источникам и богатствам, особенности построения диалога в романе «Судьба» и др. Вместе с тем интересно обратить внимание на известное сходство жанра — свободное эпическое повествование, никак не ограниченное заданностью сюжета (как и у Толстого, «движителем» романа является сама история, поступь времени). Сходство художественных решений и в этом случае объясняется, как уже говорилось, сходством задач в пределах национальной эпической традиции.

---

[66] См. гл. III «Художник. Стилист» в кн.: *Бирюков Ф. Г.* Художественные открытия Михаила Шолохова. М., 1976, с. 234 и след.

Современные авторы творчески продолжают традиции русской эпической прозы, обнаруживая элементы национального сродства творчества и национально-художественной нормы и в большом и в малом: и в создании народных типов, и в изображении многообразной жизни общества в известный период, и в стилистических или собственно речевых приемах, передающих движение души, диалектику чувств национальной психологии.

Национально-художественная литературная норма, воплощаясь в лучших произведениях мастеров слова, неизбежно втягивается в орбиту мировой художественной мысли. Национальный русский вклад в современный роман не ограничивается именем Толстого и по праву связывается с творчеством таких писателей, как Достоевский и Тургенев, Гоголь и Гончаров, Горький, Шолохов, Леонов.

Что касается романа-эпопеи «Война и мир», то это бессмертное произведение русского гения уже давно находится среди тех творений искусства, которые, по словам Карла Маркса, сказанным по другому поводу, «продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым образцом» [67].

Единство национального и интернационального в развитии культур социалистических наций

Язык — душа нации, первостепенный и наиболее очевидный признак. В языке и через язык выявляются и познаются национальная психология, характер народа, особенности его мышления и художественного творчества, неповторимость и нерасторжимость связи каждого человека с настоящим и прошлым своей родины. Именно этим и следует, по-видимому, объяснять глубокую, окрашенную горделивой любовью привязанность людей к родному языку. И в этом смысле любовь русских к своему языку не является чем-то исключительным. Дагестанский поэт Расул Гамзатов говорит об этом, например, в прозе: «Для меня языки народов — как звезды на небе. Я не хотел бы, чтобы все звезды слились в одну огромную, занимающую полнеба звезду. На то есть солнце. Но пусть сияют и звезды. Пусть у каждого человека будет своя звезда. Я люблю

[67] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 12, с. 737.

свою звезду — мой родной аварский язык. И верю тем геологам, которые говорят, что и в маленькой горе может оказаться много золота» [68], в стихах:

...Кого-то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нем не петь,
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.

Я за него всегда душой болею,
Пусть говорят, что беден мой язык,
Пусть не звучит с трибуны Ассамблеи,
Но, мне родной, он для меня велик...

(Родной язык, пер. Н. Гребнева).

Для писателей и поэтов всех народов и всех времен родной язык — основа их жизненного дела, орудие их творчества. И поэтому так естественно звучат в устах художников разных стран и народов слова любви и признательности, обращенные к родному языку. Однако без преувеличения можно сказать, что только в русской художественной литературе, только у русских писателей — с древних времен до наших дней — мы находим такое обилие восторженных и в то же время проникновенно-интимных признаний в любви к родному языку. Для Ломоносова и Пушкина, Гоголя и Тургенева, Толстого и Блока, Леонова и Шолохова русский язык был и остается воплощением России, символом великого народа, в высокое историческое предназначение которого они глубоко верили и верят. Знаменитое стихотворение в прозе Тургенева «Русский язык» стало крылатым не только в силу своей афористичности и содержательности, но и потому, что оно отразило опыт, чувство, настроение не одного своего автора, но каждого говорящего по-русски человека — всех, родившихся в России и воспитанных этой страной. Недаром слова о «великом, могучем, правдивом и свободном» русском языке так любил повторять В. И. Ленин.

В то время как литературные критики и историки литературы спорят иногда в наши дни о правомерности или неправомерности употребления терминов «народный дух», «национальный дух» или «дух языка», русские языковеды от Ломоносова, Востокова, Потебни, Шахматова до Пешковского, Щербы и Виноградова этими терминами довольно часто и вполне содержательно пользовались. А. М. Пеш-

[68] *Гамзатов Р.* Мой Дагестан. М., 1968, с. 56.

ковский писал, например, что «современный лингвист признает каждый язык совершенным применительно к тому национальному духу, который в нем выразился» [69].

Перед лингвистами и педагогами сейчас со всей необходимостью встает задача повышения культуры языка народа именно как национального языка — русского, украинского, белорусского, эстонского, армянского и любого другого,— тесно связанного с национальной культурой и общественной психологией народа-носителя. Дух языка, если расшифровать этот термин с современных позиций,— это принятие или непринятие языкового факта в результате социальной его оценки говорящими. Дух языка — это соответствие речевой практики потенциальным возможностям языковой системы, творческое начало и конечный результат языковой деятельности нации, речевое самосознание народа-носителя.

Дух языка проявляется и в большом и в малом — в образовании новых слов (неологизмов) и в направлении, выборе источников заимствования, в вечной для языка и культуры любого развитого народа проблемы «своего» и «чужого», исконного и полученного от других.

Когда князь Вяземский отрицал — с аристократических позиций — воплощение духа русского народа в языке Крылова, Пушкин возражал ему: «Ты уморительно критикуешь Крылова, молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума. Я назвал его представителем духа русского народа — не ручаюсь, чтоб он отчасти не вонял. В старину наш народ назывался смерд» (Письмо П. А. Вяземскому от 7 нояб. 1825 г.). Позднее В. Г. Белинский писал о баснях Крылова: «Он (Крылов) вполне исчерпал в них и вполне выразил ими целую сторону русского национального духа... И все это выражено в таких оригинально-русских, непередаваемых ни на какой язык в мире образах и оборотах; все это представляет собою такое неисчерпаемое богатство идиомов, русизмов, составляющих народную физиономию языка, его оригинальные средства и самобытное, самородное богатство,— что сам Пушкин не полон без Крылова в этом отношении» (статья «Басни Крылова»).

---

[69] *Пешковский А. М.* Объективная и нормативная точка зрения на язык.— Избр. труды. М., 1959, с. 51.

Самобытность любого языка воплощается в художественном и идейно-образном своеобразии литературы того или иного народа. Истинная национальность художника слова, писал Гоголь, «состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами». Обращаясь к Пушкину — «русскому национальному поэту», «явлению чрезвычайному и, может быть, единственному явлению русского духа»,— Гоголь убежденно говорил: «Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина» (статья «Несколько слов о Пушкине»).

Эти гоголевские слова сочувственно повторил потом В. Г. Белинский в статье «Сочинения Александра Пушкина» (ст. 5). А в другой своей статье, посвященной Гоголю, Белинский уже сам высказывает твердое убеждение в том, что «немногое, слишком немногое из произведений Пушкина может быть передано на иностранные языки, не утратив с формою своего субстанциального достоинства; но из Гоголя — едва ли что-нибудь может быть передано» (Похождения Чичикова, или Мертвые души).

Категоричность этого суждения для нас сегодня очевидна. Пушкин и Гоголь — русские имена на интернациональном небе мировой литературы, и новые века рождают новые созвездия. Человечество познает и обогащает себя, пристально вглядываясь в достижения каждой нации, делая эти достижения общим достоянием.

Странными поэтому кажутся призывы иных современных философов покончить раз и навсегда с национальными различиями и особенностями, перестать изучать то, что людей разъединяет (ведь национальное — всегда особенное), и обратиться к тому общему, что объединяет людей (раз слияние наций — несомненное дело будущего, то к нему якобы надо стремиться уже сегодня). И. Кон так и пишет, например: «Сами современные нации сложились путем слияния многих племен и народностей, передавших им свою историческую культуру, причем ассимилированная (и потому незаметная) часть ее гораздо важ-

нее тех местных диалектов и обычаев, которые изучают сегодня ученые». И далее: «...акцент на национальных традициях... это всегда (почему всегда? — *Л. С.*) акцент на различиях между народами (а если это в пределах одного народа — русского, украинского, узбекского — любого? — *Л. С.*), который неизбежно вызывает цепную реакцию (акцент вызывает реакцию? — *Л. С.*) и уже в силу одного этого требует величайшей осторожности» [70]. Разговоры об осторожности, на наш взгляд, совершенно напрасны.

Цитируя в изобилии марксистские источники, философ И. Кон предпочитает почему-то ломиться в открытую дверь, «позабыв» по коварной случайности знаменитое место из книги В. И. Ленина «Детская болезнь „левизны" в коммунизме», в котором дается блестящее определение диалектического и нерасторжимого единства национального и интернационального в рабочем движении: «Пока существуют национальные и государственные различия между народами и странами — а эти различия будут держаться еще очень и очень долго даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе — единство интернациональной тактики коммунистического рабочего движения всех стран требует не устранения разнообразия, не уничтожения национальных различий (это — вздорная мечта для настоящего момента), а такого применения *основных* принципов коммунизма (Советская власть и диктатура пролетариата), которое бы *правильно видоизменяло* эти принципы *в частностях*, правильно приспособляло, применяло их к национальным и национально-государственным различиям» [71]. Это ли не «акцент», которого больше всего боится наш философ? В той же ленинской книге мы находим настоятельный призыв «исследовать, изучить, отыскать, угадать, схватить национально-особенное, национально-специфическое в *конкретных* подходах каждой страны к разрешению *единой* интернациональной задачи...» [72]

В вопросах классовой борьбы и в вопросах культуры проблемы национального и интернационального, в сущности, единая проблема. Лучшие, самые передовые элементы

[70] *Кон И.* Диалектика развития наций.— Новый мир, 1970, № 3, с. 146.
[71] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 41, с. 77.
[72] Там же.

в национальной культуре понятны и близки всем другим народам, легко и естественно усваиваются ими, становятся строительным материалом интернациональной культуры. И в этом смысле интернациональное — другая сторона национального. Развитие культур социалистических наций в Советском Союзе показывает это со всей очевидностью.

Содержание и структура национального и интернационального, естественно, претерпевают изменения во времени и для каждой исторической эпохи имеют свою специфику. Но при всех этих изменениях сохраняется народность национального, классовость интернационального и, что самое главное, сохраняется характер их соотношения — нерасторжимое единство национального и интернационального.

Прогрессивное национальное всегда совпадает с социалистическим интернациональным, с интересами рабочего класса, сил демократии и социализма. Подчеркивая это, наша партия вместе с тем решительно выступает против обеих возможных крайностей — проявления черт буржуазного национализма, с одной стороны, и элементов космополитизма — с другой[73].

Национальный язык, литература, культура любого народа отражают его историю, быт, миросозерцание, накопленный опыт — в оригинально-специфических и понятных ему формах.

Конечно, гораздо проще заявлять, как это делает философ И. Кон, что «утрата национальной культуры, несомненно, означала бы потерю национальной жизни вообще», и задавать при этом риторический вопрос: «но где критерии „национальности" культуры?», чем отвечать на такой вопрос конкретной разработкой, описанием специфических черт национальной культуры, психического склада, языка, литературы и т. п.

Акад. А. С. Орлов, написавший серию блестящих статей о языке и стиле русских писателей, считал, например, что русский язык «национально характерен именно в элементах устного происхождения и устной практики, и великие русские писатели строили язык с непременным учетом устной стихии»[74]. Устно-разговорная стихия постоянно пополняет литературную речь образностью, меткостью,

[73] См.: *Иванов В.* Социализм и культурное наследие.— Коммунист, 1970, № 17, с. 97 и след.

[74] *Орлов А. С.* Язык русских писателей. М.— Л., 1948, с. 64.

художественной точностью, выразительностью и пластичностью. Именно в этих признаках Орлов справедливо усматривал оригинальные черты национального русского языка. Письменная речь, фиксируя и стилизуя (под пером писателей) речь первичную, устную, периодически черпает из последней как из своего источника. По мнению Орлова, эти периоды всегда совпадают с повышением национального самосознания (см. его статью «О языке басен Крылова»). Так из образной, живой народной речи литературный язык (и в первую очередь язык художественной литературы) извлекает новые силы, обновляясь и развиваясь как важнейшая форма национальной культуры.

Не в этом ли, наконец, разгадка и причина широкого обращения современной русской советской прозы к жанрам народного сказа, деревенских баек («вологодских бухтин»), непосредственно восходящих к вечным животворящим источникам народной речи? И уж конечно, дело тут не в преходящей «модности» или скрытых недобрых помыслах, которые пытались приписать авторам-деревенщикам иные из современных литературных критиков, стоящих на шатких позициях «наднациональности».

Разработку теоретических проблем становления и развития национальных языков с позиций марксизма-ленинизма мы находим в трудах В. В. Виноградова, В. М. Жирмунского, Ф. П. Филина, В. Н. Ярцевой и других советских языковедов.

Развитие русской литературной речи, особенно от Пушкина до наших дней, сблизило разные стили письменного языка с говорами и стилями живого устного языка, но отнюдь не уничтожило различий между ними. У нас нет такого разрыва между литературно-книжным и устным языком, какой существует в некоторых странах Западной Европы. Но письменный и разговорный языки не сливаются у нас в единую систему. Они находятся в живом взаимодействии и непрестанно обогащают друг друга.

Эпоха победившего социализма создает предпосылки для невиданного расцвета национального языка. «Современный русский язык,— говорил в своем докладе на Учредительной конференции по созданию Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы В. В. Виноградов,— представляет собой своеобразное, самобытное явление в истории мировой культуры. Происходящие в нем процессы полны исторического значения и

ярко отражают творческую мощь русского народа. В советскую эпоху он становится наиболее рельефным выразителем новой социалистической государственности и идеологии, передовой науки и техники, могучей экономики» [75].

«Социально-политическое единство советского народа вовсе не означает исчезновения национальных различий,— говорил товарищ Л. И. Брежнев.— Благодаря последовательному проведению ленинской национальной политики мы, построив социализм, одновременно — впервые в истории — успешно решили национальный вопрос. Нерушима дружба советских народов, в процессе коммунистического строительства неуклонно происходит их сближение, взаимное обогащение их духовной жизни. Но мы встали бы на опасный путь, если бы начали искусственно форсировать этот объективный процесс сближения наций. От этого настойчиво предостерегал В. И. Ленин, и от его заветов мы не отступим» [76].

Будучи интернациональной по духу, советская литература остается национальной по форме, в том числе и по своему языку. Советский украинский, казахский или азербайджанский писатель — это прежде всего писатель своего народа, творящий на своем национальном языке. Интернационализм есть братство множества национальных культур, а не массовое отречение каждого народа от своей национальной культуры. Писатель И. И. Катаев, не раз говоривший в 30-е годы о национальном самосознании в русской и любой другой литературе наших союзных республик, отмечал, в частности, «что еще недавно в литературной среде находились люди, которые подобное замечание заклеймили бы как проявление народничества, славянофильства, русопятства или пустили бы в ход более крепкие слова. Впрочем, эти люди ненавидели не только одно русское искусство. Их, с позволения сказать, система взглядов была несколько пошире» [77].

---

[75] *Виноградов В. В.* Русский язык в современном мире.— Рус. речь, 1970, № 1, с. 4 и след.

[76] *Брежнев Л. И.* О проекте Конституции (Основного Закона) Союза Советских Социалистических Республик и итогах его всенародного обсуждения. М., Политиздат, 1977, с. 11.

[77] *Катаев И.* Искусство на пороге социализма.— В кн.: Катаев И. Под чистыми звездами. М., 1969, с. 499.

Потаенное прозябание или вспышки узколобого буржуазного национализма в области культуры, продолжал И. И. Катаев, должно получить отпор и разоблачаться. «Но и тот, кто равнодушен к глубинной художественной жизни широчайших масс своего народа, к его мастерству, к его мечтам и надеждам, к его укладу и облику, в которых всегда есть милые, нужные и добрые черты, — кто не видит и не знает всего этого, тот не может быть настоящим интернационалистом в делах культуры» [78].

Процесс взаимовлияния и взаимообогащения национальных литератур народов СССР стал одним из главных закономерностей нашей жизни. Содружество литератур, углубляясь и расширяясь, возбуждая творческую активность, приводит к постоянному повышению идейно-эстетических критериев и идеалов, заставляет национальных писателей ориентироваться на высшие достижения общесоюзной и мировой литературы. Таким образом, единство национального и интернационального — и результат и движущая сила развития литературы социалистического реализма [79].

Таким образом, во всей широте и определенности встают вопросы развития и совершенствования современного русского литературного языка как важнейшего элемента национальной культуры русского народа. К обсуждению этих вопросов и проблем обращаются сейчас языковеды и писатели, представители широких кругов советской интеллигенции. Писатель Виталий Закруткин, говоря о народности литературы (и языка), справедливо отмечает неразрывную связь принципов партийности и народности. Вопрос о народности искусства неотделим от вопроса о его национальных особенностях, национальной форме. В. Закруткин приводит слова А. Н. Островского о том, что «только те произведения пережили века, которые были истинно народными у себя дома; такие произведения со временем делаются понятными и ценными для других народов, а, наконец, и для всего света». Понятие народности неотделимо от языка писателя. Возражая некоторым редакторам, относящимся к типу строгих «нормировщиков» и обосновывающим свою позицию тем, что за полвека строительства социализма русский народ стал иным, а

[78] *Катаев И.* Под чистыми звездами, с. 500.

[79] См.: *Ершов Л., Хватов А.* Листья и корни. Библиотека «Огонек», № 5. М., 1971.

язык его давно не походит на язык пушкинских или толстовских времен, Закруткин пишет:

«Да, это верно. Однако современный русский язык при всем его развитии, определяемом бурной эпохой революций, войн, расширением международных связей, высоким подъемом культуры, не превратился в эсперанто, а по своему строю, духу, существу, по национальным своим особенностям остался русским языком, полным силы и красоты.

Это первое. Не могу не сказать и о втором: детская (а, впрочем, детская ли?) „болезнь левизны" в вопросах толкования истории языка (а, следовательно, и в вопросе о „стирании национальных граней" и „исчезновении наций") — небезопасная болезнь, вряд ли способствующая идеологическому вооружению народа» [80].

Патриотическая любовь к родному языку наших предшественников и современников, их сыновняя преданность национальной культуре помогают нам сегодня в борьбе за подлинную культуру языка, который, если перефразировать известное изречение Глинки, творит народ, а писатели, мастера слова, лишь аранжируют.

Проблема культуры речи, в ее широком аспекте, — это проблема литературного языка. А литературный язык — наиболее развитая, высшая форма национального языка. В каждом языке поэтому существуют своя специфика, свои актуальные вопросы и аспекты его изучения и нормирования. Для современного русского языка — это проблемы взаимодействия письменной и устной форм речи, формирования различных жанров и видов массовой информации, научной и деловой речи, взаимодействия стилей в пределах литературного языка, соотношения литературного языка с территориальными и социальными диалектами.

Культура речи как общественная наука предполагает широкое лингвистическое воспитание и массовое стилистическое просвещение, иными словами, внедрение в массы говорящих и пишущих современных достижений науки о языке.

И не надо быть пророком, чтобы утверждать, что споры о языке не прекратятся, пока будет жив народ, на нем говорящий. По некоторым же частным вопросам эти споры будут, несомненно, вестись более остро и оживленно, чем

---

[80] *Закруткин В.* Художник и народ.– Лит. Россия, 1969, 7 февр.

они велись прежде или ведутся теперь. Это вполне понятно. Ведь язык принадлежит всем и каждому. И каждый говорящий не только послушный раб, но и полновластный хозяин своей речи. Независимо от рекомендаций пособий, словарей и строгих выводов лингвистической науки каждый сам может «творить» свой язык. Впрочем, эта «свобода творчества», как мы знаем, в большинстве случаев оказывается мнимой: язык развивается и живет также и по собственным своим законам, не подчиняться которым мы не можем. Именно поэтому культура родного языка — это и личное дело каждого и общее дело всех.

Языковое богатство — народное сокровище и достояние, великое наследие наших предков. От бережного отношения к этому наследию каждого из нас во многом зависит настоящее и будущее советской социалистической культуры.

Глава IV

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Толковые словари национального языка — могучее орудие культуры речи и вместе с тем продукт этой культуры. Работа по составлению толковых словарей родного языка — важное национальное дело. Глубокое общественное сознание необходимости и ответственности этого дела выражается «в живом интересе» широких общественных масс к изданию толковых словарей и «в повышенной требовательности» специалистов к внутренним их достоинствам [1].

Акад. И. И. Срезневский в свое время делал справедливое обобщение о том, что там литература как искусство стоит выше, «где знание отечественного языка считается более необходимым, где, следовательно, лучше составлены словари его, где писатели чаще к ним обращаются» [2].

Многотомные толковые словари национальных языков всегда строились и строятся на широкой базе литературно-художественных источников — на материале языка писателей прошлого и настоящего, равно как и на материалах публицистики, научной литературы, периодики.

«При имени Пушкина, — писал Н. В. Гоголь, —тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте... В нем к а к б у д т о в л е к с и к о н е (разрядка наша.— *Л. С.*) заключилось все богатство, сила и гибкость языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство...» [3] Сравнение Пушкина с лексиконом не

---

[1] *Виноградов В. В.* О некоторых вопросах теории русской лексикографии.– ВЯ, 1956, № 5, с. 80 и след.

[2] Изв. ОРЯС, 1854, т. 3, с. 150—151; см. об этом: *Виноградов В. В.* Указ. соч., с. 80; ср. также: *Виноградов В. В.* Толковые словари русского языка.– В кн.: Язык газеты. М., 1941, с. 371 и след.

[3] *Гоголь Н. В.* Несколько слов о Пушкине.– Полн. собр. соч. в 14-ти т., т. 8. М.– Л., 1952, с. 50.

случайно. В современном русском языке мы называем словом «лексикон» обычно запас слов в чьей-нибудь речи, говоря, например, что у того-то или у того-то «бедный», «ограниченный» и т. п. лексикон, т. е. именно запас слов. В старину слово «лексикон» значило «словарь» — свод лексики языка, все его словарное (и смысловое) богатство. Еще В. И. Даль толковал слово «лексикон» как «словарь, речник, словотолк, словник, словотолковник».

У А. Франса есть короткая, но очень емкая и поэтичная статья-заметка «Лексикон», которую можно по праву назвать восторженным гимном словарям и всему словарному делу, подлинным признанием в любви к этому удивительному творению человеческих рук и разума.

«Я... часто ловлю себя на том,— признается писатель,— что отлыниваю от работы, зарывшись в какой-нибудь большой словарь, разросшийся, словно густолиственный лес... ведь словарь — это вся вселенная в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь — это книга книг. Он включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из него...

Я сказал, что люблю словари. Я люблю их не только за большую пользу, приносимую ими, но и за все то, что есть в них прекрасного и величественного... здесь мысли, радости, труды и горести наших предков и наши собственные, памятники общественной и личной жизни всех тех, кто дышал... воздухом, которым мы дышим теперь, в свою очередь; подумайте, что каждому слову словаря соответствует мысль или чувство, которые были мыслями или чувствами бесчисленного множества людей; подумайте, что все эти собранные вместе слова — дело плоти, крови и души, родины и человечества»[4]. Сказано все это вдохновенно, красиво, возвышенно — и справедливо.

Чтение словарей было одним из излюбленных занятий К. Маркса и В. И. Ленина. Глубоко понимая общекультурное значение словарного дела, Владимир Ильич Ленин заботился о скорейшем издании словарей-справочников массового типа, стоял у истоков советской русской лексикографии.

Для писателя словари и справочники разных типов — это источник разнообразных знаний и сведений, источник поэтического вдохновения и речевой ориентир (вспомним

[4] *Франс А.* Собр. соч. в 8-ми т., т. 8. М., 1960, с. 153–154.

пушкинское: «Хоть и заглядывал я встарь В Академический словарь»).

В той же заметке «Лексикон» А. Франс рассказывает, что молодого Шарля Бодлера, попросившего «свидания с Теофилем Готье, маститый писатель встретил... вопросом:

— Читаете ли вы словари?

Бодлер ответил, что читает их очень охотно. И хорошо сделал, ибо Готье, поглощавший бесчисленное множество словарей по различным искусствам и ремеслам, почитал недостойным звания писателя, поэта или прозаика, всякого, кто не находил бы удовольствия в чтении лексиконов и толковых словарей» [5].

Чтение толковых словарей — полезное и увлекательное дело не для одних только писателей. И это вполне понятно. Продолжая и развивая шахматовские традиции отечественного языкознания, советские лексикографы исходят из того, что в толковых словарях не должны содержаться плоды отвлеченных «научных» соображений, а должен быть представлен надежный языковой материал, из которого видна была бы картина реальной речевой жизни народа в наши дни, писательская манера словоупотребления — в лучших ее образцах — прежде и теперь. За годы Советской власти у нас в стране изданы тысячи словарей — одно- и двуязычных, синонимических, фразеологических, народных говоров, словарей языка писателей, толковых разных типов и др. Последний по времени академический «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах в 1970 г. удостоен Ленинской премии. Начата подготовка к изданию нового многотомного словаря; ведется работа над историческими словарями, сводным многотомным «Словарем русских народных говоров».

Словарная служба языковедов не прекращается ни на один день. И писатели — нынешние и будущие — подчас и не подозревают о своем незримом участии в этом важном общекультурном деле: они создают тексты будущих словарных иллюстраций, не зная об этом и, конечно же, над этим не задумываясь. Между тем ответственность их перед Словом от этого «незнания» ничуть не уменьшается. «Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще... Обращаться

---

[5] Там же, с. 152.

со словом нужно честно»,— писал Н. В. Гоголь в статье «О том, что такое слово» [6].

По общему признанию исследователей, писателей и журналистов, педагогов, представителей широких кругов общественности, русская советская лексикография является важнейшим источником распространения и укрепления норм русской литературной речи и повышения культуры вообще. К словарям и разного рода справочникам постоянно обращаются в своей повседневной практике печать, радио и телевидение, театр, школа. Словари утверждают норму и углубляют знания русского языка среди широких масс национальных республик и областей. За пределами нашей страны словари русского литературного языка содействуют распространению русского языка и знаний о советской действительности.

«Ответственное положение, которое занимает русская лексикография советской эпохи, и важность культурно-политической роли, ею выполняемой в Советском Союзе и за его пределами, предъявляют русской лексикографии высокие требования»,— писал видный советский лексикограф и исследователь проблем культуры русской речи С. И. Ожегов [7].

Вопросы типологии толковых и нормативных словарей

В теоретическом и практическом смыслах важное значение имеют вопросы разработки типологии словарей — в плане как обобщения уже имеющегося опыта, так и возможной перспективы. В отечественной лексикографии типология словарей и их классификация так или иначе опираются на известную работу Л. В. Щербы — его статью «Опыт общей теории лексикографии» [8], сохраняющую до сих пор свое научное значение.

С точки зрения нормативной лексикографии есть необходимость представить типологию словарей в следующем общем виде. Из шести общих противоположений, пред-

---

[6] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч., т. 8, с. 229–231.

[7] См.: *Ожегов С. И.* О трех типах толковых словарей современного русского языка.– В кн.: Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974, с. 160.

[8] *Щерба Л. В.* Опыт общей теории лексикографии.– В кн.: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 265 и след. (впервые опубликована в Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1940, № 3).

ложенных и описанных Л. В. Щербой, следует специально остановиться на первом из них (словарь академического типа — словарь-справочник) и уточнить выдвинутые в нем соображения с интересующих нас позиций.

Существующие словари русского языка — при нормативном к ним подходе — можно разделить на две группы.

Словари первой группы условно можно назвать словарями языка в собственном смысле слова, прежде всего это толковые, или объяснительные, словари разных типов. Практически они охватывают весь (или почти весь) лексический состав языка. Толковые словари — это универсальные нормативные справочники по стилистике и семантике, по грамматике и фразеологии, по акцентологии и частично по орфоэпии.

Существуют три основных типа толковых словарей русского литературного языка: 1) большой (или полный), представляющий современный язык в широкой исторической перспективе; 2) средний, для которого характерна разработка исторически оправданного стилевого многообразия современного языка; 3) краткий, популярного характера, стремящийся к активной нормализации современной литературной речи[9]. К первому типу относится «Словарь современного русского литературного языка» АН СССР в 17-ти томах (М.— Л., 1950—1965); ко второму — «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (М., 1935—1940) и «Словарь русского языка» АН СССР в 4-х томах (М., 1957—1961); к третьему типу — однотомный «Словарь русского языка» С. И. Ожегова (12-е изд. М., 1978). В словарях больших и средних приводятся (в качестве иллюстраций) представительные примеры употребления слов или устойчивых выражений в лучших произведениях русской классической и советской художественной литературы. В однотомном словаре (краткого типа) иллюстрации употреблений и значений слов даются в виде типовых речений и словосочетаний.

К толковым словарям русского языка примыкают словари диалектные и исторические: «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, «Материалы для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского (в 3-х т. СПб., 1893—1903), издающиеся «Словарь рус-

[9] *Ожегов С. И.* О трех типах толковых словарей современного русского языка, с. 158 и след.

ских народных говоров» АН СССР (т. 1. М.—Л., 1965), «Словарь русского языка XI—XVII вв.» (т. 1—5. М., 1975—1979) и др.

Во всех этих словарях с достаточной полнотой отражается лексический состав русского языка в соответствии с принципами отбора (литературность, диалектность, историчность и др.). В основе всех этих словарей лежит, по словам Л. В. Щербы, «единое (реальное) языковое сознание определенного человеческого коллектива в определенный момент времени» [10].

Вторую большую группу словарей составляют собственно нормативные словари-справочники. Назначение их состоит в том, чтобы дать читателю необходимую справку в трудных или сомнительных случаях (написание слова, его произношение, ударение, образование форм, значение и т. п.), а также предупредить от возможной ошибки, исправить привычные нелитературные индивидуальные речевые навыки и т. п.

Среди словарей-справочников выделяются, во-первых, словари орфографические и орфоэпические (произношения и ударения) и, во-вторых, «словари правильностей» разных типов и назначения. В связи с объемом, структурой и назначением орфографические и орфоэпические словари могут быть полными или краткими (специальными). Примеры полных словарей: «Орфографический словарь русского языка» АН СССР (13-е изд. М., 1974; 106 тыс. слов) и «Русское литературное произношение и ударение» АН СССР (М., 1959; около 52 тыс. слов). Примеры специальных словарей: «Орфографический морской словарь», сост. Р. Э. Порецкая (М., 1974; около 25 тыс. слов); «Слитно или раздельно?», сост. Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая, Л. К. Чельцова (М., 1972; около 43 тыс. слов); «Словарь ударений для работников радио и телевидения», сост. Ф. Л. Агеенко и М. В. Зарва (4-е изд. М., 1971; около 63 тыс. слов) и др.

Нормативными сводами и кодексами в подлинном смысле слова являются полные словари. Что касается специальных или кратких словарей, то они в той или иной степени дополняют, уточняют полные, отражая особенности подхода к языковому материалу и нормативности. Специальные словари в строгом смысле слова описывают

[10] *Щерба Л. В.* Указ. соч., с. 266.

(в орфографическом, орфоэпическом, грамматическом и других отношениях) лексику определенной отрасли специальной терминологии. Создание специальных орфографических словарей — актуальная задача, решение которой возможно лишь в тесном взаимодействии языковедов-лексикографов и представителей отдельных отраслей науки и техники.

Специальный орфоэпический словарь для дикторов радио и телевидения включает значительное число личных имен, географических и других названий; в нормативном отношении он характеризуется однозначностью квалификаций, предполагающей полный отказ от объективных вариантов орфоэпической нормы в пользу однозначно понимаемого принципа «единообразия» (ср. рекомендации: *высокó, инáче, дебаркáдер, индустрúя, творóг, опершúсь, почáтый* и др., где академический словарь допускает варианты).

Задачей ближайшего будущего является создание кратких (компактных) словарей массового характера и назначения для обучения и самопроверки.

Говоря о «словарях правильностей», следует также выделить среди них полные и краткие (специализированные). Полные словари правильностей (иногда их называют ортологическими) отражают современную литературную норму на различных языковых уровнях, специальные — посвящены отдельным ее сторонам. Примеры полных словарей правильностей (или приближающихся к ним по своим задачам): «Правильность русской речи» (2-е изд. М., 1965; 651 статья, не считая отсылочных, и 1020 статей краткого орфоэпического справочника); «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» (Л., 1973; около 8 тыс. слов); «Словарь трудностей русского языка» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой (М., 1976; около 30 тыс. слов). К кратким, или специальным, словарям правильностей могут быть отнесены следующие: «Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка», сост. Ю. А. Бельчиков и М. С. Панюшева (М., 1968; около 200 статей); «Трудности русского языка. Словарь-справочник журналиста» под ред. Л. И. Рахмановой (М., 1974; более 600 слов); Л. К. Граудина, В. А. Ицкович, Л. П. Катлинская «Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов» (М.,

1976; 148 типов грамматических и словообразовательных вариантов) и др.

К словарям-справочникам нормативного назначения примыкают словари синонимов, омонимов и антонимов, сокращений, названий жителей, иностранных слов, фразеологические и некоторые другие.

Промежуточное положение между словарями языка и словарями-справочниками занимают словари обратные, частотные, грамматические, идеографические (тематические) и т. п. Наиболее значительные из них: «Обратный словарь русского языка» (М., 1974; около 125 тыс. слов), «Частотный словарь русского языка» под ред. Л. Н. Засориной (М., 1977; около 40 тыс. слов), «Грамматический словарь русского языка. Словоизменение» А. А. Зализняка (М., 1977; около 100 тыс. слов). Идеографических и тематических словарей таких же масштабов у нас пока нет, хотя теоретическая работа (восходящая к идеям Л. В. Щербы) по их подготовке ведется [11].

Словари этого подтипа, представляя, в сущности, лексику в пределах всего языка, дают возможность для решения ряда теоретических и практических вопросов орфографии, описательной грамматики, стилистики, словообразования и т. п. Велика их роль и в прикладной методической работе: при составлении учебных пособий, словарей, справочников (особенно для обучения русскому языку иностранцев).

Если в основе словарей языка, по определению Л. В. Щербы, лежит единое языковое сознание человеческого коллектива, то в основе нормативных словарей-справочников его нет: «слова, в них собранные, могут принадлежать разным коллективам, разным эпохам и вовсе не образуют какой-либо системы» [12]. Относительно последних слов следует сделать, на наш взгляд, известное уточнение: словари-справочники описывают систему литературных норм (или часть этой системы), они отражают сильные и слабые участки нормы, «зоны вариантности», выявляют механизмы изменения норм, их эволюции и т. п.

Противополагая толковый словарь словарям-справочникам — по объему и назначению,— мы не опровергаем,

---

[11] См.: *Караулов Ю. Н.* Общая и русская идеография. М., 1976; ср.: *Морковкин В. В.* Идеографические словари. М., 1970.

[12] *Щерба Л. В.* Указ. соч., с. 266.

а всего лишь уточняем первое противоположение Щербы: словарь академического типа — словарь-справочник. Для Щербы «академический словарь» был полным синонимом словаря нормативного. В нашей классификации нормативность, как задача описания, переносится в словари-справочники, а словарь академического типа понимается как словарь языка, описывающий более или менее полно его лексический состав в тот или иной период времени. Разного рода теоретические и практические соображения оправдывают возможность такого подхода. Надо сказать, что и для самого Щербы такое противоположение (в терминологическом отношении) было достаточно условным; кроме того, в выдвинутой им классификации учитывались традиции зарубежной лексикографии (в первую очередь французской), в известной мере противоречившие тем традициям, которые складывались в отечественной лексикографической практике и которые достаточно ярко выявились к настоящему времени.

Предложенная нами типология не противоречит основным выводам Щербы из описания первого из выдвинутых им противоположений: «научный», или академический, словарь (т. е. толковый многотомный) «имеет своим предметом реальную лингвистическую действительность — единую лексическую систему данного языка». Что касается словарей-справочников, то они в конечном счете всегда будут собранием слов, которое «само по себе никогда не является каким-то единым фактом реальной лингвистической действительности, а лишь более или менее произвольным вырезом из нее» [13].

Академический толковый «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах, не будучи собственно нормативным, строится — в соответствии со своим названием — на материалах современных и нормативных (литературных). Действительно, его статьи содержат многообразные сведения, с различных сторон характеризующие нормативный статус слов или выражений: а) написание (орфографический облик), б) ударение (а в некоторых случаях и произношение), в) грамматическая характеристика, г) значение и употребление, д) стилистическая окраска, е) сочетаемость и т. п.

---

[13] *Щерба Л. В.* Указ. соч., с. 276.

Словарь и норма

В собственно нормативном отношении толковые словари характеризуются «позитивностью»: нормализация в них заложена изнутри; они включают и демонстрируют факты, соответствующие нормам современного литературного языка. Показ колебания нормы, отклонений от нее, типичных ошибок устной и письменной речи, вариантов нормы разных типов и происхождения, как правило, в них отсутствует. В справочном отделе ССРЛЯ содержатся сведения об источнике слова, его написании и произношении в предшествующие эпохи (т. е. исторические варианты), дается картина лексикографической кодификации начиная с XVIII в. (или раньше) и до наших дней, например: «*Ка́шица*, ы, ж...— с иным (обл.) удар.: *кашу́ца*.— Срезневский: *кашица*; Росс. Целлариус 1771, с. 201: *ка́шица*; Слов. Акад. 1909: обл. *кашу́ца*; Ушак. Толк. слов. 1934: *ка́шица* и *кашу́ца*» (т. 5, стб. 895); «*Ка́ю́р*, а, м...— Даль. Слов.: *ка́ю́ра*; Слов. Акад. 1909: *ка́ю́р*, *ка́ю́ра*; Слов. иностр. слов 1949: *ка́ю́р*.— Из нанайск. *каори* — палка для торможения при езде на собаках» (т. 5, стб. 898); «*Ки́тель*, я... м...— Слов. Акад. 1847: *ки́ттель;* Слов. Акад. 1909: *ки́тель*.— Нем. Kittel» (т. 5, стб. 978) и т. п.

В однотомном «Словаре русского языка» С. И. Ожегова начиная с 4-го издания (М., 1960) введены предостерегающие от неправильного употребления слов указания, а также комментарии к условиям нормативного их применения. При этом, как говорится в авторском предисловии, подобные указания «даются только в тех случаях, когда неправильное употребление очень распространено» («Сведения, необходимые для пользующихся словарем», §12), например: «*Адрес... В адрес кого—чего* (направить, послать и т. п.; офиц.) — на имя кого—чего-н., кому—чему-н. первонач. о почтовых и грузовых отправлениях; *теперь иногда ошибочно употр. вм. по адресу...*[14] (с. —19). Ср. также указания при словах *взойти, вперед, крайний, одеть, одолжить, именинник, заимообразный* и др.

---

[14] В 9-м и последующих изданиях словаря предупредительная ремарка в квадратных скобках снята; она заменена примером переносного употребления: «*Критика в адрес дирекции* (*перен.*)» (с. 22).

В 9-м, исправленном и дополненном, издании «Словаря русского языка» С. И. Ожегова (М., 1972) и во всех последующих (стереотипных) были уточнены такого рода нормативные комментарии, а круг их в целом несколько расширен. См., например, статьи *автор, дипломник, дилемма* и др. Кроме того, более последовательно проведены орфоэпические указания (особенно при заимствованных словах). Все другие изменения и поправки, сделанные с учетом сложившегося типа краткого словаря, должны, по замыслу редактора, способствовать дальнейшему улучшению книги как универсального пособия по совершенствованию речевой культуры (см. «Предисловие» Н. Ю. Шведовой к 9-му изд. словаря).

Являясь по самой своей природе как бы своеобразными энциклопедиями русского языка, толковые словари служат базой для разнообразных теоретических исследований в области лексикологии и семасиологии, грамматики, стилистики, акцентологии и орфоэпии. Они составляют основу различных словарей-справочников нормативного характера.

Известный компромиссный подход лежит в основе многих толковых словарей: на «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова как «более или менее компромиссный» указывал Л. В. Щерба, определяя его место между словарями академическими и справочными [15]; В. В. Виноградов по поводу ССРЛЯ говорил о совмещении (и смешении) в нем принципов историзма и нормативности, непоследовательном решении поставленных перед ним задач [16]. Для исторического словаря он оказался недостаточно полным, а как нормативный не всегда последователен в оценках и рекомендациях. По-видимому, все это неизбежно в полных толковых словарях, опирающихся на широкий исторический фон, показывающих лексику в динамике ее развития за полтора-два столетия [17]. Толковые словари — одновременно и сокровищницы языка и нормативно-стилистические пособия; их объективность

---

[15] *Щерба Л. В.* Указ. соч., с. 275.

[16] *Виноградов В. В.* Семнадцатитомный Академический словарь современного русского литературного языка и его значение для советского языкознания.– ВЯ, 1966, № 6.

[17] Ср.: *Бабкин А. М.* Новый академический словарь русского языка. Проспект. М., 1971; см. также: Современная русская лексикография. 1976. Л., 1977.

и историзм нередко приходят в противоречие с утилитарно-нормативным взглядом на них. Об этом свидетельствуют, в частности, некоторые дискуссии на страницах периодической печати последних лет.

В журнале «Журналист» была опубликована статья журналиста С. Шацкова под многозначительным заглавием: «Не пора ль и „власть употребить"?» В этой полемической статье автор решительно выступает против употребления многих слов и выражений, включенных (а следовательно, допущенных в литературный обиход!) в словарь-справочник «Новые слова и значения». Слова и выражения эти, различные по своему происхождению, функциям, реальному употреблению и т. п., выстраиваются Шацковым в один ряд: *минералка* (минеральная вода; минеральные удобрения), *врезать* (в знач. 'ударить' и 'выручать'), *капать* (ябедничать, доносить), *вкалывать* (интенсивно работать), *втихаря* (тайком), *выкаблучиваться* (выставлять себя напоказ), *гробануть* (испортить, сломать), *доходяга* (об изможденном человеке, животном), *женатик* (женатый мужчина), *забегаловка* (о закусочной, пивной), *заразиховыносливость* (о сельскохозяйственных культурах: не подверженный поражению заразихой), *застолбить* (заявить, отметить; перен. к проф. 'обозначить участок какой-н. работы'), *прошвырнуться* (прогуляться, пройтись), *слабак* (о слабосильном или малодушном мужчине), *сообразить* (выпить вскладчину), *вагон* (очень много), *и-ха-ха* (парный танец) и др.

Все эти слова объявляются в целом «жаргонными», которым нет места ни в практике печати, ни в толковых словарях. Автор решительно возражает против включения некоторых из этих слов в 9-е издание «Словаря русского языка» С. И. Ожегова. «И почти весь этот уличный жаргон,— пишет он далее,— перенесен в посмертное издание популярнейшего словаря С. И. Ожегова, который до конца жизни старался совершенствовать это общедоступное издание, призванное содействовать повышению культуры речи широких народных масс» [18].

Мнение, высказанное здесь, достаточно характерно для позиции, которую можно было бы условно назвать лексикографическим пуризмом. По форме, чисто внешне

[18] *Шацков С.* Не пора ль и «власть употребить»? — Журналист, 1974, № 12, с. 55.

эта позиция как будто бы прямо противоположна известным положениям писателя А. Югова, активно выступавшего против нормативной лексикографии [19]. А по существу обе позиции смыкаются в ненаучном подходе к лексикографической теории и практике, в предвзятом отношении к объективному характеру функционирования языка и его литературных норм. Дело ведь не в «показе» того или иного слова в нормативном словаре, а в отношении лексикографа к нему, в правильной, объективной и точной его стилистической квалификации.

Однако и у «сторонников» нормативных словарей и у их «противников» удивительно общим оказывается неодолимое отвращение к стилистическим пометам: первые их вообще как бы не замечают (а ведь почти все приведенные выше слова из «Словаря новых слов и значений» сопровождаются детально разработанной системой помет); что касается вторых, то словарные пометы приводят их чуть ли не в ярость, поскольку за ними они видят запрет, отлучение от литературной речи огромного количества выразительных и нужных слов.

С. Шацкову в том же номере «Журналиста» отвечает доцент МГУ А. В. Калинин. Среди прочих возражений категоричному выступлению есть и такие справедливые строки: «Неверно думать, что включение подобной лексики в словарь (речь идет о „черном списке“ и включении слов из него в 9-е издание словаря Ожегова.— *Л. С.*) подрывает корни изящной речи, а стыдливое замалчивание таких слов (нету их, нету! Видите, в словаре нет, значит, и в языке нет) искоренит их употребление в народе» [20].

Трезвая, научная позиция доц. Калинина нашла поддержку читателей «Журналиста». Ссылаясь на свою газетную практику, военный журналист В. Баранец в подборке читательских писем возражает автору статьи «Не пора ль и „власть употребить“?»: «С. Шацков дает красный свет словам типа „капнуть“, „врезать“ и т. п. Это все равно что бросать камешки, вынесенные волной на берег, обратно в море. Сизифов труд. Такого рода слова, хотя они и неблагозвучны, никакой властью не отменишь. Вот я пишу очерк. Главный герой сталкивается с челове-

[19] См.: *Югов А.* Думы о русском слове. М., 1972, с. 114 и др.
[20] *Калинин А.* Во-первых, во-вторых... — Журналист, 1974, № 12, с. 56.

ком резким, невоспитанным. Между ними спор. И если из уст отрицательного типа прозвучит „капнуть на мозги" или „врезать по стопарю", читателю уже, пожалуй, не нужно подробно описывать, что это за персонаж» [21].

В основе «лексикографического пуризма», если отвлечься от субъективных оценок и привычек его сторонников, можно видеть объективное противоречие, о котором говорилось выше: совмещение в толковом словаре нормативного и объективно-лингвистического принципов. Будучи нормативным справочником-энциклопедией, толковый словарь (даже краткого типа) остается сокровищницей языка, описывающей с достаточной полнотой лексику общего употребления. Можно полагать, что многие претензии, возможные теперь и впредь с позиций «лексикографического пуризма», будут сняты, если нормативный толковый словарь в новых его изданиях примет известные новшества.

Во-первых, для него должна быть разработана своеобразная (и динамичная) система стилистических помет и нормативных рекомендаций, отражающих соотношение устаревающих и нарождающихся норм, их соположение и взаимодействие и т. п.

Во-вторых, следует расширить круг нормативных предупреждений или рекомендаций (ср. упомянутый выше § 20 Предисловия к «Словарю русского языка» С. И. Ожегова).

В-третьих, и это, на наш взгляд, самое важное, необходима продуманная и детальная система приложений. В одно из них могли бы войти новые слова и выражения (в том числе и такие неологизмы, которые С. И. Ожегов метко называл «словами-поденками»). При новых изданиях это приложение (как, впрочем, и все другие из предложенных) будет видоизменяться: что-то вообще уйдет, что-то перейдет в основной корпус словаря и что-то добавится вновь.

Другое приложение могло бы включить в себя имена собственные, актуальные для современного употребления (особенно важно при этом отразить переходные случаи от собственных имен к нарицательным: названия марок автомобилей, самолетов, мотоциклов, сортов различных изделий и т. п.).

[21] *Баранец В.* Слышать фальшивую ноту.– Журналист, 1975, № 7, с. 48.

Наконец, в особое приложение должен войти материал нелитературного просторечия, жаргонизированной лексики, а также всего того, что вызывает сомнение с точки зрения традиционной литературной нормы (новые значения или оттенки значений, особенности сочетаемости, управления и т. п.), но достаточно широко и последовательно встречается в устной и письменной речи наших дней, включается в качестве характерологических и стилистических средств в язык художественной литературы.

Этим последним приложением во многом может быть снят конфликт между нормативностью и объективностью (полнотой) толкового словаря. Включение лексики и фразеологии в подобного рода приложения могло бы упорядочить орфографию и употребление речевого материала, по самой своей природе практически некодифицируемого, но так или иначе в отдельных своих частях «поднимающегося» нередко до широкого использования в различных жанрах письменной речи [22].

Использование такого рода приложений в нормативном толковом словаре будет на деле осуществлять оперативную «языковую службу» лексикографов и вместе с тем играть большую воспитательную роль: вынесенные за пределы основного корпуса словаря речевые элементы не смогут быть основой «лексикографического пуризма» и в известной степени оградят языковедов от необоснованных обвинений в «засорении» литературного языка.

Таким образом, не прерывая сложившейся традиции в отечественной лексикографии, можно и нужно и дальше совершенствовать однотомный толковый словарь как универсальное пособие по культуре русской речи.

Надо сказать, что традиция составления нормативных толковых словарей начинается у нас после Великой Октябрьской социалистической революции по инициативе В. И. Ленина, остро понимавшего нужду в словарях литературного языка, рассчитанных на широкого, массового читателя. В дореволюционной России потребность в таких справочниках осознавалась недостаточно (дело ограничивалось словариками «неправильностей»; см. об этом ниже), в то время как, скажем, во Франции «Малый Ларус» насчитывал сотни изданий и практически служил

[22] *Скворцов Л. И.* Орфография просторечных и жаргонных слов.— В кн.: Нерешенные вопросы русского правописания. М., 1974, с. 133 и след.

школьным учебным пособием (именно на этот словарь как пример, «образец» для отечественной лексикографии указывал В. И. Ленин).

Первым толковым нормативным словарем советского периода был, как известно, «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова. В предисловии «От редакции» к словарю говорится: «Составители старались, поскольку это было в их силах, придать словарю характер, отвечающий тем требованиям, которые предъявлял В. И. Ленин к образцовому толковому словарю современного русского литературного языка... Новый словарь — толковый словарь современного русского языка. Основная масса в нем — слова нашей классической литературы от Пушкина до Горького и общепринятого научного, делового и книжного языка, сложившегося в течение 19 века. Но в него включены также и новые слова, вошедшие во всеобщее употребление... Составители старались придать словарю характер образцового, в том смысле, чтобы он помогал усвоить образцовый, правильный язык, а именно, большое внимание обращено в нем на нормативную сторону: правописание, произношение, ударение слов, грамматические указания, полезные для русских и нерусских, указания на сферу употребления слов, имеющие практическое значение для ищущих стилистического руководства...»[23]

Интересно отметить, что новизна материала и новаторство научных лексикографических принципов, воплощенные в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, не во всем были поняты и приняты даже таким знатоком народной и литературной речи, опытным лексикографом и тонким стилистом, каким был В. И. Чернышев. В его рукописной статье-рецензии 1942 г., опубликованной сравнительно недавно [24], проявились вкусовые привычки языковеда и нормализатора старой школы.

Оставив в стороне лексикографическую ценность этой рецензии, обратим внимание на критические замечания Чернышева, носящие собственно нормативный характер. Они интересны и поучительны в различных отношениях: и в смысле выбора фактов, и в смысле перспективной их

[23] Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д. Н. Ушакова, т. 1. М., 1935 (От редакции).

[24] *Чернышев В. И.* Толковый словарь русского языка (Критический очерк).— Избр. труды в 2-х т., т. 1. М., 1970, с. 351 и след.

оценки. На этих примерах хорошо видно, как непросто быть объективным судьей новых языковых фактов, как трудно отказываться от собственных привычек, эстетических и иных критериев — даже человеку, занимающемуся языком профессионально.

В. И. Чернышев выступает против включения в нормативный толковый словарь, в частности, таких слов, как *вдарить, гнус, заусенец, свежатина, стега, студенеть, добрячка, ловкачка* и т. п., *медяк* («У нас есть слово *медяки*, но только в форме множественного числа»), *душещипательный* («обычно говорят: сердещипательный»), *ловчила, мордоворот, старикан, стервоза, шпаргалка, шпаргалить, шпаргалочник, глухомань, запаска, заструга, затыркать, нахамить* и многих других, считая их просторечными или областными и в эстетическом отношении недостойными нормативного словаря. Легко видеть, что к настоящему времени большинство из них стали нейтральными в общем употреблении, их генетическая связь с диалектным или просторечным источником теперь почти или совсем не ощущается (в этом случае ушаковский словарь новаторски закреплял перспективную норму). Далее В. И. Чернышев выступает против сомнительных, «деланных» слов вроде *стенопись, событийность*, а также против новейших иностранных слов, которые «пока что являются неприглашенными гостями в русском языке и держатся в узкой верхушке самой ученой интеллигенции или в кругу немногих специалистов (разрядка наша.— *Л. С.*)». Чернышев полагает, что место таким словам в словаре иностранных слов, а не в словаре литературного русского языка: *аут, бункер, диагностировать, стило*, а также *авизо, автоклав, анамнез, грейдер, драить, каюр, радикулит* и др.

В отношении таких слов Чернышев, исходя из исторической перспективы, предлагал придерживаться разумного сопротивления, планомерного противодействия, поскольку, как полагал он, «внесение подобных более или менее мертвых и темных нерусских элементов, своего рода мишуры, в словари русского литературного языка есть вид признания их значения, есть некоторое одобрение их использования» [25].

[25] *Чернышев В. И.* Указ. соч., с. 362.

Известная субъективная оценочность такого рода явлений, понятная из общих взглядов, вкусов и привычек ученого, для нас теперь совершенно очевидна. Чем же объективно можно объяснить такое отношение специалиста-лексикографа к словарным новшествам ушаковского словаря? Ответ как будто мы находим в той же работе Чернышева.

Русские академические словари конца XVIII и середины XIX в. были словарями чисто литературными. Слова диалектные, просторечные, новые заимствования из чужих языков включались в них весьма ограниченно и с большой разборчивостью.

В дальнейшем развитии русской литературной лексики произошел значительный сдвиг в сторону ее расширения за счет просторечия, областных говоров, заимствований и т. п., но традиционная книжная основа языка сохранилась.

Новые словари русского языка, чтобы не оставаться «лексиконами» литературной речи, должны были воспринять многое из этих новшеств (соответственно их оценив со смысловой, стилистической и эстетической точек зрения). Только идя по этому пути, словарь мог выполнять свою важнейшую функцию — быть сокровищницей языка (в ее литературно обработанном виде). Именно в связи со всем этим наибольшую трудность — и в теории и на практике — представляет правильный выбор «средней линии» для нормативного словаря, расположенного между лексиконами старого типа и сокровищницей языка, в духе В. И. Даля.

Из истории нормализации русского языка

Известный ригоризм, граничащий временами с пуризмом, отрицательным отношением к новым фактам языка и нормативного (общего) употребления, характеризует некоторые конкретные квалификации в книге В. И. Чернышева «Правильность и чистота русской речи».

О слове *солянка*: «Этимология слова *селянка* нам не ясна, но это не дает основания переделывать данное слово в *солянка* по случайному сближению с *соль*. Настоящее, взятое из самого языка слово имеет одну форму *селянка*» [26].

[26] *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи.– Избр. труды, т. 1, с. 450.

О словах *солнцепек* и *солнцеворот*: «При старом и народном *солнопек* (от корня *солн*, который видим в *солнышко*) имеем подновленное *солнцепек* (менее употребительно), составленное под влиянием *солнце*. Сравнить также *солноворот* и *солнцеворот*» [27].

О мн. числе от слова *опенок*: «*Опенок* во множественном числе обыкновенно: *опенки*» [28].

Об употреблении относительных прилагательных с оттенком качественности: «Хотя мы и не допускаем таких выражений, как *осенний сад* вместо „сад осенью" или *вечерние свечи* в значении „свечи, зажигаемые по вечерам", однако встречаем подобные выражения у выдающихся писателей» [29].

Надо особо отметить, что этот важный труд В. И. Чернышева в подавляющем большинстве своих рекомендаций строго научен и объективен, опирается на богатейший материал русской художественной литературы XVIII—XX вв. Эти рекомендации сохраняют свою силу вплоть до наших дней, а сама книга оказала несомненное влияние на теорию и практику нормализации русского литературного языка, предвосхитив и подготовив ряд справочников и пособий последних десятилетий [30].

Научное значение этой работы было ясно специалистам-языковедам уже в момент ее появления. В 1912 г. И. В. Ягич опубликовал в журнале «Archiv für slavische Philologie» (Берлин) рецензию на 1-е издание книги В. И. Чернышева, в которой высоко оценил теоретическую основу этого труда и ее принципиальную новизну. «Если книжка Грота,— отмечал Ягич,— является, главным образом, орфографическим пособием, то рецензируемый труд Чернышева преследует более высокие цели: не просто показать, как правильно писать данные языковые формы, но учесть их постоянное обновление, смену частично устаревших новыми, составляющими совре-

---

[27] Там же, с. 488.
[28] Там же, с. 509.
[29] Там же, с. 532.
[30] Ср., например, словари-справочники, принявшие само название «Правильность русской речи», под ред. С. И. Ожегова; *Грауди-на Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П.* Грамматическая правильность русской речи. М., 1976; *Розенталь Д. Э.* Практическая стилистика русского языка. 3-е изд. М., 1974, а также справочники того же автора и др.

менный запас форм и оборотов (разрядка наша.— *Л. С.*)»[31].

Правила стилистической грамматики для своей книги Чернышев извлекал из трех основных источников нормативной (или «лучшей», как он сам называл ее) русской речи. Во-первых, это общепринятое употребление; во-вторых, произведения образцовых русских писателей и, наконец, в-третьих, это лучшие грамматические исследования русского литературного языка (см. «Введение»).

Автор исходил из известных трудов Ломоносова, Востокова, Буслаева и других русских языковедов. Ссылки на их мнения и оценки чаще всего встречаются в основном корпусе книги; Чернышев сопоставляет эти оценки со своими наблюдениями и квалификациями, критически использует материалы Грота (которого упрекал за плохое знание живого языка и художественных текстов, но ценил как грамматиста).

Интересным и ценным является то, что В. И. Чернышев в своем труде продолжил традиции Ломоносова и Буслаева (известным образом прервавшиеся в период господства грамматики и орфографии Грота), возродил их на обновленном литературном материале. Сопоставления некоторых общетеоретических предпосылок и практических рекомендаций в книгах Буслаева и Чернышева показывают достаточно наглядно преемственную связь в традиции отечественного языкознания[32].

Схоластическая суть старых грамматик и стилистик:

Мертвящее начало, заимствованное в готшедовскую грамматику из грамматики языков мертвых, останется в ней до тех пор, пока она не обратит-

Первоначальная стилистика не затрудняется решением вопроса о правильности и чистоте русской речи. Неправильным считается то, что несоглас-

[31] См. русский перевод в кн.: *Чернышев В. И.* Избр. труды, т. 1, с. 648.

[32] Принятые сокращения: Буслаев, 1881 – *Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. 5-е изд. М., 1881 (цит. по: *Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М., 1959); Буслаев, 1858 — *Буслаев Ф. И.* Предисловие к «Опыту исторической грамматики русского языка. М., 1858 (цит. по тому же изданию); Чернышев, 1914—15 — *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи. 3-е изд. М., 1914–1915 (цит. по: *Чернышев В. И.* Избр. труды, т. 1).

ся к родному языку, как к живому слову (разрядка везде наша.— *Л. С.*), вечно юному и неистощимо богатому, в его видоизменениях исторических и местных... и пока не определит правильного отношения некоторых нововведений и особенностей, внесенных в нашу речь творениями образцовых писателей (Буслаев, 1858, с. 566)

но с грамматикой, а нарушением чистоты речи признается употребление архаизмов, провинциализмов, неологизмов и варваризмов...

Чем ближе к нашему времени, тем больше стилистика удаляется из грамматик... В печати корректоры с большим упорством и непониманием портят язык и слог знаменитых писателей, воображая, что они „исправляют ошибки", переделывая их богатую и свободную русскую речь по плохим школьным грамматикам (Чернышев, 1914—15, с. 444—446).

Роль лучших писателей в развитии литературного языка:

Важнейшею причиною такого невыгодного положения этой методы было странное убеждение грамматистов, что они обязаны учить тому, как должно употреблять грамматические формы родного языка, а не тому, как они действительно употребляются писателями образцовыми. Оттого, хотя составители руководств и следовали образцам, однако, думали стать выше их, подвергая их авторитет

Еще вопрос — что нужно переделывать? — язык ли великих писателей или устарелые и односторонние грамматики, которые его не одобряют. В создании литературного языка талантливые писатели идут впереди, грамматика должна идти вслед за ними... Нередко педантическая стилистика имеет притязание предписывать правила языку вместо того, чтобы изучать его законы, или же делает односторонние и неосновательные выводы из ложно

какому-то высшему суду грамматической критики (Буслаев, 1858, с. 569)

понятых случаев употребления слов и форм. Этим нередко грешили у нас иностранцы, пишущие русские грамматики, например Греч (Чернышев, 1914—15, с. 576).

Комментарии к конкретным языковым фактам:

1) Вариант «был рыбаком — был рыбак»

...Творительным имени существительного означается по большей части признак несущественный, при котором вм. *быть* можно поставить *сделаться, стать, казаться;* напр., „Ломоносов был рыбаком“ (т. е. некоторое время). „Карамзин был историографом“ (т. е. сделан). Именительным же падежом имени существительного означается признак существенный, напр., „Ломоносов был великий человек“ (Буслаев, 1881, с. 469)

Именительный падеж обыкновенно необходим там, где обозначается постоянное, характерное свойство предмета: „Лир был король с головы до ног“ (Овсянико-Куликовский); „Он был лучший министр народного просвещения“. В противоположность этому творительный падеж показывает временное состояние: „Я был и писцом, и казначеем, и бухгалтером, а простаком никогда не бывал“; „Теперь он у нас дьяконом, а прежде был причетником“ (Чернышев, 1914—15, с. 586).

2) Варианты глагольного управления и причины их появления:

...Один и тот же глагол, переходя от одного значения к другому, получает управление тех синонимов, с которыми приводится в связь...

Ждать что и *чего*. Последнее управление ныне употребительнее, но и

Заслуживать чего (в смысле: быть достойным; теперь общепринятое употребление) и заслуживать что (устарелое)...

Ждать чего (общепринятое употребление) и *ждать что* (худшее употребление, но нередко

первое встречается не только в старинном и народном языке, но и у писателей (Буслаев, 1881, с. 504—505)

встречающееся). Ср. однако там же: *Искать чего* и *что: ищу платка* и *ищу платок, ищу воды* и *ищу воду* (родительный обыкновенно означает цель временную, винительный — постоянную[33] (Чернышев, 1914—15, с. 599).

3) Вариант «тому назад — тому»:

Некоторые пуристы запрещали писать и говорить, при обозначении меры прошедшего времени: *тому назад*, предписывая употреблять что-нибудь одно: или *тому*, или *назад*.— Но если так выражается сам Жуковский, осторожнейший из пуристов нашего времени (напр., «Мимо ужасных развалин горы, задавившей, двенадцать лет тому назад, прелестную деревню Goldau, пошел к деревеньке Ловерц», VII, 211),— то к чему же затруднять учащегося лишним правилом в грамматике? (Буслаев, 1858, с. 576)

Сочетание *тому назад* в прежнем языке часто употреблялось с пропуском второго слова; теперь обыкновенно оно является в полном виде.

„Недели три тому пришел я поздно домой“ (Пушкин. Моцарт и Сальери)... Ср.: „Два дни тому назад... пролетел я через Париж“ (Крылов. Почта Духов). „Мимо ужасных развалин горы, задавившей, двенадцать лет тому назад, прелестную деревню...“ (Жуковский. Отрывок из письма о Швейцарии, 211) (Чернышев, 1914—15, с. 576).

В. И. Чернышев мечтал о создании специального «стилистического», как он его называл, словаря русского языка. По его замыслу, он должен был быть достаточно компактным, небольшим по объему. В предисловии ко 2-му изданию «Правильности и чистоты русской речи» (1913) он писал: «В виде дополнения к данному изданию пред-

[33] Ср. сходные нормативные рекомендации в современных словарях-справочниках.

полагается потом выпустить небольшой русский стилистический словарь, который будет содержать те затруднительные для употребления случаи, которые относятся не к грамматической, а к лексической (словарной) стороне языка» [34].

К сожалению, этот интересный замысел так и не был выполнен. Вместе с тем в тексте самой книги Чернышева содержится много материалов для задуманного им словаря, и поэтому она в целом может рассматриваться как первый опыт нормативно-стилистического и сопоставительно-исторического словаря.

Имевшийся в ту пору в отечественном языкознании опыт создания «словарей правильностей» удовлетворить Чернышева, безусловно, не мог. История русских словарей правильностей относится к 30-м годам XIX в. В 1839 г. в Петербурге вышло 1-е издание небольшой книжечки «Справочное место русского слова» А. Н. Греча (без указания автора); без существенных изменений, с небольшими поправками и дополнениями она была выпущена 2-м изданием в 1843 г. В 1855 г. проф. К. П. Зеленецкий издал в Одессе пособие «О русском языке в Новороссийском крае». К 1889 г. относится небольшое издание А. Б. «Отчего? Зачем? Почему? Оскудение и искажение русской речи» (СПб.).

В 1890 г. издается брошюра Н. Г. «Неправильности в современном разговорном, письменном и книжном русском языке» (СПб.). К этим изданиям примыкает работа И. М. Николича «Неправильности в выражениях, допускаемые в современной печати», опубликованная в «Филологических записках» (1877, вып. 1), и др.

В 1886 г. 1-м изданием в Одессе и в 1909 г. вторым изданием в Варшаве выходит книга В. Долопчева «Опыт словаря неправильностей русской разговорной речи (преимущественно в Южной Руси)». С 1911 по 1915 г. выходят четыре издания книги И. И. Огиенко «Словарь неправильных, трудных и сомнительных слов, синонимов и выражений в русской речи» (3-е изд. Киев, 1914; вышло как «значительно дополненное и совершенно переработанное»; 4-е изд. перепечатывалось с 3-го).

---

[34] *Чернышев В. И.* Правильность и чистота русской речи, с. 443–444.

Из всех этих работ только книги Долопчева и Огиенко могут быть названы словарями правильностей в подлинном смысле слова; другие же представляют собой более или менее отрывочные материалы, связанные с употреблением неологизмов, заимствований, вариантных грамматических форм и т. п.

По объему все они были небольшими: 400—600 слов. Словари Долопчева и Огиенко и некоторые из других перечисленных изданий носили учебно-методический характер. Так, книга К. Зеленецкого была издана «по распоряжению попечителя Одесского учебного округа». Словарь Долопчева уже в первом издании был рекомендован министерством просвещения в качестве учебного пособия для средних учебных заведений. Что касается словаря Огиенко, то он в подзаголовке именовался как «Пособие по стилистике русской речи для учащихся и самообразования».

Словари правильностей русской речи XIX — нач. XX в. представляют интерес в различных отношениях. В них находит, в частности, отражение общерусское просторечие XIX в., узус общения, оказывающий влияние на систему литературных норм, хотя и остающийся на их фоне материалом (несмотря в некоторых случаях на значительный стаж) за пределами нормативности, например: *афёра* (вм. *афе́ра*), *ложи́ть*, *благодаря чего* и *согласно чего* (с род. п.), *доку́мент*, *инстру́мент*, *па́ртер*, *одеть* (вм. *надеть*) [35] и мн. др. в словарях Долопчева и Огиенко.

Вместе с тем в них содержатся материалы, характеризующие (позитивно или негативно) движение литературных норм, их изменение во времени, например: «*Карусель*, ж. р. (le carousel, das Carousel). Прежде употр. слово *карусель* в муж. роде: карусель был очень богат, Батюшк.» (И. Огиенко, 1914); «*Рояль*, м. р. и реже ж. р.; род. мн. *туфель* и *туфлей*» (И. Огиенко, 1914) (см. сходные квалификации в словаре Долопчева). Ср. также: «*Поезда́* вместо *по́езды* ныне во всеобщем употреблении, но совершенно неправильно и неизвестно на каком основании» (Н. Г. Неправильности..., 1890, с. 18) и т. п. Эти и подобные им факты имеют несомненное значение для истории

---

[35] Ср.: *Дейтлин Р. М.* Об одной старой ошибке в словоупотреблении (*надеть* и *одеть*).— В кн.: Вопросы культуры речи, вып. 4. М., 1963, с. 110 и след.

русского литературного языка, для изучения и описания исторических изменений литературной нормы [36].

Теоретические основания и предпосылки этих словарей были достаточно пестрыми и неоднозначными (единственное, что их объединяло,— это обращение к академическим словарям как образцу литературной, нормированной речи). Если в словаре Зеленецкого (1855) «за норму и образец чисто русской речи приняты слова и выражения, находящиеся в академическом словаре 1847 года» (см. с. 3—4), то словарь Долопчева (1886) основан «на литературном языке образцовых писателей, теоретических работах Г. П. Павского, Аксакова, Буслаева, Потебни, Грота и других, словарных трудах Ак. Наук и Даля, а за образец устной речи взят говор московский (разрядка наша.— *Л. С.*) (с. III). Понятно, что на таком разнородном исходном материале нельзя было добиться единообразия и объективности нормативных оценок, что и отразилось в противоречивых, а нередко и прямо пуристических рекомендациях и комментариях.

Приведенные ниже примеры в этом смысле достаточно характерны и типичны: *Всего на все,* а не *всего на всего.* Предлог *на* родит. падежа никогда после себя не требует; в данном случае он требует винит. падежа, т. е. *всего на все.* «Да говорю же вам, что их, очевидно, всего на все пять человек». Дост. Бесы. «Всего-на-все разграбили у меня один амбар». Пушк. «У бедного Петруся всего на-все была одна серая свитка». Гог. (И. Огиенко, 1914); *Выглядеть* значит — высматривать, оглядывать тайком, соглядать; очень часто сл. *выглядеть* употр. неправильно — в смысле «иметь вид», «смотреть» (нем. aussehen). Нельзя сказать: *дитя хорошо выглядит,* но — *дитя имеет хороший вид.* «Вы смотрите таким здоровым», Дост. «Часто встречающееся употребление гл. выглядеть в значении немецкого aussehen противно как духу русского языка, так и грамматике», сл. Ан. Н. (там же) [37]; *Козлы* (для пильщиков),

---

[36] Ср.: *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1934, с. 237 и след.

[37] Рецидивы этого запрета см.: *Дранганов П. Д.* О германизме «выглядит» (неправ. форма средн. глаг. наст. вр.) в русском языке.— Изв. 2-го отдел. Акад. наук, 1909, № 1. Критический разбор этой статьи см. в кн.: *Винокур Г. О.* Культура языка. 2-е изд. М., 1929, с. 106 и след.

Пилят дрова на *козла́х* (а не *ко́злах*). Не см[ешивать] со сл[овом] *ко́злы* (у кучера) (там же); *Ужасно* больше употребляется в прямом значении — страшно: «На кладбище ночью ужасно». «Ужасно быть в его положении». Толст. Не должно злоупотреблять особенно частым употреблением *ужасно* в смысле *очень*, *чрезвычайно* и вообще в таких выражениях, где ужасного ничего нет: «Я знал, что он мне ужасно обрадуется». Дост. «Лицами, убором ужасно недоволен он». Пушк. (там же).

В. Долопчев в своем словаре возражал против ударения *без свя́зи*: «*без связи́*, *к Руси́* — род. и дат. падежи с ударением на последнем слоге»; он выступал противником неологизма *заграница*, просторечного *бзик*, школьного арготического *промокашка* (вместо «пропускная бумага»), а также отвергал разные по происхождению и употреблению иноязычные заимствования — *аргумент* (вм. «довод», «доказательство»), *визави* (вм. «напротив», «насупротив»), *драпри* (вм. «занавеска») и т. п.

Изучение старых словарей правильности русской речи со всей очевидностью показывает, что в отношении к нормативности их авторы придерживались в общем-то единой схемы: литературная норма считалась данной, описанной в существующих грамматических пособиях и словарях. Извлеченный из устной и письменной речи (в том числе и из языка писателей) материал, так или иначе «противоречащий» этим источникам, объявлялся ошибочным, неправильным и на основании такого сопоставления запрещался. Практически при таком подходе любое новшество могло быть объявлено ошибкой. Что касается объективных вариантов нормы (орфоэпических, грамматических и др.), то они, во-первых, давались в очень небольшом объеме (в словаре Огиенко несколько шире, чем в словаре Долопчева), а во-вторых, и в этом случае авторы стремились к их нормативной оценке, считая более правильной ту форму, которая представляется «более законною с точки зрения теории языка, более соответствует его духу или же употребляется преимущественно в чистом великорусском говоре» (Долопчев, с. III—IV).

В целом можно видеть, на каком ограниченном материале и на каком невысоком научном уровне выполнялись все эти словари, если сравнить их с материалами книги В. И. Чернышева, появившейся в 1911 г. и широко отразившей выводы русской грамматической науки.

Сам подход авторов дореволюционных словарей правильностей русского языка к анализу материала и принципам его отбора можно охарактеризовать как «нормативно-пуристический». И не случайно поэтому эти словари правильностей называют нередко словарями неправильностей (в соответствии с их содержанием и назначением [38]).

Современные словари правильностей и норма

Наши современные словари правильностей характеризуются принципиально иным подходом, который можно было бы назвать нормативно-объяснительным или нормативно-стилистическим. Традиции этого подхода восходят к книге В. И. Чернышева «Правильность и чистота русской речи».

В 1962 и 1965 гг. вышли два издания словаря-справочника «Правильность русской речи» под ред. проф. С. И. Ожегова, теоретическим основанием которого стало представление о постоянном движении языка, развитии его вместе с развитием общества. «Вопросы культуры речи,— говорится в предисловии к словарю,— нельзя решать на почве личных, субъективных оценок явлений языка... Правильная, объективная оценка современного состояния русского языка и его норм должна опираться не на сумму субъективных мнений, а на анализ исторических закономерностей и современных тенденций развития языка» (От редактора, с. 4).

Источниками материалов для словаря послужила практика газет и журналов, язык художественной и научно-популярной литературы, факты живой разговорной речи. Наиболее удачные статьи словаря представляют собою небольшие исследования нормативно-стилистических тенденций современного русского литературного языка.

Принципы нормативно-стилистического подхода нашли свое дальнейшее развитие в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» под ред. К. С. Горбачевича (Л., 1973) [39]

[38] См.: *Цейтлин Р. М.* О словарях неправильностей XIX – начала XX в.– В кн.: Вопросы культуры речи, вып. 3. М., 1961, с. 176 и след.

[39] См. рецензии Л. К. Граудиной и Л. И. Скворцова в ж. «Рус. язык в школе» (1974, № 1), В. Я. Дерягина в ж. «Вопросы языкознания» (1974, № 2).

и в опыте упоминавшегося частотно-стилистического словаря вариантов «Грамматическая правильность русской речи» Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской [40]. В этих словарях широко используется прием сопоставления с нормой XIX — нач. XX в.; историческая ретроспектива помогает представить современную литературную норму в динамике, точнее и конкретнее оценить и выявить тенденции развития системы литературного языка и его норм. Достоверность и убедительность нормативных рекомендаций и выводов при этом в значительной степени возрастают, а субъективная оценочность сводится к минимуму.

Словарь «Грамматическая правильность русской речи» дает возможность исследователю с достаточной полнотой (во многих случаях исчерпывающе) увидеть и обозреть то или иное грамматическое явление современного русского литературного языка на всем лексическом материале в пределах соответствующей «зоны вариантности».

Нормативно-стилистические характеристики в этом словаре дополняются статистическими показателями [41], которые в сопоставлении друг с другом дают дополнительную информацию о направлении движения и смены объективных норм, их соотношении с кодификацией и т. п. Показать это можно на нескольких примерах, дополненных и прокомментированных в связи с задачами настоящей работы.

Варианты типа *обеих — обоих* (с. 256—257)
185 : 10 94,88% 5,12% 0,00195

Искусственный характер введенных Н. Гречем различий по родам в формах косвенных падежей числительного *оба — обе* подтверждается в словаре примерами из произведений Лермонтова (*по обеим сторонам дороги*) и Гоголя (*под обеими глазами*), многочисленными фактами употребления в современной устной и письменной речи. Идущее из древнерусского языка неразличение по родам форм

[40] См. рецензии С. И. Виноградова в ж. «Рус. язык в школе» (1977, № 2) и В. В. Лопатина в ж. «Рус. речь» (1977, № 4).

[41] В словаре приводятся сведения о частотности каждого варианта как в абсолютных числах (количество употреблений в выборке текстов из 100 тыс. различных вариантов), так и в процентном соотношении, а также об удельном их весе (встречаемости) во всей выборке и тем самым о значимости того или иного явления в современном речевом употреблении.

обоихъ и *обѣихъ* (ср. собирательное *обое*) [42] сохраняется в современной разговорной речи, а в книжно-письменном употреблении — по сложившейся грамматической традиции — разграничивается. Это искусственное в своем истоке разграничение форм *обоих — обеих* по родам закрепляется (через кодификацию) в качестве литературной нормы. Более того, оно стало показателем нормы, ее «лакмусовой бумажкой» (по выражению С. И. Ожегова). Именно об этом свидетельствуют и статистические данные: абсолютное преобладание «правильной» формы над «ошибочной».

Вряд ли поэтому можно считать правомерным следующее спрямленное и социологизированное истолкование этого факта в современном социолого-лингвистическом исследовании: «Утверждающееся равноправие мужчин и женщин ведет и к смешению слов *оба — обе* в косвенных падежах: усиливаются позиции муж. р. Можно часто услышать *обоим девочкам,* но, как правило, никогда не услышишь *обеим мальчикам*» [43].

Здесь, скорее, следует говорить о победе или главенстве одной из форм вне зависимости от общественных явлений и фактов.

Варианты типа *кофе остыл — кофе остыло...* (с. 77 и след.)

17 : 9 65,38% 34,62% 0,00026

В современном русском литературном языке несклоняемые существительные составляют около 350 нарицательных имен (не считая имен собственных, географических названий и сложносокращенных слов). Наименования неодушевленных предметов, как отмечают авторы на основании анализа полного списка, чаще всего относятся к существительным среднего рода. Имеющиеся исключения — как наследие XIX в.— объясняются особенностями грамматической традиции прошлого века.

Вариант *кофе* муж. рода (франц. le café) в XIX в. поддерживался также склоняемыми дублетами *кофей* и *кофий* (ср. также современное уменьшительное *кофеёк*). На основании данных устной и письменной речи, свидетель-

---

[42] См.: *Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М., 1959, с. 240.

[43] Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка. М., 1968, с. 212.

ствующих о формальном «выравнивании» существительного *кофе* по среднему роду, делается следующий общий вывод: «Очевидно, слово *кофе* ждет судьба семантически близкого к нему слова *какао:* еще в начале XX в. *какао* тоже относили к словам мужского рода... сейчас — только к среднему». По-видимому, все это не так очевидно: принадлежность слова *кофе* к муж. роду стала показателем нормы, такой же «лакмусовой бумажкой», как и некоторые другие факты языка.

Статистические данные словаря подтверждают полное преобладание литературной формы *их* над просторечной *ихний* (см. вариант *их работник — ихний работник*: 98,98% — 1,02%; с. 250—251), по поводу которой Б. В. Томашевский в свое время полуоправдательно писал: «Эта форма совершенно запрещена в деловой литературе. Однако в устной речи эта форма вообще не свидетельствует о том, что говорящий не владеет литературным языком и не знает элементарных запретов грамматики. Только в редких случаях в сочетании с другими признаками это слово может являться одной из характерных черт малокультурной речи» [44].

В современном русском литературном языке форма *ихний* стала более «отмеченной» в нормативном отношении и независимо от формы речи характеризует недостаточно высокий уровень литературной речи.

Варианты типа *две основные задачи — две основных задачи* (с. 32—33).

614 : 562 52,21% 47,79% 0,01176

Уточняя некоторые условия употребления каждого из вариантов, авторы справедливо ставят под сомнение рекомендации некоторых пособий, стремящихся разграничить надежную форму прилагательного при существительных мужского и среднего рода, с одной стороны, и при существительных женского — с другой (например: *два высоких холма, три каменных здания*, но *две столовые ложки* и т. п.). Статистическое соотношение форм (практически одинаковое) подтверждает общий вывод о том, что при существительных жен. рода возможны обе формы прилагательного.

В случае вариантов типа *омич — омчанин, горьковец — горьковчанин* (с. 285 и след.) количественно близ-

[44] *Томашевский Б. В.* Стилистика и стихосложение. Л., 1959, с. 153.

кое их распределение (56,90% : 43,10%) свидетельствует об укреплении грамматически «универсального» суффикса *-чанин* в тех случаях, где традиционно допускались только *-ец* или *-ич*.

Варианты типа *с помощью чего — при помощи чего* (с. 57—58)

481 : 54 89,91% 10,09% 0,00535

Авторы указывают на то, что предложные сочетания *с помощью* и *при помощи*, образовавшиеся в XIX в., до настоящего времени не разграничиваются четко по значениям. В количественном же отношении в употреблении решительно преобладает предлог *с помощью*. В чем же причина такого положения? Трудно предположить, чтобы такое рельефное численное противопоставление не поддерживалось внутриязыковыми отношениями. Дело, повидимому, в том, что конструкция *при помощи* не прошла еще того пути «опредложивания», который уже проделала конструкция *с помощью* (ср. старое *помощью* в том же значении — ССРЛЯ, т. 10. М.—Л., 1960, стб. 1206, с примером из Григоровича). В сочетаниях с неодушевленными существительными возможны равнозначные варианты: *открыть дверь с помощью ключа — при помощи ключа — ключом*.

Иное отношение наблюдается в сочетаниях с одушевленными существительными: *построить дом с помощью друзей* (т. е. «вместе с друзьями») — *построить дом при* (*непосредственной*) *помощи друзей* (т. е. «при их поддержке, участии»); *затравить зверя с помощью собак* (т. е. «собаками») — *переправиться через озеро при помощи рыбаков* (т. е. «при их содействии») и т. п.

Варианты типа *в адрес — по адресу* (с. 60—61)

152 : 11 93,86 6,14% 0,00163

В XIX в. конструкции *в адрес* и *по адресу* различались смысловыми оттенками и стилистической окраской. В конкретном и узком значении ‘кому-н., именно этому лицу’ употреблялась конструкция *в адрес*. В более общем значении ‘в отношении кого-н., относительно кого—чего-н.’ и т. п. применялась конструкция *по адресу*. Употребление в этом случае конструкции *в адрес* расценивалось как разговорное и не вполне нормативное. В современном русском литературном языке конструкция *в ад-*

рес, стилистически нейтрализуясь, расширяет объем значения и как бы «поглощает» *по адресу* (последняя конструкция употребляется в устойчивых отрицательных оборотах: *не по адресу, не по тому адресу* и т. п.). Частота употребления также свидетельствует об известном сокращении «зоны вариантности». Вряд ли правомерны поэтому рекомендации упоминавшегося словаря-справочника журналиста «Трудности русского языка» о том, что, «если речь идет о лестных для кого-либо замечаниях, одобрительной оценке кого-либо, следует употреблять выражение *в адрес*, а не *по адресу*» (с. 48—49). Эта рекомендация противоречит реальному материалу, представленному в словаре «Грамматическая правильность...», а также случаям, где оценка прямо может быть не выражена: реплика, замечания, рекомендация, суждение и т. п.

О сходном «сокращении» «зоны вариантности» в пределах словообразовательных типов свидетельствует безусловное преобладание существительных на *-изация* над однозначными существительными на *-изирование* (81,19% : 18,81%; с. 282 и след.; варианты *экранизация — экранизирование*).

Таковы лишь некоторые примеры анализа и интерпретации числовых и фактических материалов, содержащихся в опыте частотно-стилистического словаря вариантов. Сплошное изучение этих материалов поможет уточнить и конкретизировать многие оценки современных нормативных словарей и пособий по практической стилистике русского языка.

Словари «Трудности словоупотребления и варианты нормы русского литературного языка» и «Грамматическая правильность русской речи» по праву можно расценить как серьезные подступы к обобщающей работе по составлению полного нормативно-стилистического словаря современного русского литературного языка. Задача создания такого словаря — как высшего типа нормативных словарей — осознается советскими языковедами во всей ее актуальности и сложности.

Нормативно-стилистический словарь и проблемы его создания

Идея нормативно-стилистического словаря русского языка, в дореволюционное время выдвинутая В. И. Чернышевым (не осуществленный им краткий «стилистиче

ский» словарь), в советскую эпоху наиболее развернуто была представлена в работах Л. В. Щербы, а затем В. В. Виноградова. Особенно широко эта проблема обсуждалась вскоре после завершения издания «Словаря русского языка» АН СССР в 4-х томах — в статьях Ф. П. Филина, Ю. С. Сорокина, А. М. Бабкина, К. С. Горбачевича и др.[45]

Тогда же в план текущих работ Словарного сектора Института русского языка АН СССР была включена эта новая тема. Однако обстоятельства разного рода заставили временно отказаться от ее непосредственного выполнения. Было признано целесообразным провести некоторые предварительные работы (в последующие годы были подготовлены академические синонимические словари, словарь-справочник «Трудности словоупотребления...», велась работа по переизданию толковых словарей), а также дополнительное собирание нового лексического материала и всестороннее обсуждение и уточнение нового замысла. Таким образом сама жизнь подтвердила мнение Л. В. Щербы о том, что задача создания такого рода словаря совершенно особая и во многих отношениях новая и трудная[46].

Об этой задаче — в широком контексте теоретических и практических проблем речевой культуры — писал позднее В. В. Виноградов: «Широкий круг проблем и задач исследования литературной русской речи — как устной, так и письменной — в связи с вопросами речевой культуры может быть освещен на базе и на фоне важного и необходимого, впрочем, у нас до сих пор еще не бывшего даже предметом обсуждения, „Словаря русской речи“ (разрядка наша.— *Л. С.*), в котором нашли бы отражение и истолкование своеобразия и тонкости современного стилистического словоупотребления»[47].

Назначение нормативно-стилистического словаря состоит в последовательной характеристике (описании и квалификации, оценки с нормативной точки зрения)

---

[45] См.: *Филин Ф. П.* О новом толковом словаре русского языка.— Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1963, т. 12, вып. 3; *Горбачевич К. С.* О задачах и общих принципах нормативно-стилистического словаря.— РЯНШ, 1966, № 1; *Сорокин Ю. С.* О нормативно-стилистическом словаре современного русского языка.— ВЯ, 1967, № 5.

[46] *Щерба Л. В.* Указ. соч.

[47] *Виноградов В. В.* Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры.— ВЯ, 1961, № 4.

состояний русской лексики и типических особенностей ее современного употребления. «Нормативно-стилистический словарь,— отмечал Ф. П. Филин,— должен быть „лексикографическим зеркалом" русской литературной лексики в ее современном состоянии, т. е. словарем, в котором должна найти свое отражение лексическая система литературного языка с ее закономерностями»[48].

Трудности теоретического и практического характера, стоящие перед составителями нормативно-стилистического словаря, могут быть представлены в виде следующего круга проблем:

1. Проблемы собственно лексикологические. В нормативно-стилистическом словаре необходимо отразить сложность лексической системы, перекрестное влияние различных отношений внутри нее (структурные, словообразовательные, семантические, синтаксические и др.), а также социальную, территориальную и возрастную дифференциацию лексики в пределах единого языкового коллектива в исторически обозримый период (в пределах двух-трех поколений).

Далее встает вопрос об отношении устойчивых и подвижных элементов лексической системы, центральных и периферийных ее элементов. В литературном языке — в каждый его период — живое, активное словоупотребление сочетается с исторической традицией. Именно это и определяет разграничение «активного и пассивного запаса слов данного литературного языка (различие, которое, к сожалению, не делается ни в каких словарях)»[49].

Это разграничение связано с тем, что Щерба называл «начитанностью соответственного человеческого коллектива, тем кругом произведений, которые обязательно читаются в данном обществе (разрядка наша.— *Л. С.*)»[50]. Важно отметить при этом, что круг читаемых художественных произведений — величина изменчивая во времени и история ее не сводится к постепенному уменьшению, «свертыванию», как это представлялось Щербе (ср. все увеличивающийся в наше

[48] *Филин Ф. П.* Указ. соч., с. 186.

[49] *Щерба Л. В.* Указ. соч. [Этюд I. Основные типы словарей. I. Противоположение первое: словарь академического типа — словарь-справочник (с. 270–271) (в изд. 1974 г. ошибочно: «...ни в каких *случаях*»)].

[50] Там же, с. 271.

время интерес к историческому и культурному прошлому страны среди широких кругов советской общественности, деятельность Общества по охране исторических памятников, Общества книголюбов и других организаций). Однако и в обычном круге чтения, в актуальной для нас литературе всегда встречаются слова или значения (оттенки значений) слов, которые не свойственны современному литературному языку, а то и просто противоречат современному употреблению. В словари нормативного типа, полагал Щерба, такие факты не должны попадать: «...в таком словаре нельзя давать, например, всего Пушкина, а только то из Пушкина, что не противоречит сегодняшнему употреблению. И это потому, что эти противоречия никак не входят в систему современного языка, являясь, с нашей точки зрения, не архаизмами, а неправильностями, непонятными ошибками (разрядка наша.— *Л. С.*)»[51]. Как видим, в этом случае, проблемы лексикологического характера прямо смыкаются с вопросами нормативного порядка.

2. Проблемы собственно (или по преимуществу) лексикографические. Для нормативно-стилистического словаря специфически и достаточно остро встает вопрос о хронологических рамках материала и в связи с этим круга источников.

Из сказанного в предыдущем разделе ясно, что в материал словаря должно включаться все живое и актуальное из прошлого — без устаревшей, ушедшей из употребления лексики XIX в. и всего того временного, «сиюминутного», что было в ней вплоть до середины XX в. Вряд ли это должна быть «моментальная фотография» словоупотребления нашей эпохи, как полагает Ю. С. Сорокин[52]. Скорее, это действительно «лексикографическое зеркало» жизни языка в наше время, по образному выражению Ф. П. Филина.

Следующий вопрос — об объеме и составе нормативно-стилистического словаря. Как будто довольно общим оказывается мнение участников обсуждения по поводу объема словаря: совмещая в себе историческую широту материала с относительной компактностью, обозримостью, нормативно-стилистический словарь должен прибли-

[51] Там же, с. 272.
[52] *Сорокин Ю. С.* Указ. соч., с. 27.

жаться к размерам толкового словаря среднего типа, объемом в 3—4 тома.

Наконец, встает проблема стилистических помет, т. е. нормативно-стилистической характеристики лексики применительно к задачам словаря. Трудность здесь состоит в том, что в реальном, живом употреблении происходит постоянное и активное взаимодействие, взаимопроникновение лексики «книжной» и «разговорной»; однако это не снимает для составителей задачи описания во взаимном отграничении лексики по преимуществу книжно-письменной, с одной стороны, и устно-разговорной — с другой. Для нормативно-стилистического словаря должна быть выработана более тонкая и эластичная система стилистических помет по сравнению, скажем, с существующими толковыми словарями; в ней должна прослеживаться и высвечиваться тенденция движения стилистической нормы в сложном взаимодействии функциональных стилей. Функционально-стилистическая характеристика слов, заключенная в стилистических пометах для областной, просторечной, специальной, жаргонной и т. п. по происхождению лексики, не должна подменяться оценочно-генетической их характеристикой.

3. Проблемы нормативного характера. Особенность нормативно-стилистического словаря, вытекающая из его задачи и назначения, состоит в том, что он широко и последовательно включает в себя «отрицательный языковой материал» (термин Л. В. Щербы) — не только в виде типичных ошибок и нарушений нормы, но также и в виде «естественных» в живом общении, но неупотребительных форм, словосочетаний и т. п. Весь этот материал должен быть тщательно отобран и квалифицирован с нормативной точки зрения. Нормативно-стилистический словарь должен показать не только костяк устоявшихся литературных норм, но и перспективную (потенциальную, реализуемую) норму — в соответствии с новыми потребностями выражения мысли, чувства, эстетического или художественного творчества и т. п. В этом отношении он должен преодолеть недостатки обычных словарей, запаздывающих с отражением новых явлений в лексике и семантике, нередко описывающих вчерашний день стилистической системы и стилистического функционирования слов литературного употребления. Он призван быть современным, объективным и актуальным в самом строгом и

точном значении этих слов. Только тогда он становится действенным орудием повышения речевой культуры и самого воспитания ее как активного отношения к смысловым и образным богатствам родного языка.

«В основе современной нормы,— писал Ф. П. Филин,— лежит взаимоотношение между литературной языковой традицией употребления слова и широкой распространенностью новых особенностей этого слова среди носителей литературного языка в настоящее время. Как известно, взаимоотношение это часто противоречиво, границы между старым и новым подвижны. Задача нормативного словаря — хранить устоявшееся, образцовое, оберегать его от разного рода неправильностей и искажений и в то же время способствовать закреплению побеждающего нового, прогрессивного, устранять отжившее, не соответствующее общенародной речевой практике.

Разумеется, такая установка вовсе не предполагает исключения из словаря всего колеблющегося, отклоняющегося от общепринятого, богатств разговорно-просторечной лексики... Важно показать чрезвычайно богатое разнообразие современной русской лексики, чтобы читатель словаря мог знать, когда и что применимо и когда и чего следует избегать» [53].

Нормативно-стилистический словарь — это вершина нормативной лексикографической теории и практики. Можно полагать, что подготовительная работа по созданию широко задуманного предприятия к настоящему времени практически закончена. Среди непосредственных источников полного нормативно-стилистического словаря русского литературного языка прежде всего должны быть названы такие книги, как «Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы», подготовленный в Институте русского языка АН СССР под руководством Р. И. Аванесова; «Учебный словарь сочетаемости слов русского языка», подготовленный в Институте русского языка им. А. С. Пушкина под руководством П. Н. Денисова и В. В. Морковкина [54]; названные и охарактеризованные выше словари «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» и «Грамматическая правильность русской

[53] *Филин Ф. П.* Указ. соч., с. 189.

[54] См.: Проблемы учебной лексикографии. Под ред. П. Н. Денисова и В. В. Морковкина. М., 1977.

речи». Кроме того, может быть использован и расширен опыт таких словарей, как «Правильность русской речи», «Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка», и других нормативных изданий.

В нормативно-стилистическом словаре современного русского языка не может быть представлена простая сводка материалов перечисленных здесь книг. Их материал должен быть обработан в плане единого нормативного подхода и взгляда. Литературные нормы должны предстать в нем в сложной и стройной системе парадигматических и синтагматических отношений, в живом взаимодействии старого и нового, устоявшегося и нарождающегося, стилистически и жанрово ограниченного или свободно употребляющегося вне каких-либо ограничений и условий, с широким лингвистическим комментарием бытующих общественных мнений, оценок языковых фактов, мнимых «запретов» и т. п. Выполнить эту задачу можно лишь с опорой на теоретические исследования и на многолетние и целенаправленные живые наблюдения и обобщения фактов речевого употребления («служба русского языка»).

Успехи советской исторической лексикографии, особенно ярко проявившиеся в последние годы (подготовка этимологических и исторических словарей с древнейших времен до XX в. включительно), выдвигают на передний план необходимость создания академического нормативно-стилистического словаря современного русского литературного языка как одну из ближайших задач советских языковедов.

Перспективы нормативной лексикографии

Обзор нормативных словарей современного русского языка целесообразно завершить указанием на некоторые возможные новые словари этого типа.

Актуальной является задача создания синтаксического словаря русского языка («синтаксической правильности русской речи»), в котором широко и полно должны быть представлены условия сочетаемости слов и форм в современном литературном употреблении[55]. Работа над таким

[55] Словарь сочетаемости, подготовленный в Институте русского языка им. А. С. Пушкина и преследующий главным образом учебные цели, этих вопросов во всей их полноте, конечно, не

словарем начинает развертываться в секторе культуры русской речи Института русского языка АН СССР.

Подготовка академического словаря сочетаемости не исключает практической важности специальных кратких словарей «синтаксической правильности» и «синтаксических трудностей». В частности, ощущается большая нужда (особенно для практических работников различных учреждений при подготовке текстов деловых бумаг и т. п.) в компактном словаре-справочнике по глагольному и именному управлению современного русского литературного языка: «Управление глаголов и имен русского языка. Словарь-справочник». В этом словаре нашли бы место и истолкование (с подробным нормативным комментарием) многообразные случаи «сильного» и «слабого» управления, разного управления для разных значений одного и того же слова (*удостоить*, *удостоиться чего* и *чем*) и т. п.

Важной и актуальной представляется идея специального «Стилистического словаря русского языка». В этом словаре может быть представлена и описана русская лексика с точки зрения ее стилистической окраски, условий употребления и т. п. В него должен быть включен многочисленный «отрицательный языковой материал» — неуместного (устойчивого, типичного) использования стилистически окрашенных слов в нейтральных контекстах: *вручить*, *возвести*, *поведать*, *трудиться* и т. п.[56]

Интересный опыт словаря правильностей общего типа представлен в словаре польских языковедов: «Словарь правильной польской речи»[57]. Однотомный словарь большого объема (1056 с.) представляет собой своеобразную энциклопедию правильности польского языка. В нем широко и последовательно даются справки орфографического, орфоэпического, грамматического, стилистического и семантического характера. Особенностью словаря является то, что в нем содержится (в виде словарных статей на своем месте в алфавите) подробное толкование лингвистических и собственно грамматических терминов и понятий: «норма языковая», «имя существительное», «ошибки языковые» (с описанием их типологии), «степени сравнения»;

ре́шает (см.: Учебный словарь сочетаемости слов русского языка. М., 1978).

[56] См. описание этих и подобных слов в словаре-справочнике «Правильность русской речи».

[57] Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa, 1973.

правила употребления прописных и строчных букв и др. Значение такого учебно-теоретического и практического пособия по культуре речи совершенно неоспоримо.

Описанные в настоящей главе нормативные словари-справочники намеренно ограничены преимущественно кругом пособий, адресованных русскому читателю (или тем, кто хорошо владеет русским языком, практически как родным).

Учебные словари-справочники для нерусских строятся на иных методических и лексикографических основаниях, опираются на теорию и практику учебной лексикографии — научной и прикладной дисциплины, успешно развивающейся в последние годы [58].

Толковые и специальные нормативные словари русского языка содержат неоценимый по своей важности материал, связанный с историей развития, становления изменения самих объективных норм, а также с историей нормализаторских усилий, проявляющихся и осуществляемых с различных позиций в разные эпохи развития языка. Сопоставительное изучение и описание такого рода фактов — материал для интересных и полезных исследований новых поколений языковедов.

Значительной оказывается нормализаторская (и нормализующая) роль словарей и в собственно синхронном плане. Положительные и известные отрицательные стороны этой роли в свое время были указаны Л. В. Щербой: «В чем же должна состоять нормализаторская роль нормативного словаря? В поддержании всех живых норм языка, особенно стилистических (без этих последних литературный язык становится шарманкой, неспособной выражать какие-либо оттенки мысли); далее, в ниспровержении традиции там, где она мешает выражению новой идеологии; далее, в поддержании новых созревших норм там, где проявлению их мешает бессмысленная косность. Все это происходит помимо всяких нормативных словарей; однако эти последние могут помогать естественному ходу вещей,

---

[58] См., например: Вопросы учебной лексикографии. М., 1969; *Денисов П. Н.* Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии. М., 1974; *Он же.* Основные проблемы теории лексикографии. Автореф. докт. дис. М., 1976; Проблемы учебной лексикографии и др.

а могут и мешать ему, направляя развитие языка по ложным путям»[59].

Точнее здесь говорить, конечно, не о развитии самого языка, а о направлении кодификации, нормативного воздействия на язык, однако общая мысль об ответственности словарного дела и о необходимости «перспективной» языковой политики предельно ясна.

Советские ученые-языковеды восприняли как завет в своей нормализаторской деятельности положение Л. В. Щербы о вреде излишней нормализации, т. е. об излишне детализированной, усложняющей общение многочисленными и не всегда оправданными «запретами», заграждающей путь живым тенденциям, и фактам речи. Принципиальный антипуризм лежит в основе советской нормативной лексикографии и является одновременно и ее характерной чертой, и важным научно-методологическим достижением.

Новые издания нормативных словарей-справочников, уточняя рекомендации своих предшественников и никак не противореча им, следуют живому литературному словоупотреблению и объективным процессам «олитературивания» или «нейтрализации» языковых элементов, традиционно кодифицируемых в качестве нелитературных или недостаточно литературных. (Отдельные случаи непоследовательности или излишнего запретительства, граничащего с пуризмом, будут оговорены ниже.)

Приведем наиболее показательные примеры динамики нормативных помет в словарях-справочниках и в однотомном словаре в 50—70-е годы[60]:

---

[59] *Щерба Л. В.* Указ. соч., с. 277—278.

[60] Принятые сокращения: Рус. лит. произн. и уд., 1959 — Русское литературное произношение и ударение. Словарь-справочник. Под ред. Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова. М., 1959; Правильн. рус. р., 1965 – Правильность русской речи. Словарь-справочник. Сост. Л. П. Крысин и Л. И. Скворцов. Под ред. С. И. Ожегова. 2-е изд., испр. и доп. М., 1965; Сл. Ож., 1972 — *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 9-е изд., испр. и доп. Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1972; Трудн. сл. и вар. норм, 1973 – Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь-справочник. Под ред. К. С. Горбачевича. Л., 1973; Орфограф. сл., 1974 – Орфографический словарь русского языка. 13-е изд., испр. и доп. Под ред. С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко и Л. И. Скворцова. М., 1974; Сл. трудн., 1976 – *Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.* Словарь трудностей русского языка. М., 1976.

а) шаг от запретительной пометы к допустимому варианту литературной нормы или возможному, но стилистически ограниченному (сниженному) в общелитературном употреблении:

комба́йнер (не комбайнёр) (Рус. лит. произн. и уд., 1959); разг. комбайнёр (Правильн. рус. р., 1965); ж. комба́йнерка и (разг.) комбайнёрша (Сл. Ож., 1972); доп. комбайнёр (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); разг. комбайнёр (Сл. трудн., 1976);

пла́нёр (не пла́нер) (Рус. лит. произн. и уд., 1959); разг. пла́нер (Правильн. рус. р., 1965); доп. пла́нер (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); разг. пла́нер (Сл. трудн., 1976);

и́шиас (не ишиа́с) (Рус. лит. произн. и уд., 1959); разг. ишиа́с (Правильн. рус. р., 1965; Трудн. сл. и вар. норм, 1973; Сл. трудн., 1976);

акушёр (Рус. лит. произн. и уд., 1959); не акуше́р (Правильн. рус. р., 1965); акуше́р и устаревающее акушёр (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); разг. акуше́р (Сл. трудн., 1976); орфоэпическая норма изменяется под влиянием литературных акуше́рка, акуше́рство, акуше́рствовать, акуше́рский и т. п.;

раку́рс (не ра́курс) (Рус. лит. произн. и уд., 1959); не ра́курс (Правильн. рус. р., 1965); доп. ра́курс (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); ра́ку́рс (Орфограф. сл., 1974); разг. ра́курс (Сл. трудн., 1976);

кулина́рия (не кулинари́я) (Рус. лит. произн. и уд., 1959); разг. кулинари́я (Правильн. рус. р., 1965; Трудн. сл. и вар. норм, 1973; Сл. трудн., 1976);

симметри́я (не симме́трия) (Рус. лит. произн. и уд., 1959; Правильн. рус. р., 1965); доп. симме́трия (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); разг. симме́трия (Сл. трудн., 1976);

фено́мен (не феноме́н) (Рус. лит. произн. и уд., 1959; Правильн. рус. р., 1965); доп. феноме́н (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); устар. и разг. феноме́н (Сл. трудн., 1976). Помета «устар.» (трудно совместимая с «разг.») в последнем справочнике является, очевидно, данью лексикографической традиции (ср. в ССРЛЯ: фено́мен и устар. феноме́н; т. 16. М.— Л., 1964, стб. 1308);

гренки́, -о́в (не гре́нки, -нок) (Рус. лит. произн. и уд., 1959); разг. гре́нки, -ок; под влиянием ед. гре́нка, -и, ж. (Правильн. рус. р., 1965); разг. гре́нки (Сл. Ож., 1972);

не гре́нки, гре́нок (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); разг. гре́нки, -нок (Сл. трудн., 1976). Запретительная помета в словаре-справочнике «Трудности словоупотребления...», по-видимому, излишне категорична для этого слова обиходно-разговорной речи. Ср. аналогичную картину в следующем слове: те́фтели (не тефте́ли) (Рус. лит. произн. и уд., 1959; Правильн. рус. р., 1965; Труд. сл. и вар. норм, 1973); разг. тефте́ли (Сл. трудн., 1976);

нормирова́ть (не норми́ровать) (Рус. лит. произн. и уд., 1959; Правильн. рус. р., 1965); доп. норми́ровать (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); разг. норми́ровать (Сл. трудн., 1976);

премирова́ть (не преми́ровать) (Рус. лит. произн. и уд., 1959; Правильн. рус. р., 1965); доп. преми́ровать (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); разг. преми́ровать (Сл. трудн., 1976);

ржа́веть (не ржаве́ть) (Рус. лит. произн. и уд., 1959); разг. ржаве́ть (Правильн. рус. р., 1965); доп. ржаве́ть (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); разг. ржаве́ть (Сл. трудн., 1976);

глуши́ть, глуши́шь (не глу́шишь) (Рус. лит. произн. и уд., 1959); разг. глу́шишь (Правильн. рус. р., 1965); глу́шишь, устаревающее глуши́шь (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); глу́ши́т (Орфограф. сл., 1974); разг. глу́шишь (Сл. трудн., 1976);

звони́ть, звони́шь (не зво́нишь) (Рус. лит. произн. и уд., 1959); разг. зво́нишь (Правильн. рус. р., 1965; Трудн. сл. и вар. норм, 1973; Сл. трудн., 1976);

крени́ть, крени́шь (не кре́нишь) (Рус. лит. произн. и уд., 1959); разг. кре́нишь (Правильн. рус. р., 1965; Трудн. сл. и вар. норм, 1973); не кре́нишь (Сл. трудн., 1976). Рекомендация последнего словаря-справочника выпадает из системы аналогичных случаев (см. выше) и представляется излишне категоричной;

оле́нина (не олени́на) (Рус. лит. произн. и уд., 1959); доп. олени́на (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); не олени́на (Сл. трудн., 1976). Эта последняя запретительная помета также представляется излишне строгой и недостаточно обоснованной (ср. аналогичные образования: осетри́на, кабани́на, лососи́на и т. п.);

о́куневый (не окунёвый) (Рус. лит. произн. и уд., 1959; Правильн. рус. р., 1965); разг. окунёвый (Сл. Ож.,

1972); доп. окунёвый (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); окунёвый (Орфограф. сл., 1974); не окунёвый (Сл. трудн., 1976). Последняя запретительная помета не только категорична, но и не дифференцирована: о́куневый и (доп.) окунёвый; но: семейство о́куневых (см. нашу заметку «О́куневый или окунёвый?» в ж. «Рус. речь», 1976, № 6, с. 34—35);

жёлчь (не же́лчь) (Рус. лит. произн. и уд., 1959; Правильн. рус. р., 1965); доп. же́лчь (Трудн. сл. и вар. норм, 1973; Сл. трудн., 1976);

б) шаг от запретительной (или предупредительной) пометы к новой норме или новым нормативным отношениям в пределах вариантов — иногда с прямо противоположными их оценками:

дебаркаде́р (в проф. речи дебарка́дер) (Рус. лит. произн. и уд., 1959; Правильн. рус. р., 1965); и дебарка́дер (Сл. Ож., 1972); дебарка́дер и устаревающее дебаркаде́р (Трудн. сл. и вар. норм, 1973), дебарка́де́р (Орфограф. сл., 1974); и дебарка́дер (Сл. трудн., 1976);

великовозра́стный (Рус. лит. произн. и уд., 1959); не великово́зрастный (Правильн. рус. р., 1965); великово́зрастный и (устар.) великовозра́стный (Сл. Ож., 1972; Трудн. сл. и вар. норм, 1973; Сл. трудн., 1976); великово́зра́стный (Орфограф. сл., 1974);

ло́сось и доп. *лосо́сь* (Рус. лит. произн. и уд., 1959; Правильн. рус. р., 1965); лосо́сь и *ло́сось* (Сл. Ож., 1972; Трудн. сл. и вар. норм, 1973; Сл. трудн., 1976); ло́со́сь (Орфограф. сл., 1974);

про́сека, -и, *ж* (Рус. лит. произн. и уд., 1959); не про́сек, -а, *м* (Правильн. рус. р., 1965); про́сека (и про́сек) (Сл. Ож., 1972; Трудн. сл. и вар. норм, 1973); про́сека и (реже) про́сек (Сл. трудн., 1976);

бре́згать (разг. бре́зговать) (Рус. лит. произн. и уд., 1959; Правильн. рус. р., 1965); бре́згать и бре́зговать (Трудн. сл. и вар. норм, 1973);

бредово́й (не бредо́вый) (Рус. лит. произн. и уд., 1959); разг. бредо́вый (Правильн. рус. р., 1965; Сл. Ож., 1972; Сл. трудн., 1976); и бредо́вый (Трудн. сл. и вар. норм, 1973);

ба́рхатка (разг. бархо́тка) (Рус. лит. произн. и уд., 1959; Правильн. рус. р., 1965); и бархо́тка (Сл. Ож., 1972; Орфограф. сл., 1974);

привóд (не прúвод) (Рус. лит. произн. и уд., 1959); привóд (действие по глаголу привести) и прúвод (устройство) (Правильн. рус. р., 1965); привóд и доп. прúвод (устройство) (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); привóд и (тех.) прúвóд (Орфограф. сл., 1974).

Известные противоречия характеризуют нормативную лексикографическую подачу слов *договор* и *приговор: договóр*, мн. договóры (разг. дóговор, мн. договорá); *приговóр* (разг. прúговор) (Рус. лит. произн. и уд., 1959; Правильн. рус. р., 1965; Сл. трудн., 1976); но: разг. дóговор; и прúговор (Сл. Ож., 1972); разг. дóговор; не (!) прúговор (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); и дóговор; приговóр (Орфограф. сл., 1974). Думается, вернее было бы квалифицировать *дóговор* и *прúговор* как одинаково разговорные варианты к общелитературным *договóр* и *приговóр*. Ср. обычные: *дóговор* (и *договóр*) *о соцсоревновании; соцдоговорá* и т. п., но: *договóр о ненападении* (между государствами); *взаимовыгодные договóры и соглашения* (международного характера) и т. п.

Надо сказать, что движение нормативно-стилистических помет в нормативных словарях относится только к явлениям потенциальной (перспективной) нормы и не захватывает многочисленных случаев отступлений от литературной нормы под влиянием ложных аналогий, искажений диалектного и просторечного характера и т. п. Даже при массовом воспроизведении в живой речи устойчивых нелитературных особенностей орфоэпического и иного характера нормативные словари обычно не спешат с включением их в число стилистически сниженных вариантов общелитературной нормы, ограничиваясь запретительной пометой «не», например: *вéчеря* (не вечéря); *обеспéчение* (не обеспечéние); *огнúво* (не óгниво); *околёсица* (не околéсица); *пúхта* (не пихтá); *острогá* (не острóга); *столя́р* (не стóляр); *узаконéние* (не узакóнение); *хребéт* (не хребёт); *гéнезис* (не генéзис); *гравёр* (не грáвер), *диспансéр* (не диспáнсер); *зачерствéть* (не зачéрстветь); *наудúть* (не наýдить); *ходатáйствовать* (не ходатáйствовать); *некролóг* (не некрóлог); *растрýб* (не рáструб); *револьвéр* (не револьвéр); *сúлос* (не силóс); *цемéнт* (не цéмент); *шофёр* (не шóфер); *экспéрт* (не э́ксперт); *гéрбовый* (не гербóвый); *просмóтровый* (не просмотрóвый); *заплéсневелый* (не заплесневéлый); *смéтливый, смéтливость* (не сметлúвый, не сметлúвость); *станкóвый* (не стáнковый); *втрúдо-*

рога (не втридо́рога); *торфя́ни́к* (не торфя́ник); *упрощённо* (не упро́щенно) и т. п.

Такого рода случаи можно было бы назвать — в отличие от реальных «зон вариантности» — «потенциальными зонами вариантности». Объективное и последовательное выделение этих зон должно стать предметом специальных исследований.

Живые наблюдения над современной речью, использование метода анкетирования (и опроса) разных групп населения помогут очертить границы потенциальных вариантных зон. Показательны в этом смысле опросы-подсчеты, проведенные для таких случаев Л. П. Катлинской [61]. Опрос дал следующее количественное распределение для некоторых из рассмотренных нами вариантов: *вече́ря/ве́черя* — 21:6; *гене́зис/ге́незис* — 25:5; *заплесневе́лый/запле́сневелый* — 25:5; *обеспече́ние/обеспе́чение* — 25:4; *норми́ровать/нормирова́ть* — 22:7; *окунёвое* (филе)*/о́куневое* — 28:1; *олени́на/оле́нина* — 25:4. Преобладание в живом употреблении норм, традиционно отвергаемых словарями-справочниками или расцениваемых ими как стилистически сниженные, говорит само за себя. Интересно, что в случае с *он звони́т* (по телефону)*/зво́нит* преобладающее отношение в пользу литературно-традиционного *звони́т* (29:1) свидетельствует о том, что для опрашиваемых этот факт известен как показатель, «сигнал» нормы («лакмусовая бумажка» нормы, по С. И. Ожегову).

Объективным показателем потенциальной зоны вариантности можно считать не только единодушное отрицательное отношение словарей-справочников к тому или иному варианту, но и попытки так или иначе квалифицировать материал, традиционно относимый к ненормативной сфере речи. Например, помета «разг.» для *сметли́вый* и *сметли́вость* (Сл. трудн., 1976); «разг.» для *ти́гровый* (там же); «в сочет. со сл. пулемет: *ста́нковый* и реже *станко́вый*» (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); разг. *обеспече́ние* (там же); разг. *танцевщи́ца* (Правильн. рус. р., 1965); «в проф. просторечии *гра́вер*» (Трудн. сл. и вар. норм, 1973); доп. *костюми́ровать* (там же); разг. *ра́струб* (Сл. трудн., 1976); разг. *ревбльвер* (Правильн. рус. р., 1965); устар. *ревбль-*

[61] См.: *Катлинская Л. П.* Нормативные пометы в словарях и реальное речевое употребление.— В кн.: Литературная норма и просторечие. М., 1977.

вер (Сл. трудн., 1976); разг. мн. *шоферá, -óв* (Правильн. рус. р., 1965); прост. мн. *шоферá, -ов* (Сл. трудн., 1976); проф. *просмотрóвый* (там же) и т. п.

Потенциальную зону вариантности (отражающую перспективную норму) следует отличать от типичных отклонений от литературной нормы, случаев ее искажения и т. п. В принципе явления вроде таких ошибок речи, как *пинжак, поброюсь, лаболатория, колидор, транвай, бонба, битон, компроментировать, ревизионизьм* и др., не должны включаться в нормативные словари-справочники: место им в учебных словарях разных типов, так как ни «трудностей», ни «вариантов» (хотя бы потенциальных) они в строгом смысле не представляют и лишь засоряют и отягощают словники книг, рассчитанных на достаточно высокий уровень образованности читателей.

Словари — универсальные пособия по культуре речи

Создание нормативных словарей-справочников, объективно отражающих функционирование и неуклонное развитие литературных норм — важное научное, просветительное и общекультурное дело. Теория и практика советской нормативной лексикографии со всей очевидностью подтверждают это. Сложность и трудоемкость лексикографической работы, обилие стоящих перед ней задач показывают, что вопросы литературного языка, литературных норм и языковой культуры в целом нельзя решать категорично и с прямолинейной легкостью, как это иногда делается нашими современниками. Писатель А. Югов искренне был убежден в том, что любая «нормативная лексикография — пережиток». И далее он писал: «Мы утверждали и утверждаем: весь язык русского народа литературен. Понимать это следует так: одна его половина — осуществленно литературная, а другая — потенциально литературная. Одна — успевшая вокнижиться, а другая — нет» [62].

Совершенно очевидно, что язык не состоит из «половинок». Литературно осуществленной его части противопоставляется не весь остальной язык, а лишь то из него, что

---

[62] *Югов А.* О мнимой стилистике.— Нева, 1960, № 5; *Он же.* Думы о русском слове (гл. «О мнимой стилистике», с. 112 и след.)

в соответствии с национальным духом, грамматическим строем, стилистической и смысловой потребностью может войти или практически входит в сферу нормативного употребления.

Объявлять весь язык «литературным» — в теории значит ничего не сказать, а на практике — значит отказаться от литературного строительства в национальном языке, полностью подчиниться власти речевой стихии, предать забвению призывы Пушкина, Тургенева, Горького и других деятелей литературы и культуры оберегать, сохранять и развивать литературную речь — вершину общенационального языка.

Можно было бы понять позицию А. Югова как борьбу за свободу для художника-писателя пользоваться всеми возможными средствами национального языка, всем его лексическим и стилистическим богатством. Но, во-первых, пользоваться языком надо умело, а, во-вторых, свобода художественного слова в языковом отношении, как мы уже видели, далеко не беспредельна.

Великий пролетарский писатель М. Горький считал, что каждый литератор обязан бороться против засорения русского литературного языка (и в первую очередь языка художественной литературы) «неудачными местными речениями и вообще словесной шелухой». Он горячо возражал писателю Ф. Панферову, который «почему-то думает, что над русской литературой все еще тяготеет словарь Даля, который вообще не тяготел над ней», и который «как будто забыл, что литература наша обладает богатым языковым материалом „народников", а также лексиконами таких своеобразных стилистов, как Герцен, Некрасов, Тургенев, Салтыков, Лесков, Г. Успенский, Чехов» (По поводу одной дискуссии). Словари вообще не «тяготеют» над языком художественной литературы, и тем более странно слышать из уст писателя сетования по поводу того, что ушаковский словарь «является жерновом (?) на шее у писателей и редакторов» [63].

Удивительны и другие жалобы — по поводу якобы «насильственного сокращения» (!) русского языка, — основанные на простых арифметических подсчетах и сравнениях словников в словаре В. И. Даля (более 200 тыс. слов), словаре под ред. Д. Н. Ушакова (85 тыс. слов), 17-томном

[63] *Югов А.* Думы о русском слове, с. 129.

академическом (120 тыс. слов) и однотомном С. И. Ожегова (53 тыс. слов в прежних изданиях) — словарях, совершенно различных как по составу, так и по назначению.

Нельзя, конечно, сводить все дело к простому подсчету слов, так как цифры здесь практически ни о чем не говорят. Нельзя также и стилистические пометы в словарях относить лишь к одним запрещениям (как это пытался делать А. Югов). Пометами «устарелое», «новое», «областное», «просторечное», «разговорное» и т. п. проводится тонкая нюансировка свойств и отношений внутри лексической системы; с их помощью дается лишь рекомендация, совет для употребления слов и выражений и отнюдь не преследуются цели искоренения, запрещения или, напротив, их насильственного внедрения в общий речевой обиход.

Составление толковых словарей языка и нормативных словарей-справочников — важное национальное дело; их выпуски всегда составляют событие в культурной жизни общества. В создании толковых словарей литературного языка участвуют специалисты различных областей знаний, крупнейшие представители отечественной науки. Известный польский славист акад. В. Дорошевский, выступая на совещании по итогам работы над «Словарем современного русского литературного языка» в 17-ти томах, хорошо и метко сказал о том, что словарное дело, или лексикография, есть гуманистическое звено всех наук и форма активного включения языковедов в общественное мышление как социальный процесс [64].

Что касается нормативной стороны словарного дела, то уже акад. Л. В. Щерба отмечал известное недоразумение, связанное с неправильным противопоставлением «нормативного» словаря «описательному»: «Хороший нормативный словарь не придумывает нормы, а описывает ту, которая существует в языке, и уж ни в коем случае не должен ломать эту последнюю. Может быть, норму трудно иногда подметить, но это уж несчастье исследователя и не имеет никакого отношения к принципиальной стороне дела» [65].

---

[64] РЯШ, 1966, № 4, с. 103.

[65] *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность, с. 276.

Пушкин называл толковый словарь «уложением языка», т. е. сводом его законов и правил. «Всякое слово, получающее место в лексиконе языка, есть событие в области мысли»,— писал Жуковский.

Событиями в области современной мировой мысли стали русские слова *Советы, большевик, красноармеец, колхоз, спутник, луноход* и многие другие, известные и понятные сейчас в других языках без перевода.

Идеологическая и художественная роль русского языка в современном мире все более укрепляется и расширяется. И это обстоятельство еще острее ставит перед советскими писателями, языковедами-лексикографами, перед всем народом задачу сбережения и дальнейшего развития русского языка, укрепления его современной нормативной основы.

Если справедливо мнение о том, что каждое мало-мальски сложное (в историческом и собственно лингвистическом отношении) слово может стать предметом специальной научной монографии, то словарь языка оказывается собранием подчас незаменимых материалов для подобных важных и поучительных исследований.

При всех возможных частных недостатках, неизбежных отдельных погрешностях и неточностях толковые и собственно нормативные словари были и остаются авторитетными и универсальными пособиями и справочниками по культуре речи, активным средством пропаганды литературных норм современного русского языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследовании актуальных проблем культуры русской речи автор исходил из следующих общих положений:

— Развитие литературного языка есть становление и смена его норм, совершенствование всех его выразительных средств с целью лучшего удовлетворения возрастающих общественных потребностей.

— Нормы литературного языка — категория объективно-историческая; однако функционирование литературных норм в обществе происходит при постоянной их социальной оценке (и переоценке) в широком смысле слова, в сложном взаимодействии вне- и внутриязыковых факторов, стихийного и сознательного, общего и индивидуального и т. п.

— Нормативность литературного общения по самой своей природе явление внутриязыковое; постижение этой природы, объективное ее описание — задача и цель культуры речи как специальной лингвистической дисциплины, составляющей основу нормативных рекомендаций и научную базу языковой политики и языкового воспитания.

Как было показано в разных главах исследования, при научном решении теоретических и практических вопросов культуры речи необходим комплексный подход (собственно лингвистический, а также социолингвистический, психолингвистический) и разные методики анализа и оценки (количественные и качественные). В ряде случаев это приводит к неоднозначности ответа, к выводу о существовании двух и более вариантов употребления, противопоставленных друг другу стилистически, семантически, нормативно-хронологически, по сфере употребления, частотности и т. п. или не имеющих такого противопоставления (дублетов).

Признание вариантности норм вовсе не означает нормативного релятивизма (или принципа «нормативной относительности», или научно объясняемой «вседозволенности»). Это признание лишний раз показывает сложность проблем речевой культуры как основы перспективной нормализации. Научно-методологическое и воспитательно-просветительное значение этого фундаментального принципа и подхода, на наш взгляд, неоспоримо.

Комплексный подход к вопросам культуры речи принципиально не сводим ни к одному из возможных аспектов

как универсальному (например, «коммуникативная целесообразность», традиция культуры, эстетика языка, прагматическая ценность — «удобство», «простота» и т. п.). Он учитывает разные тенденции речевого и языкового развития, опять-таки не сводя их к одной лишь «интеллектуализации» языка или «экономии речевых усилий», представляя языковые антиномии в виде открытого ряда (при известной их иерархии, соподчиненности).

Языковед-нормализатор — это прежде всего исследователь. Исследователь структуры языка, его исторического развития и функционирования. Языковед-нормализатор — сначала беспристрастный (по возможности) наблюдатель и аналитик и лишь потом (в силу полученных знаний, объективных данных) — ценитель и рекомендатель. Нормы языка не вырабатываются наукой; они существуют объективно и возникают задолго до нормализации (до появления словарей, грамматик, самой науки о языке). Другое дело, что наука может влиять на функционирование норм, помогая их естественной эволюции или «тормозя» ее, укрепляя сложившуюся систему норм или «расшатывая» ее своим безучастным к ней отношением.

Авторитет языковеда и его нормативного мнения — это авторитет изученных им источников, собранных и описанных, научно проанализированных фактов. В этом состоит отличие научной позиции в вопросах нормализации (или в отдельных нормативных оценках) от всякой другой «языковой критики» — с позиций эстетических, общекультурных или собственно вкусовых, индивидуально-субъективных и т. п. Следует добавить, что такая позиция практически не оставляет места для языкового пуризма в разных его проявлениях и истоках.

История языка — это вместе с тем и история народа, на нем говорящего и пишущего. И в этом смысле всякий развитой национальный язык, накопивший в своей сокровищнице памятники письменности, отражающие духовную жизнь народа, представляет собой своеобразный, самобытный стиль национального выражения. По верному замечанию Л. В. Щербы, «каждый язык отражает культуру того народа, который на нем говорит» [1]. В культурно-историческом аспекте культура языка рассматривается как важный элемент общенациональной культуры.

[1] *Щерба Л. В.* Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики. М., 1947, с. 67.

Настоящее исследование, являясь известным обобщением теоретических взглядов на проблемы культуры речи, не следует рассматривать как исчерпывающее. За пределами исследования остались важные теоретические и практические вопросы, например такие, как эстетическая выразительность и ценность речи, ораторское мастерство, роль индивидуальности в истории становления и смене литературных норм и др. Книга не закрывает тему и не навязывает авторского подхода к изучаемым проблемам и сделанных при этом выводов как единственно возможных.

Известно, что в любой области знания идеалом науки является установление параметров и характеристик, свойственных существу изучаемых объектов, а также описание динамических законов изменения или функционирования этих величин. В этом отношении многое еще предстоит сделать в новых исследованиях по культуре речи и теории нормализации. Одновременно необходимо накопление новых фактов, нужна выработка специальных методик наблюдения и оперативной научной оценки живых процессов языкового развития.

Трудности стоящих перед исследователями задач не освобождают от необходимости их научного решения. Об этих трудностях писал в предисловии к своей книге «Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики» В. И. Чернышев (1914): «Нелегко определить и то, что является современным в языке; что стоит в нем прочно, что является случайным наносом, что отжило свой век. В языке определенной эпохи для ее современников много неясного: слагающегося, но не сложившегося, вымирающего, но не вымершего, входящего вновь, но не утвердившегося» [2].

Преодолеть эти трудности в известной мере можно лишь путем широкого введения элементов историзма в исследование, применением принципа историко-сопоставительного подхода к современным проблемам речевой культуры. Проведенная нами работа и представляет собой попытку такого подхода к вопросам культуры речи.

И может быть нигде так, как при изучении вопросов культуры речи, не ощущается со всей очевидностью тот факт, что филология — единая наука, гуманистическая сущность которой прямо связана с культурным наследием народа, с удовлетворением многообразных потребностей социалистического общества в наши дни.

[2] *Чернышев В. И.* Избр. труды в 2-х т., т. 1. М., 1970, с. 449.

«Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутье родного языка, уменье пользоваться его выразительными средствами, его стилистическим многообразием — самая лучшая опора, самое верное подспорье и самая надежная рекомендация для каждого человека в его общественной жизни и творческой деятельности»,— писал В. В. Виноградов[3]. Высокая культура речи остается верным подспорьем человеку-творцу и активному участнику социальных процессов в эпоху научно-технической революции, которую мы переживаем. В общественных условиях нашего государства достижения научно-технической революции органично соединяются с задачами коммунистического строительства, развитием науки и культуры советского народа.

В эпоху НТР в области речевой культуры со всей остротой встают вопросы границ необходимых иноязычных заимствований, а также проблемы терминологии и терминотворчества (на национальной или интернациональной основе, а также с использованием интернациональных морфем), развития языка науки и техники.

НТР оказывает заметное влияние на устную и письменную речь современной эпохи. Современный русский литературный язык от этого влияния усложняется и стилистически перестраивается; однако он не становится от этого более «логичным» или более «рациональным», оставаясь в своих истоках языком русского народа. Эпоха НТР является важным социальным стимулом развития национальных языков, самораскрытия их внутренних богатств и потенциальных возможностей[4].

Язык жив, пока жив народ, на нем говорящий. «Язык — это история народа. Язык — это путь цивилизации и культуры. Потому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью»,— писал А. Куприн[5].

Изучение, сбережение и дальнейшее творческое развитие и обогащение русского литературного языка — общая забота писателей и журналистов, общественных деятелей, ученых и учителей — всех патриотов социалистической Родины, верных сынов Советской России.

[3] *Виноградов В. В.* Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры.— ВЯ, 1961, № 4, с. 19.

[4] См. кн.: Научно-техническая революция и функционирование языков мира. М., 1977.

[5] *Куприн А. И.* Архивные записки ноября — декабря 1931 г.— Веч. Москва, 1960, 4 июня.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

амплитуда колебания нормы: *см.* норма
антиномии языковые
— внешняя и внутренняя лингвистика 80
— выразительность и стандартизация 82
— грамматическое и смысловое 81
— отправитель и получатель речи 26
— системное и нормативное 82
— стабильность нормы и изменчивость языка 81
— узуальное и индивидуальное 82
антинормализаторство: *см.* пуризм и антинормализаторство
аксиологический аспект нормы: *см.* норма
благозвучие терминов: *см.* терминология и норма
вариабельность — вариативность — вариантность нормы: *см.* норма.
варианты нормы и их типология 8
диалектизмы в художественной речи 6, 222 и след., 239 и след.
динамичность нормы 9, 26—27, 39, 44
дублеты 92, 105, 140, 246, 337
избыточность социальной нормы 37
императивное принуждение в норме: *см.* норма
инкорпорация и кодификация 33
иноязычные заимствования
— оценка 5, 52—53, 58, 132 и след., 140 и след.
— принятие (грамматическое и фонетическое оформление) 132 и след., 143
интеллектуализация литературного языка: *см.* литературный язык в эпоху НТР
качества «хорошей» речи 90, 94—95
кодификация и инкорпорация 33
кодификация нормы: *см.* норма
коммуникативная целесообразность: *см.* принцип «коммуникативной целесообразности»
«крепость» норм: *см.* норма
культура речи — культура языка 79, 89, 90, 109
культура речи — общая культура человека 5, 110
«лакмусовые бумажки» нормы 110, 315—316, 332
литературный язык
— границы (функциональные и хронологические) 124, 127 и след.
— местные (региональные) варианты 7, 115 и след.
— нормы (в отличие от диалектов) 116 и след.
— поливалентность 118, 122
— теории литературных языков 184 и след.
— этапы развития (периодизация) 115 и след., 129 и след., 140

Литературный язык в эпоху НТР 141
— интеллектуализация (рационализация) 10, 155 и след., 341
— тенденции развития 10, 155 и след., 341
литературный язык и языковой идеал 30, 37, 116—117, 127
норма
— аксиологический (оценочный) аспект 17, 21, 31
— «амплитуда колебания» 24
— в орфоэпии; в лексике; в грамматике; во фразеологии 9—10, 90
— в широком смысле 26, 31
— в узком смысле 26, 32
— вариабельность 93
— вариантность 30, 93
— вариативность 93
— воплощенная (реализованная) и потенциальная (реализуемая) 28—29
— «императивное принуждение» в норме 31
— кодификация 6, 20, 22, 33, 34, 89, 90—91, 107, 111, 116, 327
— «крепость норм» 8, 25, 48, 95, 106, 115
— отклонение от нормы 26, 35, 104—105, 109—110
— типология норм (императивные и диспозитивные нормы) 35
норма — система 20, 22, 29, 37, 106—107
норма — текст 48, 97, 99
норма — узус — схема 20—21, 111, 323
норма и вариант 93
норма и типология речи 97 и след.
норма национально-художественная (национально-художественный стиль)
— составные черты, свойства 204 и след., 339
норма права — норма языковая 32—33, 35
нормализация — кодификация — стандартизация 3—4, 34, 90, 338
нормализованный язык 104 и след.
нормативно-стилистический словарь
— проблемы создания 318 и след.
«общепризнанные ошибки» 26
общие нормы — частные нормы 90
ортология 41, 89, 92 и след.
орфография и культура речи 90
отклонение от нормы: *см.* норма
официальная кодификация — неофициальная (научная) кодификация 36
официально-деловой стиль в художественной речи 245—246
парадигматика и синтагматика норм 88—89
писатель и норма 4, 201, 232 и след., 334
правильность речи и культура речи как две ступени владения литературным языком 95—96
принцип «коммуникативной целесообразности» 24, 30, 49, 93 и след., 338
прогнозирование изменения норм 12, 46—47
пропаганда лингвистических знаний 12
пуризм
— идеологический 52, 91
— логический 52
— научный 52
— редакторский 298
— терминологический 144
— эстетический 52
— «этимологический» 51—52
пуризм и антинормализаторство
— истоки, природа 49 и след., 112
— черты сходства 53—54
рационализация литературного языка: *см.* литературный язык в эпоху НТР
реальное воплощение нормы 45—46
«светлая точка» языкового сознания 28, 39

«светлое поле» сознания нормы 29, 39
синхрония и диахрония 27—28
система — норма — речь 21, 29
система норм 25
словари
— из истории отечественной нормативной лексикографии 4, 303 и след.
— словари языка и словари-справочники 290 и след., 327 и след.
— современные словари правильностей 11, 292, 313 и след.
— типология словарей 290 и след.
словари и норма 4—5, 11, 286 и след., 325 и след., 335
статика и динамика в норме 27, 37.
статистика и культура речи 11, 104
степень общеобязательности нормы 19, 25, 30, 48, 127
терминология и норма
— благозвучие терминов (названий профессий) 149 и след.
— терминологический пуризм 143 и след.
узус — литературный язык — стили языка 20, 25
узус и норма 4, 6, 20—21, 323
уровень нормы 27—28
— норма и отклонение от нее 28, 48
функциональность нормы 6, 19, 91, 117
«эластичность» нормы 24
«ядро» и «периферия» нормы 30, 39
язык — речь 21, 31
языковая традиция и употребление 19, 38, 323
языковой стандарт и кодификация 34

УКАЗАТЕЛЬ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

автор 296
адрес: в адрес — по адресу 11, 100, 295, 317—318
акушер 328
антагонизмы 85
аргумент 312
аутсайдер 145—146
афера 310
ахиллесова пята 110
базироваться на чем — на что-н. 148—149
базланить 222
бал: на балу — на бале 49
бандероль 143
барраж 134
бархатка — бархотка 330
без ничего 38
бердыш 238
битл 134
битник 143
бич 223
благодаря 310
бластер 134
бодылка 244
бойлер 134
большая половина 269
большевик 56, 335
бочка: катить бочку 222
бредовой — бредовый 330
брезгать — брезговать 330
будировать 57, 76
букварь 180
бункер 302
был рыбаком — был рыбак 307
вагон 297
вдарить 302
вдохновить 49
веер 132
великовозрастный 330
вернисаж 103

вернуться к своим пенатам 110
верняк 168, 172—173
вечеря 331—332
взойти 295
визави 312
вкалывать 297
вне — вовне 85 и след.
внутрь — вовнутрь 85 и след.
возвести 325
волнительно 174
вопрошающе 50
вперед 295
врезать 297
вручить 325
всего-навсего 311
втихаря 297
втридорога 331
выглядеть 311
выкаблучиваться 297
высоко 292
генезис 331—332
гербовый 331
глухомань 302
глушить 329
гнус 302
госпиталь 143
гравер 331—332
гражданин 52
гренки 328
гупчать 226
два белых камня — два белые камня 100
две основные задачи — две основных задачи 316
дебаркадер 292, 330
дежурант 148
дефект 57
дизайнер 134
дилемма 102, 296
дипломант 148
дипломник 148, 296
диспансер 331
дисплей 134
дистресс 144
днями — на днях 126, 222
договор 331
договоренности 84
драить 302
драпри 312
дробь 180
дубак 222, 223
душещипательный 302
дуэль 143
если... то... 156—157
жалковать 243
жальник 243
ждать чего-н.— что-н. 87, 307
желание к чему-н. 40
желчь 330
женатик 297
жизнь 50
житель 52
забегаловка 297
заграница 312
заделье 243
задробить 180
заимообразно 295
занять кому-н. 240—241
запаска 302
заплесневелый 331—332
заразиховыносливость 297
заслужить чего — что-н. 307
застолбить 297
заструга 302
заусенец 302
заход 180
зачерстветь 331
заявление на что-н. 10, 40
звонить 111, 329, 332
зимогорить 228
зырить 222
идеал 133
извне 87
извнутри 87
именинник 295
индустрия 292
инженер предложила 81
иначе 292
инициативы 82 и след.
инсульт 147
интим: на интиме 174
их — ихний 65, 316
ишиас 328
какао 316
Канн — Канны 36
капать 297
кар 134
карусель 310
кашица 295
каюр 295, 302
кетч 134
китель 295
козлы 311
коклюш 147
колотуха 223
комбайнер 328

компьютер 134
комчванство 60
конференция — съезд 59
космодром 161
костюмировать 332
кофе остыл — остыло 107, 315—316
крайний 38, 107, 295
кренить 329
крещение: первое боевое крещение 101—102
кулинария 328
лазер 134
Ливерпуль — Ливерпул 36
лидер 146
лобби 134
ловкачка 302
ложить — класть 310
Лос-Анжелос — Лос-Анджелес 36
лосось 330
луноход 161, 335
марафет 180
матеря 97
медяк 302
мемориал 102
миндаль 50
минералка 297
наблюдать за чем-н. 40
на днях: см. днями
на тырлах 222
надыбать 222, 228
накладка 173, 177 и след.
нарушать 174
наудить 331
некролог 331
несколько человек приходило — приходили 81
нить Ариадны 110
нормировать 329
носить отпечаток 49
носок, род. мн. носков — носок 50
нэпман 74
обеих — обоих 38, 314—315
обеспечение 331—332
общество 52
объект 133
обыватель 52
обыденный 235
огниво 331
одеть — надеть 38, 82, 107—108, 295, 310
одолжить 295
одыбаться 222, 228
околесица 331
окуневый 329
оленина 329, 332
омич — омчанин 316
опершись 292
опята — опёнки 304
острога 331
отечество — государство 52
отпечаток: см. носить отпечаток
отсебятина 169
паблисити 134
панихида по кому — по ком-н. 50
пара (лет) 62
парковка 161
пенаты: *см.* вернуться к своим пенатам
перевести фразу 50
переживать 173 и след.
период времени 269
Пе́ру — Перу́ 36
пихта 331
планер 328
пластать(ся) 223—224
поведать 325
поезд, мн. поезда 310
половина: *см.* большая половина
помощь: с помощью — при помощи 11, 317
порядка чего-н. 146—147
последний 38, 107
потащиха 243
премировать 329
прерогативы 77
привод 330
приговор 331
приготовлять (уроки) 50
проблема 102
прогресс 133
прокол 168, 176—177
просека — просек 330
просмотровый 331—332
процент, мн. проценты 101
прошвырнуться 297
пурхаться 222
радикулит 302
ракурс 328
ралли 134
раструб 331—332
реальности 84

револьвер 331—332
репетировать (кого-н.) 50
решительный 63
ржаветь 329
рояль 310
с помощью — при помощи: *см.* помощь
салага 180
сапог, род. мн. сапогов — сапог 50
сачковать 180
сачок 180
связь: без связи 312
селянка — солянка 303
сервиз 132
серьез: на полном серьезе 173 и след.
сидор 179—180
силос 331
симметрия 328
симпозиум 102—103
скрадывать 228
слабак 297
сметливость 331—332
сметливый 331—332
смог 134
событийность 302
совет 56, 335
Совнарком 60
Совнархоз 60
согласно 310
солнцеворот — солноворот 304
солнцепек — солнопек 304
солянка — селянка 303
сообразить 297
сплетня 50
спутник 335
срубать 212
станковый 331—332
стега 302
стенопись 302
стило 302
стиляга 167
столяр 331
стрелять 169
стресс 134, 143
стриптиз 143
судьба 236—237
сумёт 243
суп 132
супермаркет 161
съезд — конференция 59
танцовщица — танцевщица 332
творог 292
темнить 166—167
тефтели 329
тигровый 332
том 132
тому назад — тому — назад 308
торфяник 331
торшерство 243
трахамудрия 222
трудиться 325
туфель — туфля 310
удостоить 325
ужасно 311
узаконение 331
Уновис 60
упрощенно 331
урка 223
утрировать 135
фаворит 145—146
феномен 328
фитиль 168, 180
форум 102—103
фривей 161
фрукты 132
халтура 170 и след.
халтурщик 170 и след.
ханурик 223
хиппи 134
хобби 134, 143
ходатайствовать 331
хребет 331
хурта 243
цемент 331
цирлы: на цирлах, *см.* на тырлах
чулок, род. мн. чулок — чулков 50
шавраться 222, 228
шарага 223—224
шариться 222
шаркунец 243
шкраб 61
шлягер 143
шмонать 222, 228
шобла 226
шофер 331—332
шпаргалка 302
экранизация — экранизирование 318
эксперт 331
эр-кондишн 161
эскалация 134
Южбум 60

А. Б. 309
Абрамов Ф. А. 214
Аванесов Р. И. 6, 10, 125, 323, 327
Агеенко Ф. Л. 291
Айтматов Ч. 231
Аксаков К. С. 3, 137, 207—208, 311
Аксаков С. Т. 83, 190
Анненков П. В. 233
Астафьев В. П. 214, 217, 222 и след.
Атаров Н. С. 210
Афанасьев А. Н. 215
Ахманова О. С. 17, 34, 89, 92
Ашукин Н. С. 171
Бабкин А. М. 296, 319
Балли Ш. 31, 93, 134, 192, 194
Баранец В. 299
Баранникова Л. И. 97
Баратынский Е. А. 83
Барсукевич Л. 101, 104, 127
Бархударов С. Г. 327
Бахтин В. 210
Бахтин М. М. 114
Бахтызин А. М. 250
Бектаев К. Б. 29
Белинский В. Г. 4, 83, 133, 135, 190, 277—278
Белов В. И. 213 и след., 239 и след.
Белодед И. К. 142
Бельчиков Ю. А. 15, 89, 92, 292
Беляев В. Ф. 92
Бирюков Ф. Г. 274
Блок А. А. 86, 174, 195, 211
Блумфилд Л. 90, 143
Бодлер Ш. 288
Бодуэн де Куртенэ И. А. 27
Бондалетов В. Д. 182
Бонч-Бруевич В. Д. 56, 59—60, 64
Борковский В. И. 6
Боровой Л. 170
Брагина А. А. 143
Брежнев Л. И. 231—232, 282
Брюсов В. Я. 83, 195, 205—206
Будагов Р. А. 29, 37, 53, 81—82, 99, 197—198
Будде Е. Ф. 119
Букчина Б. З. 291
Булаховский Л. А. 135, 199
Булгарин Ф. В. 52
Бунин И. А. 248
Буслаев Ф. И. 3, 81, 305, 311, 315
Буторин Д. И. 87
Бучнева Ф. 222
Быков В. 86
Вахек Й. 80
Вербицкая Л. А. 93
Веселитский В. В. 89, 92
Викулов С. В. 243
Виноградов В. В. 6, 42—43, 83—84, 106 и след., 122 и след., 169 и след., 184, 187, 199 и след., 233, 241, 246 и след., 281 и след., 296, 311, 319 и след., 341
Виноградов С. И. 52, 314
Винокур Г. О. 6, 46, 47, 79, 93, 96, 98, 110, 113—114, 311
Волошинов В. Н. 23—24, 98—99, 110, 113—114
Вомперский В. П. 233
Воронов Ю. С. 61
Востоков А. Х. 3, 305
Вяземский П. А. 277
Гавранек Б. 19, 42, 91, 116, 136, 155, 198
Гамзатов Р. Г. 210, 275—276
Гвоздев А. Н. 146—147
Гельгардт Р. Р. 25, 119—120
Герман Ю. П. 108
Герцен А. И. 86, 190, 233, 334
Гиро П. 164—165
Гоголь Н. В. 86, 137—138, 187, 190, 209, 218, 244, 261, 265, 278, 286, 289
Головин Б. Н. 94—95
Голсуорси Дж. 272—273
Гольденвейзер А. Б. 253
Гончаров И. А. 252, 264
Горбачевич К. С. 11, 24, 87, 93, 128, 313, 319, 327
Горецкий Я. 198
Горловский М. 60
Горнфельд А. Г. 52, 206—207
Горшков А. И. 15, 200, 205

Горький М. 6, 56, 64 и след., 74—75, 127, 190, 202, 205, 208, 242, 253, 334
Готье Т. 288
Граудина Л. К. 11, 104, 292, 304, 313—314
Греч Н. И. 50, 52, 307
Греч А. Н. 309
Грибоедов А. С. 52. 254
Григорович Д. В. 86, 317
Григорьев В. П. 41, 120
Грот Я. К. 3, 86, 305, 311
Губарев В. 238
Гусев В. 229
Даль В. И. 52, 56, 153, 169, 172, 235, 240, 287, 292, 303, 311, 334
Даниленко В. П. 152
Деборин А. 68
Дементьев В. 211
Денисов П. Н. 323, 326
Державин Г. Р. 83, 86
Дерягин В. Я. 313
Дешериев Ю. Д. 80
Дзекиревская Л. Н. 93
Добролюбов Н. А. 54, 207
Доза А. 184
Долопчев В. 4, 309 и след.
Домрачев А. 168
Дорошевский В. 42, 335
Достоевский Ф. М. 83, 205, 209, 244
Драганов П. Д. 311
Евдокимов Н. 245
Евтушенко Е. А. 243
Едличка А. 20, 121—122, 198
Ельмслев Л. 20 и след.
Ершов Л. Ф. 283
Есенин К. 145
Есенин С. А. 195. 211, 234
Ефимов А. И. 200
Жирмунский В. М. 164—165, 180 и след., 281
Жуковский В. А. 308, 335
Закруткин В. А. 283—284
Зализняк А. А. 293
Залыгин С. П. 158—159
Зарва М. В. 291
Засорина Л. Н. 293
Звегинцев В. А. 20
Зеленецкий К. П. 4, 240, 309 и след.
Зинин С. (Есин С. Н.) 212
Зощенко М. М. 124
Иванов А. 46, 105
Иванов В. 280
Иванов В. В. 24
Изюмов Н. 148
Исаев М. И. 120
Истрина Е. С. 6, 104
Ицкович В. А. 11, 34, 292, 30 314
Калакуцкая Л. П. 291
Калинин А. В. 298
Карамзин Н. М. 4, 133, 137, 180
Караулов Ю. Н. 293
Каринский Н. М. 176
Карпинский В. А. 76
Каспранский Р. Р. 29
Катаев И. И. 282—283
Катлинская Л. П. 11, 292, 30 314, 332
Коготкова Т. С. 120
Кодухов В. И. 22, 25
Кожина М. Н. 7
Кон И. 278 и след.
Конрад Н. И. 102—103, 114, 140
Копорский С. А. 180
Коротаев В. 243
Косериу Э. 20 и след., 97—9 104, 106, 109
Костомаров В. Г. 7, 25, 41, 49, 7 94, 97, 155
Кржижановский Г. М. 55—56
Крупская Н. К. 55
Крылов И. А. 186, 277, 308
Крысин Л. П. 327
Кузнецов В. Г. 31
Кузнецов Ф. 222
Куприн А. И. 342
Курбатов В. 222, 228
Ларин Б. А. 98
Левашов Е. А. 56
Ленин В. И. 5, 14, 54 и след., 160, 202, 207, 232, 271—272, 276, 279, 287, 300—301
Леонов Л. М. 205, 247
Леонтьев А. А. 25, 41, 44, 49, 94, 97
Лермонтов М. Ю. 250
Лесков Н. С. 334
Линский С. С. 44
Лихачев Д. С. 139—140, 183
Лихоносов В. 214
Личутин В. В. 212, 244
Ломоносов М. В. 3—4, 186, 207, 305

Лопатин В. В. 314
Лотте Д. С. 149
Луначарский А. В. 59, 64
Лыков А. Г. 44
Мазон А. 168
Маркс К. 66, 70, 73, 75, 189, 205, 232, 274, 287
Матезиус В. 99—100
Маяковский В. В. 195, 205
Мещеряков Н. Л. 54
Милославский И. Г. 24
Миртов А. В. 112, 179
Миськевич Г. И. 162
Михельсон М. 169
Можаев Б. 222, 228
Монтень М. 97
Морковкин В. В. 293, 323
Морозов А. 53
Мучник И. П. 81
Мэккин У. 226
Мятлев И. П. 52
Н. Г. 309—310
Неверов С. В. 114
Некрасов Н. А. 55, 334
Немченко Г. Л. 243—244
Николич И. М. 50, 309
Новиков В. 231
Новиков Н. И. 186
Носов Е. И. 214
Обнорский С. П. 4, 6, 199
Овсянико-Куликовский Д. Н. 307
Огиенко И. И. 4, 50, 309 и след.
Ожегов С. И. 6, 11, 39—40, 86, 103, 110, 123, 127 и след., 149, 167, 169, 172, 179, 195, 289, 292, 295, 298, 304, 313, 315, 327, 332, 334
Орлов А. С. 280
Орлов В. 150
Орлова В. Г. 124, 127
Оссовецкий И. А. 125, 127
Островский А. Н. 171, 283
Павел I 52
Павский Г. П. 311
Панов М. В. 104, 107, 117, 119
Пановко Я. 149
Панферов Ф. И. 334
Панюшева М. С. 292
Парфенов Л. И. 238
Паустовский К. Г. 174, 203, 247
Пахман И. Х. 4, 18
Пеньков Е. М. 32
Пеньковская Н. П. 162
Пеньковский А. Б. 48
Петр I 136—137
Петрова А. 132
Петушков В. П. 56
Пешковский А. М. 6, 18, 33, 109, 112—113, 116—117, 156, 265, 277
Пилинский Н. Н. 44
Пиотровская А. А. 29
Пиотровский Р. Г. 29
Пиро Дж. 27, 30
Писемский А. Ф. 264
Платонов А. 245
Погодин М. П. 52, 235
Покровский И. 50
Поливанов Е. Д. 113, 180
Поликарпов Ф. 238
Полонский Я. П. 83
Помяловский Н. Г. 169
Попелова И. 32
Попов В. М. 170, 172, 179
Попова И. А. 156
Порецкая Р. Э. 291
Потебня А. А. 3, 135, 142, 189, 241, 311
Пришвин М. М. 247
Прокофьев А. А. 209—210
Проскурин П. Л. 219 и след., 236, 274
Протченко И. Ф. 80, 200, 327
Пушкин А. С. 3—4, 56, 127, 137, 162, 186—187, 205, 209, 214, 229, 234, 242, 264, 278
Радищев А. Н. 86, 186
Распутин В. Г. 214
Рахманова Л. И. 292
Реформатский А. А. 120
Розенталь Д. Э. 17, 79, 292, 304, 327
Романов Б. 246
Рубцов Н. М. 211, 227, 243
Рыленков Н. И. 234
Салтыков-Щедрин М. Е. 55, 334
Седых К. 274
Селищев А. М. 171—172
Семенов Л. Н. 268
Семенюк Н. Н. 16, 121
Сенеан Л. 164
Сепир Э. 111
Сидоренко Н. 211
Сильвин М. А. 64
Симаков В. И. 166, 171, 179, 183
Симонов К. М. 234

Скитова Ф. Л. 97
Скребнев Ю. М. 41, 82, 88, 92, 105
Соковнин В. М. 37, 38
Солганик Г. Я. 260
Сорокин Ю. С. 128, 133, 134, 319 и след.
Соссюр Ф. М. де 20, 21, 23, 27
Срезневский И. И. 237, 241, 286, 292
Станиславский К. С. 170
Стасов В. В. 254—255
Стендаль 255
Степанов Г. В. 18, 43
Степанов Ю. С. 25, 26
Стойков Ст. 181—182
Стоян П. Е. 169
Стратен В. 163, 180, 181
Строганова Т. Ю. 124, 127
Судзиловский Г. А. 164
Сумароков А. П. 132—133
Сумникова Т. А. 238
Теленкова М. А. 17, 79, 292, 327
Тимофеев Б. 53, 132
Толстой А. Н. 191, 233, 244, 247, 274
Толстой Л. Н. 54. 59, 73, 83, 190, 205 и след., 221, 225, 244, 247 и след.
Томашевский Б. В. 116, 316
Тонков В. М. 168, 180
Трахтенберг В. Ф. 170, 172
Тредиаковский В. К. 61, 186
Троицкий Н. 147
Трубачев О. Н. 170
Тургенев И. С. 54. 59, 169, 190, 205 и след., 233, 235, 249, 253, 264, 271, 276, 334
Тынянов Ю. Н. 55
Успенский Г. И. 334
Успенский Л. В. 168, 210
Ушаков Д. Н. 5, 85, 156—157, 166, 195, 196, 296, 301, 334
Ушинский К. Д. 136
Фадеев А. А. 86, 247
Фасмер М. 148, 170
Федин К. А. 233, 247
Федоренко Н. Т. 132
Фелицына В. П. 174
Филин Ф. П. 12—13, 18—19, 43, 132—133, 198—199, 281, 319 и след.
Филиппов В. А. 171
Фокина О. А. 243
Фонвизин Д. И. 52, 83, 186
Франс А. 287—288
Хватов А. И. 283
Холодович А. А. 98—99
Хомяков А. С. 190
Хомяков В. А. 164
Цейтлин А. Г. 59
Цейтлин Р. М. 38, 310, 313
Цеткин К. 67
Чельцова Л. К. 291
Черепанов М. В. 24
Чернышев В. И. 4—5, 83 след., 143, 241, 301 и след., 313 318, 340
Чернышевский Н. Г. 54—55, 137 207, 254
Чехов А. П. 55, 86, 205, 240— 241, 255, 334
Чичерин А. В. 250, 255, 262. 264
Чуковский К. И. 53, 132, 152
Шахматов А. А. 4, 17, 83, 113 138
Шацков С. 297—298
Шварцкопф Б. С. 16, 47—48
Шведова Н. Ю. 40, 41, 46, 296 327
Шепли Х. 227
Шергин Б. 247
Шишков А. С. 52
Шмелев Д. Н. 7, 27, 100, 105, 108 174
Шолохов М. А. 205. 247, 273—274
Шор Р. О. 168—169
Шукшин В. М. 214, 243
Щерба Л. В. 6, 24, 28, 39, 45, 47—48, 94, 97, 106, 113, 118— 119, 123 и след., 140, 191—192 194, 199, 208, 233, 241—242 289 и след., 296, 319 и след., 335, 338
Эйхенбаум Б. М. 55
Энгельс Ф. 68. 70, 75, 189, 205
Эссен М. М. 55
Югай Г. 31
Югов А. К. 53, 112, 132, 134, 298 333 и след.
Ягич И. В. 304
Якобсон Р. О. 170
Яковлев К. 53, 132, 134
Якубинский Л. П. 45, 46, 55, 98 104, 105, 113
Янко-Триницкая Н. А. 174
Ярцева В. Н. 51, 95, 281

БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
ИН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Глава I

Основные понятия и термины культуры речи как научной дисциплины

К теории динамической нормы 26
Языковая норма как социальное явление. Типология норм 31
Развитие динамического взгляда на норму в современном языкознании 39
О природе и истоках пуризма и антинормализаторства 49
Вопросы языка и культуры речи в творческом наследии В. И. Ленина 54

Глава II

Теоретические проблемы культуры речи

Нормы в динамическом и системном отношениях . . 80
Культура речи (норма и кодификация, вариативность норм, их функционирование и эволюция) 89
Литературный язык (природа норм, проблемы региональных «вариантов», хронологических и функциональных границ, периодизации) 115
Иноязычные заимствования в нормативном аспекте 132
Терминология и норма. НТР и развитие языка . . . 144
Литературный язык и внелитературные сферы речи (в их взаимодействии) 162
К общей теории национальных литературных языков 184

Глава III

Художественная литература и культура речи

О национально-художественном стиле (национально-художественной норме) 204
Традиции русской литературы в современной прозе 217
Уроки общественных дискуссий о языке 229
Писатель и норма 232

Художественная литература – сокровищница языковой культуры 241
Эпопея Л. Толстого «Война и мир» как воплощение национальной художественной нормы 247
Единство национального и интернационального в развитии культур социалистических наций 275

Глава IV

Культура речи и лексикографическая практика

Вопросы типологии толковых и нормативных словарей 289
Словарь и норма 295
Из истории нормализации русского языка 303
Современные словари правильностей и норма . . . 313
Нормативно-стилистический словарь и проблемы его создания 318
Перспективы нормативной лексикографии 324
Словари – универсальные пособия по культуре речи 333
Заключение 337

Приложения

Предметный указатель 341
Указатель слов и выражений 343
Указатель имен 347

ЛЕВ ИВАНОВИЧ СКВОРЦОВ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ

Утверждено к печати
Институтом русского языка АН СССР

Редактор издательства В. С. Матюхина
Художник М. З. Шлозберг. Художественный редактор Т. П. Поленова
Технический редактор А. М. Сатарова
Корректоры К. П. Лосева, Н. А. Несмеева

ИБ № 18103

Сдано в набор 12.12.79. Подписано к печати 01.04.80.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 2.
Гарнитура обыкновенная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 19.8. Тираж 12150 экз. Тип. зак. 2616.
Цена 1 р. 60 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

2-я типография издательства «Наука»
121099 Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

1р.60к.